



ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ
ОРДЕР
НА МОЛОДОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Издается с 1954 года

МОСКВА ~ 1990

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕРИЯ

ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ

ОРДЕР
НА
МОЛОДОСТЬ

*Научно-фантастические
повесть и рассказы*



• ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА •

Художник А. Вальдман**Гуревич Г. И.**

- Г95 **Ордер на молодость: Научно-фантастические повесть и рассказы/Худож. А. Вальдман.— М.: Дет. лит., 1990.— 256 с.: ил.— (Библиотека приключений и научной фантастики. Библиотечная серия).**

ISBN 5—08—001423—7

В сборник вошли рассказы и повесть «Ордер на молодость». Научно-фантастические и в то же время философские произведения Г. Гуревича помогают осмыслить важнейшие нравственные аспекты научных открытий и возможные последствия их использования для потомков.

Г $\frac{4802000000-334}{M101(03)-90}$ 184—90

ББК 84Р7

ISBN 5—08—001423—7

© Георгий Гуревич. Текст. 1990

© Александр Вальдман. Иллюстрации 1990

О Р Д Е Р Н А М О Л О Д О С Т Ь

Научно-фантастическая повесть

П р о л о г

«Уважаемый Юш Ольгин!

Жители нашего города поздравляют Вас с почетной датой, шестидесятилетием со дня рождения, и благодарят за многие годы полезного совместного труда. Нам было приятно жить и работать рядом с Вами.

Со своей стороны напоминаем Вам, что по мнению современной медицины шестидесятилетний возраст наиболее благоприятен для биологического перепрограммирования организма мужчины и перенастройки его на следующую очередную молодость. В этой связи просим Вас посетить ближайший Центр Омоложения в любое удобное для Вас время, предварительно заполнив прилагаемую анкету.

Приемные часы: (такие-то)

Дата: 13 августа 2... г.

Подпись: Эгвар, консультант 1 р.».

Вот такое извещение вынул я из комнатного подарника вместе с поздравлениями, горячим завтраком и бюллетенем «Новинки городского склада».

Глянул, руками развел, так и сел на месте.

Как? Уже!

Ничего себе подарок!

То есть удивлен я не был, конечно. Отлично помнил, что у меня день рождения и что исполняется шестьдесят. В таком возрасте не забываешь о возрасте, поясница напоминает, там саднит, тут ноет, то и это подлечить пора. И знал я, что шестьдесят лет — самый благоприятный возраст для омоложения мужчины... для женщины тоже, но они загодя начинают торопить, бегают в Центр, упрашивают, нельзя ли поскорей, нельзя ли досрочно, нельзя ли вне очереди. Моя жена давно уже омолодилась, перекроила себя так, что и узнать невозможно. Была такая уютная, кругленькая пышечка, так и тянуло обнять, стала худющей, горбоносой, длиннолицей, смуглой до черноты, с пышной взбитой прической, этакая женщина-вамп из аргентинского фильма. Да не влюблялся я в эту жгучую брюнетку, не волновали меня никогда горбоносые и длиннолицы! И все носится, дома не посидит минуты, новые компании, новые знакомые, гости мельтешат, как в парке на гулянье. В общем, расстался я с этой беспокойной девицей второй молодости, зажил уравновешенно, как и полагается на шестом десятке, неторопливо, вдумчиво, с длительным отдыхом, еженедельными вылетами на природу, на полянки с черничными кочками, к сонным лесным озерам. Жил себе потихонечку.

И вот на тебе — приглашают молодеть. Пора подошла.

Терпеть не могу переезды... в другой город, на другую квартиру, в другой возраст, в другое тело.

То есть вообще-то я не отказываюсь от молодости. Быть молодым прекрасно, и операции я не боюсь; если надо — значит, надо, пройдем и через операцию. Но зачем же горячку пороть: сегодня юбилей и сегодня же отбытие. Когда переезжаешь в другой город, сложишься аккуратно, с друзьями простись, разберись, чтобы не было претензий, обид. Переезжаешь в другое поколение, с друзьями простись, разберись, сдай работу — поставь последнюю точку. Вот сейчас сдаем мы проект детского городка на Ольхоне — самый солидный из наших заказов. Много там напридумано, много затеяно, надо же довести до кондиции. Ведь омоложенных не любят оставлять на прежней должности — они неудобными становятся. Знания прежние, апломб прежний, а напору гораздо больше. Им уже терпения не хватает улаживать, сглаживать острые углы. Чуть что — конфликт. Опять же насчет прощания с друзьями.

Договорились же мы порыбачить в январе на Ладоге. Правда, клюет там не ахти как, но зато тишина. Белизна, простор, искристая мгла, ни души на десятки километров, только кое-где сгорбленные фигурки возле лунок. Тишина — такая драгоценность на нашей людной, шумно-молодежной планете с этими толпами возбужденных юношей первой, второй, третьей... пятой молодости. (Впрочем, на счет пятой я хватил, это для красного словца сказано. В начале века не было же всеобщего омоложения — первые опыты шли.) Итак, тишина... Сидим возле лунок нахолившись, ждем, чтобы какая-нибудь дурашка польстилась на мотыля. По преданию, некогда подледный лов считался опасным спортом. Трещины, подвижка, уносило льдины в открытое море. Но у нас же крылья за спиной, можно и не отстегивать. Можно и заночевать на льду, можно расстелить саламандрит и костер разжечь, старинный костер с пляшущими огнями. Только на льду и безопасны сейчас костры. Вот и посидим мы у огня, дружная компания седоватых и лысоватых, перегоревших, успокоенных, потолкуем бесстрастно о страстях тридцатилетней давности. И разве будет там уместен непоседливый юркий юноша второй молодости, готовый мчаться куда угодно: на Южный полюс, на Юпитер, на танцы за первой же юбочкой (юла — одно слово), со снисходительной жалостью взирающий на дремлющих бывших ровесников? Черная ворона на белом снегу! Сорву же я эту рыбалку — все удовольствие друзьям испорчу.

Наша компания долго подбиралась и утрясалась. Это не так просто — найти подходящих соседей по лунке, таких, что рядом просидят полдня и настроения не испортят и покоя не нарушат. У нас каждый в своем роде, каждому есть что порассказать. Есть у нас главный консультант по рыбалке, он все знает о рыбе: какая, в какое время, на какую приманку и на какой глубине клюет. Есть у нас и врач, но он долго скрывал свою специальность. Терпеть не может на отдыхе давать медицинские советы, зато с упоением говорит о марках. Сейчас не все знают, что это такое. Но прежде, во времена повсеместной платности, платили и за письма, при этом наклеивали на конверт такие цветные бумажки, в каждой стране свои. И бумажки те собирали коллекционеры, и о них есть целая литература — о бумажках с зубчиками и без зубчиков, со штампами и без штампов, с изъянами, редкими дефектами, серии зверей, серии королей... О зубчиках наш доктор может рассказывать часами. А с жалобой на поясницу не подходит.



Буркнет: «Обратитесь к своему участковому врачу. Он все анализы помнит наизусть, ваша поясница ему во сне снится».

О медицине же любит поговорить наш повар, он и работает поваром. Краснолицый, грудь колесом. Все твердит: «Я без всякого омоложения доживу до ста пятидесяти». А верит он в диету. И каждый год у него новая диета: то без соли, то без сахара, то соль с сахаром вместе, то чашка риса по вторникам, а в пятницу — одна вода. И плохо нам приходится, если мы попадаем на его рисовый вторник.

У одной лунки — о марках, у другой — о диете, о новейших новинках науки, о былых приключениях на дне океана, об ураганах, о курганах... Целая академия на льду!

И академик есть у нас, по металлургии или металловедению, не скажу точно. Мы-то знаем его как любвеобильного дедушку. С таким увлечением повествует нам о первых словах («де-даа» раньше, чем «мама»), о первых шажках, об освоении мензурочки и горшочка. Внучок такой болтливый, а внученька совсем не говорит, но так выразительно размахивает ручонками: «Да, действительно опростоволосилась, штанишки мокрые, виновата, увлеклась погремушкой, потеряла бдительность».

Что касается меня, то я, без скромности сознаю, я — самый необходимый. Я — терпеливый выслушиватель. Я позволяю выговориться, даю возможность выговориться досыта, не прерываю, не перебиваю, слушаю, правильные реплики вставляю. Меня считают за это добряком, на самом же деле мне просто интересно. Интересно же, когда тебя приглашают в гости в свою душу!

Как же без меня на рыбалке?

Решено! Отложим омоложение на весну.

Или на ту осень. Шестьдесят лет или шестьдесят один — не принципиальная разница. Человек я здоровый, авось не сломаюсь за год. Переезд — дело хлопотливое и неприятное. Если надо — значит, надо... Но к чему пороть горячку? Отложим.

И с тем я заснул.

Однако спал плохо. Вообще на седьмом десятке спится неважно. Все просыпался и думал: «Не хочу я на Юпитер, не хочу на Южный полюс...»

Но, собственно говоря, надо бы. Дальше Луны не летал. А что такое Луна? Не космос — космический пригород.

И за юбкой не хочу, пылать, дрожать, ревновать...

Впрочем, нескверно было: сердце горит, душа полна, жизнь такая насыщенная, каждое слово весомо, каждый взгляд имеет смысл. А сейчас что? Пустая гулкая грудь, словно комната без мебели.

Ворочался я, и кряхтел, и поясницу потирал, и подташнивало меня, воду пил с лимонным соком, невольно думал: «Когда вернут молодость, все это снимется. Недолго терпеть осталось: годик, даже полгода... в будущем феврале или сразу в конце января, как только вернусь с Ладоги. Пять месяцев перекрыхчу как-нибудь».

А поутру как проснулся, как глянул на голубое небо, на березы, освещенные солнцем, пестрые, бело-черно-розовые, так мне захотелось в молодость вприпрыжку. Подумал я: «Шут с ним, с детским городком на Ольхоне,

доделают без меня, нет у нас незаменимых. И шут с ней, с прощальной рыбалкой на льду, с моими друзьями, седыми и лысыми, с нашими заплесневелыми воспоминаниями. Друзья поймут меня, им самим через год-другой переселяться в молодость. И я хочу в молодость, в молодость поскорее, в молодость срочно!» Написано: «Приходите в удобное для вас время». Сегодня удобно мне, сегодня, с самого утра! Что еще? Предварительно заполнить анкету? Еще анкету заполнять им, бюрократы несчастные! Ну, это минутное дело. Сейчас сяду перед завтраком и настрою. Что там? Целых два столбика: «Каким был», «Каким хочу стать». Каким? Молодым, само собой разумеется. Еще что? Графа первая. Имя, фамилия. Сами же знают, написали: «Уважаемый Юш Ольгин». Имя — Юш, собственно Юрием был от рождения, но «р» не мог выговорить, представлялся взрослым: «Меня зовут Юша». Так и пошло, так и осталось, так и проекты подписываю — Юш Ольгин. И переименовывать себя не склонен. Что еще? Пол. Был «м», и будет «м», на «ж» никогда не тянуло. Возраст? Говорят, что все женщины просят семнадцать. Маловато, по-моему. Лучший возраст — тридцать, так я считаю. Впрочем, и юность хороша по-своему, стоит ее пережить. Пожалуй, начну по новой с двадцати, зрелость от нас не уйдет. Старше-то я стану естественным порядком. Все?

Нет, еще раздел второй: «По желанию омолаживаемого операцию унификации можно сочетать с метаморфизмом: изменением внешности, характера и способностей. Продумайте внимательно, какие Вы видите в себе недостатки, что хотели бы исправить и в каком направлении».

И целых три страницы для заполнения: страничка на внешность, страничка на характер, третья — способности.

К тому примечание: «В Центре Омоложения Вы можете посоветоваться с опытными консультантами. Рекомендуем обращаться к ним с четко сформулированными главными проблемами Вашей жизни. Для этого желательно продумать весь жизненный путь, не ограничиваясь недавними годами. Даже полезно изложить основные вехи в письменном виде, это облегчит работу консультанта и Вам самим поможет сделать правильный вывод.

Не забывайте, что Вы выбираете свое «Я» на десятки лет. Попутные исправления возможны, но трудоемки и не безвредны для организма».

И тут я задумался. В самом деле — кто я есть? Какие у меня черты, какие недостатки? Не сразу сформулируешь

даже. Стал вспоминать жизненные провалы, недавние и давнишние. И застрял. С высоты шестидесяти прожитых лет смотришь на себя иначе, осмысливаешь не факты, а связи. Что откуда взялось? Что — от своей оплошности, а что — от генов? Стало быть, и о родителях надо вспомнить — гены-то от них. Согласился с советом анкеты: чтобы осмыслить себя, надо записать все с самого начала.

И вот что у меня получилось.

Глава I

Об отце я могу рассказать не так много, я почти не жил с ним даже и в раннем детстве. Всегда он появлялся неожиданно, громадный, широкогрудый, в облегающем сербристом трико космонавта, хватал меня, подкидывал к потолку или на шею сажал и катал, махая руками, словно крыльями, и подражая орлиному клекоту. Не в ту ли пору зародилось во мне пристрастие к полету? Я обожал отца и немножко боялся его, не решался ластиться. Отец был торжественной фигурой в нашем доме, предметом семейной гордости. Потом он исчез... и мать перестала упоминать о нем, наотрез, раз и навсегда. Позже от посторонних я узнал, что отец не захотел жить с нами, и мать запретила ему посещать меня, по-видимому в целях воспитательных. Сужу по тому, что я не раз слышал от нее рассуждения о родителях будничных и родителях праздничных, о том, что несправедливо покупать детскую любовь игрушками, а не повседневными заботами.

Мать же моя, расставшись с отцом, не вышла замуж вторично. Она была однолюбом, вообще человеком твердых взглядов. Считала, что истина однозначна и всегда однозначна; точно известно, что такое хорошо и что такое плохо. Верность — хорошо, измена — плохо; дисциплина — хорошо, разболтанность — плохо; порядок — хорошо, хаос — плохо; ясность — хорошо, неясность — плохо; чистота — хорошо, грязь — плохо. Диалектику она признавала только на словах, относительность и неопределенность не поняла бы никогда. Сомнения были чужды ей, она и не сомневалась в своей правоте.

Не без труда я пробиваюсь через детское ощущение: мама — нечто большое, сильное, надежное. На самом деле тогда она была совсем молоденькой: маленькая, крепенькая, очень чистенькая женщина с короткой челкой на лбу,

почти всегда в белом, воплощение свежести, здоровья и стерильной гигиены. Позже, уже взрослым, приезжая в гости, я всегда удивлялся, какая же моложавая у меня мама, экий крепыш, словно белый грибочек. Когда мы прогуливались под руку, меня всегда принимали за ее мужа.

Любительница порядка, аккуратненькая и опрятная, моя мама и работу выбрала себе опрятную — сестрой-хозяйкой в детском саду. С годами она стала директором детского сада, имела возможность наводить порядок в доме, саду, кладовых, на кухне и в столовой, наставлять няnek, поваров, санитарок, детишек... и собственного сына в первую очередь. Все правильно. В детском саду должны быть чистота и порядок. Чистота — залог здоровья.

Но двадцать четыре часа в сутки борьбы за порядок — это немножко утомительно. Подозреваю, что мой отец сбежал от этого порядка. Видимо, он был человек мягкий, не сумел переубедить маму, хотя бы добиться от нее поблажки... Впрочем, никто не мог этого добиться, не мог объяснить, почему люди бывают разные и вкусы у них разные. И отец убедить не смог, сбежал подальше — на Титан или Тритон.

А я даже и не помышлял никогда о побеге. Внешностью-то я похож на мать — тоже невысокий, круглолицый и крепыш, — а характером не в нее... но и не в отца, по-видимому. Я склонен подчиняться требованиям, не способен бунтовать.

Но это уже взрослые рассуждения задним числом.

Поскольку мама сама работала в детском саду, она и меня определила в свой детский сад... что не рекомендуется. И боком мне вышло... обернулось трагедией, первой в жизни.

Ведь дети не рассуждают «надо — не надо», «рекомендуется — не рекомендуется». Дети знают «хочу — не хочу». И тянутся к «хочу», делают то, что хочется, если взрослые не очень запрещают. Ребенок, естественно, хотел быть возле мамы. Мама-директор отсылала, мама любящая разрешала оставаться, «если будешь вести себя хорошо». Я и старался быть хорошим, что означало сидеть тихо или же выполнять мамины поручения: что-то убрать, принести, отнести, вытереть, поднять, самое же главное — посмотреть за маленькими. Я и присматривал: поднимал упавших, утешал ушибленных, одевал, раздевал, нос вытирал, водил за ручку. Все это выполнял старательно и спешил к маме докладывать, запрашиваясь на похвалы. И получал похва-

лы, и гордился похвалами потому, что мне, как и всякому ребенку, надо было самоутвердиться, не чувствовать себя жалким и беспомощным в сложном мире больших. Хвалят — значит, я молодец.

А вот в сложном мире маленьких мне не удалось самоутвердиться. Ведь детишки, предоставленные сами себе (а воспитатели не следят же за ними ежесекундно, это даже и не полагается), живут по законам обезьяньего стада, выстраивают иерархию подчинения, причем на верх пирамиды рвутся сильные, старшие, отчаянные и просто смелые, а также и умелые, умеющие лучше всех бегать, прыгать, лазить, плавать. Недаром все детские подвиги начинаются со слова «смотри»: «Мама, смотри, как я!..», «Все смотрите, как я!..». Так вот, оказалось, что мне нечего показывать. Бегал я средне, прыгал средне, силой и ростом не отличался, боролся средне, нырять вообще не научился — не было во мне отчаянности: в воду вниз головой — и будь что будет. Среди ребят почета не заработал, предпочитал держаться возле мамы — там хвалили за послушание. И я спасался к маме: «Мама, я пришел к тебе помогать». Не понимал, что хитрю, но хитринку вырабатывал.

Сейчас мне трудно даже объяснить, где была причина, где следствие. Соревнование ли не интересовало меня, и потому я не имел успеха, или же я не имел успеха и потому избегал соревнования. Возможно, обе причины действовали одновременно. Так или иначе, я бежал к маме при каждом удобном случае. Другие воспитательницы заметили это, настойчиво советовали перевести меня в другой детский сад. Но мама, хотя и директор, все-таки мама. Она соглашалась с коллегами: «Да-да, конечно, переведу в ближайшее время», но ей очень не хотелось отпускать меня с глаз долой, и находился повод отложить расставание. На месяц, на два, еще на два. Насморк, гланды, желудочек... И зачем переводить в середине года? И зачем травмировать ребенка, вырывая из коллектива? В конце концов дотянула до школы.

Боком вышла мне эта оттяжка, боком! Самое большое горе моего детства связано с ней. Горе?! Не слишком ли сильное слово для тяжких переживаний шестилетнего? Но ведь они и в самом деле тяжкие. Да, забываются легко, но переживаются горько. Вот я и по сей день не забыл.

Итак, с опозданием на год и даже не первого сентября, а числа пятнадцатого мама отвела меня в школу. Я шел

с охотой. Мне очень нравился мой новенький ранец, и новенький калькулятор, и новенькая фотонаборка... Сколько раз я вынимал их и укладывал в футляр, старательно вытерев клавиши! Вообще дети любят новизну, любят перемены, узнавание. Надо же им обозреть мир — это так интересно. И гвалт меня не испугал, у нас в детском саду и не так еще орали. И сама школа понравилась, такая разноцветная, вся разрисованная неподвижными картинками. Неподвижными, само собой разумеется, от подвижных детишки глаз не отрывали бы, никаких указаний не услышали бы.

Ребята здесь были чужие для меня, а друг с другом знакомые, сразу они заговорили о своих делах. Я сидел в сторонке, ожидая наставления. Мама увещевала меня, чтобы я был очень послушным, послушнее, чем при ней. Прибежала учительница, тетя Искра, звонкоголосая, очень молоденькая (сейчас-то я понимаю, что она была совсем девчонкой), прибежала и крикнула: «Да чего же ждете, ребята? Задание у вас есть, каждый знает свой участок. Время не ждет, время не ждет! А ну-ка, кто всех перегонит?»

И класс как ветром сдуло. Все устремились в сад, учительница — впереди, ухватив за руки двух хохочущих девчонок. Одна из них даже понравилась мне с первого взгляда, такая глазастенькая и щекастенькая, в белом передничке. Мы и в шесть лет выделяем девочек. Я было двинулся за всеми, но заколебался. Мне же ничего не сказали, я не получил задание. И я остался, готовый слушаться. Но учительница, видимо, забыла про меня или не знала. За окном я видел, как они копаются в земле, каждый украшал свой квадратный метр цветами по собственному вкусу. Сажали моргалки, те, что распускаются от ультрафиолета. И вот уже на учебной клумбе возник пестрый ковер. Щуря глаз, я приглядывался, составлял из цветных пятнышек осмысленную картину. Интересно, что я и сейчас помню тот узор. Из оранжевых пятнышек у меня получался дракон, из голубых — пальма, из лиловых — медвежонок.

Минут двадцать я развлекался, щуря правый и левый глаз, потом и до меня, шестилетнего, стало доходить, что получается что-то неладное. Я жду учительницу, но она в саду. А вот убежала, и не в здание, а куда-то в дальний конец, к воротам. Может быть, но это я сейчас так думаю, наша Искра проводила урок самостоятельности? Самостоятельность была ее коньком, так же как у моей мамы —

строгий режим. Я было подумал, что, возможно, и мне надо бы спуститься в сад, что-нибудь делать. Но кто мне даст задание, не у ребят же просить. Не их мама наказывала слушаться. И тут снова раздался звонкий голос: «Пора-пора, кончайте все сразу! В пары, в пары, все в класс, время не ждет! Все в класс!» А я уже в классе, я всех опередил. И мне почему-то показалось очень остроумным спрятаться в шкаф, а когда ребята прибегут, выскочить и крикнуть: «А я уже тут!»

Так я и сделал.

Но никого не восхитил. И та самая девочка, щекастая и в белом переднике, устала на меня палец и закричала:

— Он тут! Мы цветы сажали, а он сидел в шкафу. Лентяй! Лентяй! Плохой мальчик!

И все запрыгали, завизжали, завопили:

— Плохой! Плохой! Лентяй! Самый плохой! Хуже всех!

Еще пригибались и по шее себя хлопали. Дескать, лезь ко мне на спину, лентяй, любитель на чужой спине кататься.

Маленькие зверятки возрадовались. Кто-то хорошо сажал цветы, кто-то похуже, кто-то совсем плохо, но вот нашелся самый скверный-прескверный, просидевший урок в шкафу. Всех возвышало мое унижение, все были лучше.

Я пробовал оправдаться, но меня не слушали и не хотели слушать. Впрочем, наверное, я и сам не смог бы объяснить свое поведение. Так получилось... нечаянно.

Учительница прервала гвалт, но на следующей перемене представление возобновилось. И после уроков опять.

— Нет, я хороший,— твердил я сквозь слезы.

А мучители меня убеждали хором:

— Пла-хой, пла-хой! Самый пла-хой, самый-самый! Хуже всех!

И убедили.

Весь вечер дома я был мрачен, все терся возле мамы, тыкался ей в юбку, но маме было некогда, по обыкновению, к тому же она старалась приучить меня обходиться без нее. И она отгоняла меня: «Займись чем-нибудь, ты большой уже».

«Большой, но плохой»,— думал я горестно.

Я пробовал сказать, что я не хочу в школу, лучше я похожу еще немножко в детский сад... или в другую школу какую-нибудь. Намеки мои остались без внимания. Я даже намекал, что болен наверное, но термоэлемент предательски показал нормальную температуру. Единствен-

ное, чего я добился: мать отправила меня спать на полчаса раньше. И остался я в темной комнате наедине со своим великим стыдом. Я лентяй и бездельник, самый плохой мальчик на свете, и завтра, и послезавтра, и всю жизнь мне предстоит стоять у позорного столба.

И я решил утопиться.

Почему утопиться? Кажется, незадолго перед тем смотрел вместе с мамой «Русалку» по видео. Мама объясняла, что вот девушка не захотела жить от несчастной любви. А я не хотел жить самым плохим мальчиком. Единственный выход — утопиться.

Нет, я еще не решил окончательно именно сегодня расстаться с жизнью, но все-таки надо было примериться, попробовать, как это делается. И я вылез из кровати, оделся, на цыпочках прокрался на террасу и припустил прямой дорожкой через сад к озеру.

Было очень темно и очень жутко. Черные тени лежали поперек аллеи. Волки, ведьмы и колдуны из страшных сказок подстерегали меня под кустами. Я даже забыл, что хочу умереть. Мне было нестерпимо страшно. Я мчался, жмуря глаза, и все-таки добежал до озера. Над гладью висела латунная луна, заливала округу мертвенным светом. Вода была холодная — я попробовал пальцем. Теперь надо было топиться, но — как? Плавать я умел, кто же не умеет плавать в шесть лет? Но мне было очень жалко себя, жалко расставаться с любимыми игрушками, и маму жалко тоже. Наверное, она плакать будет? А будет ли плакать круглоглазая жестокая девочка, устыдится ли она своей жестокости, когда я буду лежать недвижный, холодный?.. А может быть, я превращусь в русалку? Бывают ли мальчики-русалки? В сказках о них не написано. Должны быть? Или мальчики-русалки — это водяные? Ух, как я напугаю тогда всех этих озорных дразнилок!

И тут мама схватила меня на руки.

Конечно, она заглянула перед сном в мою комнату, увидела пустую кровать, тут же схватилась за радиопеленгатор (пищалкой называли его в детском садике), побежала по сигналам, ужасаясь и уповая, что ребенок жив еще. В общем, тут она выпытала все, отвела меня за ручку к тете Искре. Та сделала внушение ребятам:

— Дети, ну как не стыдно, кто же так встречает новеньких? Юшик наш гость, он еще не знает порядков, объяснить надо, показать, а не нападать всем на одного. Юшик совсем не лентяй, он только хотел пошутить. Ты же не будешь больше прятаться в шкафу, Юш?



— Я не пря-а-атался!

— И не надо. Не будешь больше?

— Не бу-у-ууду!

Я обещал не отлынивать, ребята обещали не дразнить... и почти не дразнили, изредка только похлопывали по загорбку — дескать, седлай, повезу. Но все равно смотрели свысока, как вежливые хозяева на неловкого гостя, который старинную вазу разбил. Не попрекают, но осуждают.

А мне так хотелось, чтобы меня хвалили. Мама хвалила меня часто, я привык к похвалам.

Почему это, собравшись оценивать свою жизнь, я застрял на раннем детстве? Да потому, что хочу разобраться,

какие были у меня задатки, что я получил в наследство, что растерял, а что, наоборот, приобрел. Я уже говорил, что у маленьких детишек все наружу, все откровенно. Делают что хочется, а хочется — к чему есть склонности, сначала врожденные, генетические, позже уже привитые, подправленные взрослыми. Помню, в детском саду нас оставляли в комнате, наполненной всевозможными игрушками. Вероятно, отмечали, какие именно мы выбираем. А какие я выбирал? Не помню. Стало быть, не было ясно выраженного предпочтения, следовательно, не было ярко выраженных способностей. Был я ленив? Нет, не скажу. Нормальный, здоровый ребенок, всегда чем-то был занят. Был равнодушен к игрушкам? Ничуть. Даже и отправляясь топить, прежде всего подумал о прощании с мамой... и с игрушками. Может быть, не был самолюбив? Еще как! Больше всего на свете ценил одобрение окружающих.

И не вижу в этом плохого. Добиваться одобрения — естественно для человека. Тебя одобряют, значит, ты делаешь то, что нужно. В прошлом, в расчетливых веках, одобрение было просто выгодно. Одобряемого, уважаемого угощали лучше, оплачивали лучше, лучше снабжали, пропускали в первую очередь, считалось, что он самый полезный. Ведь и у нас одобрение — это индикатор общественной полезности. Похвально добиваться похвал. Надо же соотносить свое поведение с оценкой окружающих. Не для одного себя живешь, в конце концов. Лично я терпеть не могу упрямо-самодовольных. Самодовольство — признак ограниченности, так я понимаю. Да, я добивался одобрения в шесть лет, и до шестнадцати, и до шестидесяти. Считаю, что так и следует.

Однако вернусь в детство.

Искра запретила дразнить меня, и дразнить меня перестали, хотя долго еще сохраняли пренебрежение к «плохому мальчику». Особенно девочки. Женщины, даже и шестилетние, тверды в своих взглядах, мнение составляют быстро, меняют с трудом. А я так хотел, чтобы меня считали хорошим, так старался, так добивался.

Не сразу тот малыш (я — но не такой, как я) разобрался, что быть хорошим для школы или же для школьников — не одно и то же. Школа хвалит хорошего ученика, школьник — хорошего товарища. Школа ценит прилежание, память, способности. А что ценит сосед по парте?

Иногда и способности, но какие? Умение стоять на

голове, забивать голы, класть на обе лопатки, свистеть в два пальца. Но у меня не было таких способностей, я уже говорил выше. Средним был я: кого-то клал на лопатки, кто-то меня клал. И в игровые команды брали меня без особой охоты, не отбодрялись, но и не зазывали.

Но ведь хороший — это не только хороший спортсмен, еще и хороший товарищ. А что такое хороший товарищ? Сколько обид претерпел я, прежде чем понял, что есть разница между всегда хорошим и иногда хорошим. И бывает, что иногда лучше, чем всегда.

Слабому-то нужен всегда хороший, чтобы в любую минуту бежать к нему за помощью. А вот сильный, представьте себе, всегда хорошего не уважает. Всегда хороший — у него всегда наготове, он сторонник, он поклонник, помощник, он на подхвате, и он не в счет. Он — палец руки, о пальце не надо же думать, он при тебе в любую минуту.

Был у меня приятель, в пятом или шестом классе, который очень любил командовать, на своем настаивал во что бы то ни стало. Я не спорил, какая мне разница, идти налево или направо. Потом замечаю: со мной не считаются. Мало того, пренебрегают. А если спорю, друг мой раздражается, возмущен: как это такое, палец не подчиняется? Говорят ему — сгибайся, а он не сгибается. И перестал я бегать за тем мальчишкой, словно игрушечный вездеход на ниточке. Но когда выбирали капитана в зимний поход, я его предложил как парня твердого, волевого и распорядительного. Он сам ко мне подошел, спросил: «Ты и взаправду думаешь, что я волевой?»

Вот такая трудность в этом мире: если хочешь, чтобы к тебе прислушивались, не бросай слова на ветер. Если хочешь, чтобы ценили, не мельчись с услугами. Делай услуги, не услужничай.

Другой мой дружок был из авторитетных, мастер светорисунка. Хорошо рисовал... и, конечно, ждал похвал. И толкались возле него восхищенные мальчишки и девочки, ахали: «Ах, как похоже! Ах, как красиво!» Я тоже ахал-ахал, он меня не замечал даже. Отстал я, что же навязываться? Но когда у него был день рождения, я специально пошел на склад, узнал, какие наборы есть, попросил маму заказать самый богатый — на 1200 оттенков спектра (значит, это было еще в младших классах, ключи мне еще не выдали тогда). Три года ночевал мой подарок под подушкой у того рисовальщика. Так и назывался: «Юшина палитра».

Угодить не угодничая — вот золотой рецепт поведения.

Хитрость? Нет, маловат я был в ту пору, чтобы хитрить сознательно. Хитрил подсознательно? Возможно. Но они радость приносили, те мои уловки. Помню, как мой художник перебирал все 1200 оттенков. Ведь у него руки дрожали, не знал, за какую частоту схватиться. Ту, и эту, и эту, и эту пробовал, чистые цвета, смешанные, полоски клал, крест-накрест светил. Я и сейчас люблю делать подарки, мне нравится, когда у людей глаза загораются от радости. Но не загорятся же от ежедневного — от супа в тарелке, от ломтика хлеба. Вот и стараешься понять человека, догадаться, что его может осчастливить.

Эту мою черту, пожалуй, не стоит вычеркивать из характера. Окружающим она доставляла удовольствие. И хитрым меня никто не называл, наоборот, считали справедливым. Советовались, как поступить. Обращались за разрешением споров. В каком-то классе меня прозвали Правильным. Юш Правильный!

Расхваливаю я себя, что ли? Да нет же, при чем тут похвальба. Я себя взвешиваю и оцениваю: какие черты оставить, какие отменить? Тут нужно к самому себе быть справедливым: без самомнения и самоуничужения.

Итак, хорошим товарищем я стал постепенно. А вот стать хорошим учеником мне лично оказалось труднее.

Если подробнее рассказывать, в первых-то классах я был отличником, а потом незаметно съехал в хорошие, среднехорошие и даже — очень средние. Все годы я оставался старательным и добросовестным, но в старших классах мало было старательности, нужны были еще и способности, а мне не все давалось легко.

Обучали нас, как и всюду на земном шаре, от головы к ногам, от крыши к фундаменту, от дельты к истокам. Сначала — привычное окружение, потом — историческое прошлое; сначала — машина, потом — ее устройство; сначала — человек, амебы потом; сначала — тела, потом — атомы; сначала — формы, потом — формулы. Впоследствии я вычитал, что порядок этот, антипорядок точнее, установился не сразу, только в середине нашего века, и в долгой борьбе со сторонниками естественной последовательности — от простого к сложному, от прошлого к настоящему, от происхождения к итогам. Но дело в том, что для детей-то обратный порядок легче. Они с младенческих лет видят не прошлое, а настоящее, не корни, а готовые итоги, им самолет понятнее, чем рычаг второго рода. Вот и у меня это детское восприятие целого, а не

частей оказалось особенно упорным. Леса и горы меня волновали, молекулу я не мог представить себе, хоть убейся. Умные машины меня восхищают, но многомерные модели процессов так и остались выше моего понимания. Я не устаю любоваться борьбой линий в завитках ионической капители, а формулы архимедовой спирали не мог запомнить никогда. Очень люблю светоживопись, но мне скучно нажимать желтые и синие кнопки, чтобы получить свежую зелень распускающихся листочков. Предпочитаю дожидаться весны, когда они распустятся на самом деле.

Память у меня была приличная, я мог заучить наизусть и бойко ответить все, что полагается. Но механика у меня держалась механически. Чтобы знать предмет твердо, надо думать о нем, надо пускать знания в дело. Беспольное мозг выталкивает, освобождая место для нужного и интересного. Так что всякий раз, когда мы переходили от действия к устройству, от устройства к истории создания, я сникал и с горечью выслушивал, что Ольгин, конечно, тоже отвечал прилично, но не у всех же одинаковые способности.

Вот я и думаю сейчас: не стоит ли мне подправить способности в направлении абстрактного мышления? Может быть, и стоит. Но надо предварительно справиться, не пойдет ли абстракция в ущерб животрепещущему, жадному моему интересу к самому сложному на свете — к живому человеку.

Лучше или хуже, но, в общем, учился я, готовился к взрослой жизни, продвигался из класса в класс и, как прилежный ученик, среднехороший, своевременно, не досрочно, но и без опозданий, получал все дары и все права.

Право на голос в эфире — при переходе в пятый класс. Помню замиранье сердца, когда мне, мальчонке, сняли с левой руки пищалку, жестко настроенную на частоту мамы или учительницы, взамен надели взрослый браслет с личным номером, сказали: «Ты теперь полноправный владелец эфира, любого человека Земли можешь пригласить на свой экран. Но уважай людей, береги их дорогое время, не отвлекай попусту, не загромождай эфир ничемными разговорами».

Такая обида: и право дано... и не загромождай!

Как все мои товарищи, с тоской я глядел на ручной экранчик, три на четыре. У кого незанятое время? У соседа по парте? Но я уже отвлекал его десять раз. Вспоминал дядей, тетей, маминых знакомых, самых далеких —

всего интереснее на Аляске или в Антарктиде. Который там час сейчас? «Извините, передайте, пожалуйста, вашей Джен или Жене, что мой номер сейчас... Да-да, самостоятельный номер! Да, спасибо, я уже совсем взрослый». И еще хитринка была: наберешь какие попало цифры, смотришь на недоумевающее лицо, розовое, желтое, смуглое, черное, и извиняешься: «Простите, пожалуйста, я обознался». Некоторые догадывались: «Новенький браслет на руке, да? Ну, поздравляю, владелец эфира. Вызывай еще, если дело есть по существу».

Эх, не было дел по существу. Мал! Вырасти бы скорее!

Что-то и сейчас не по существу наговариваю я, пустяками наполняю ленту. Оказалось, что приятно вспоминать. Был некогда на Земле такой любопытствующий, робко-жадный открытоглазый мальчик, нетерпеливо завидующий взрослым. И мальчик тот давнишний почему-то называется «я».

Право на время было у нас следующим даром (в других школах иногда время дарили раньше). Теперь на другую руку — на правую — надевали часы. Я выбрал со стрелками, мне стрелки казались удобнее, чем цифры. Кинув взор, сразу видишь, далеко ли до конца урока, не надо в уме подсчитывать. Надели часы и снова напомнили: «Ты теперь владелец своего времени, в твоём распоряжении 24 часа в сутки — 1440 минут. Распределяй их, не разбазаривай попусту. Столько-то минут у тебя на обязанности, а столько-то твоих, собственных, свободных, на игру, на книгу, на телевидение, на то, чтобы подумать о вчерашнем дне и о завтрашнем».

Другие ребята вскоре забыли об этом совете, а я — старательный — каждый вечер сидел и думал. И составлял планы, и распределял минуты, потом ставил плюсы и минусы выполнения, терзался, что минусов многовато. Да, воспитывали у нас дисциплину и самоконтроль, но вижу я, что и сам я тянулся к упорядоченности. Вот и сейчас с удовольствием посвятил выходной обдумыванию, составляю отчет о прошлой жизни, планы на следующую. Жалко, что не занимался этим раньше. Надо было каждый год обдумывать, даже каждый месяц.

Перед седьмым классом был самый щедрый из даров — символические ключи от складов: право потребителя, право вызвать любой склад по радио и заказать посылку — хлеб с маслом или шоколадный торт, рубашку белую или цветную, пятнистую, клетчатую, полосатую, с рисунком, пену для шубы, книги, пластинки, игрушки, билет на

самолет, билет на подводную лодку, номер в гостинице... что в голову придет. Помню, как вручили нам «Каталог потребителя» — толстенную книжищу в тяжелом сером переплете с тисненными буквами и даже с застешками. Психологические были застешки, как я понимаю, чтобы не торопились с заказом, помедлили бы еще три-четыре секунды. И опять внушали нам воспитатели: «Помни, владелец ключей, что в каждую вещь вложен труд взрослых, твоих родителей тоже. Береги же их время, не заставляй работать впустую, не заказывай ненужное или не очень нужное, подумай, прежде чем вызывать склад».

Так было при мне. А раньше, мама рассказывала, иной был порядок. Три дня новых владельцев ключей не ограничивали, отдавали им склады на поток и разграбление. Ребята захлебывались от восторга, заваливали комнаты кучей хлама. И пресыщались. Сами убеждались, что излишки мешают жить. Но все-таки у некоторых оставалось сожаление: «Эх, славные были денечки!» По-моему, наши правила лучше. Необязательно на собственном опыте убеждаться, что огонь обжигает, что от обжорства болит живот. Что-то можно узнать и от старших.

Феи в сказках предлагали осуществить три желания. Три, и не больше, четвертое — ни в коем случае! Видимо, таков закон общественного поведения. Полная свобода, но в определенных рамках. Феи указывали рамки неразумным предкам, разумный ставит себе рамки сам. Ты хозяин эфира, но не единственный, не загромождай его. Ты хозяин времени, но время ограничено, всего 24 часа в сутки, не растрачивай их. Ты хозяин складов... не разбазаривай их, умей ценить чужой труд.

Ты хозяин, но не единственный, не толкай, не мешай, не затрудняй, не заслоняй!

Так и дальше, со всеми прочими дарами. Право на дороги — в восьмом классе. Вот тебе личные ролики, вот мотороллер, пассажирское кресло, грузовичок с прицепом на лето. Кати куда хочешь, но в соответствии с правилами уличного движения. Держись правой стороны, стой и жди при красном свете, береги себя, а пуще — береги других: чужие машины, чужие руки-ноги, головы.

В девятом классе давалось право на воду. Вот тебе личные иисуски, ходи по воде, аки по суку, вот тебе мотолодка, вот тебе акваланг. Вози, носись, ныряй, но по правилам речного движения: держись у правого берега, не залезай за красный буй, помни, что на воде можно утонуть и можно утопить, береги свою и чужие жизни.

И наконец, право на небо!

Ах, небо!

Тебе вручают личные крылья, могучие черно-пестрые крылья, с биопружинными тяжами, заряженными до отказа синтетической АТФ. И небо — твое! Летать-то все мы могли сразу же (при плавании и в полете движения одинаковые), но потом еще научились парить и планировать и азартно пикировать; пронизывая облака, вниз головой устремляться на набегающую землю и свечкой выходить из пике, радуясь своему мастерству... и спасению. Научились еще неподвижно висеть стоймя, усердно работая подкрылками. Это было всего интереснее: можно было разглядывать или прорисовывать, если возникало желание, кроны пальм с юркими обезьянками, или старинные соборы со скульптурами, вознесенными под карниз, на которые пешие туристы вынуждены взирать, задрав головы, или же расписные крыши современных городов, обращенные к невнимательным самолетам, или же отвесные горные обрывы с их геологическими изваяниями, ранее открытые только скалолазам.

Новый взгляд на леса, города и горы. Собственно, для того и давали нам крылья, чтобы мы побольше увидели в мире, сознательно выбрали свою профессию. Нам разрешалось и даже рекомендовалось летать над стройками и заводами, куда «посторонних просят не заходить, чтобы не мешать производственному процессу». Но летучие экскурсанты производству не мешают, солнце они не заслонят.

Еще любил летать я над волнами, не над припляжной рябью, а над океанскими валами, внушительными жидкими чудовищами, жадно тянущими к тебе свои пенно-слюнявые губы, — летать низко-низко, так, чтобы соленые брызги доставали лицо. Победителем ощущал я себя. Валы беснуются, ревет стадо жидких слонов, тянется, ухватить хочет, поднять, но я увернулся, я их победил, я их подавил. Я всех быстрее, всех сильнее!

Такое же чувство на вершинах гор. Я выше всех, весь мир попираю ногами.

Но лучше всего было за облаками, не за самыми высокими конечно. Километра на три поднимался я, чтобы не возиться с кислородной маской. Вот летишь один-одинешенек над этими тугими вздутыми наволочками в ослепительном бело-синем мире, заглядываешь в лиловатые дымчатые промоины, любишь их узором. Перед тобой как бы карта, карта вновь открытого лично тобой



архипелага, где каждое облако — остров. Вот это назовем Ольгией, а то будет остров Юш, а это пролив нашего Десятого класса. Ты первооткрыватель, твое право давать имена этому зыбкому миру. Ничего, что он уплывет, рассеется, изменит очертания. Завтра в твоём распоряжении будет новый мир.

Было. Ушло от меня. Сейчас я спрашиваю: почему же тому Юшу, моему юному тезке, так нравилось вычерчивать кривые над пухлыми облаками, в сущности одинаковыми во всех частях света — над Конго, над Сибирью и над Огненной Землей? Тогда я не анализировал: хочется, тянет — почему не слетать? Но видимо, играло роль возрастное. Устал я жить в зарегулированном школьном мире, где все определено и так много авторитетных взрослых, поддерживающих ими установленный порядок. Но теперь я сам вырос, я устал от послушания. За облаками я жил по-своему. Это был мой мир, где я играл в самостоятельность.

Хорошо это или плохо?

Не знаю.

Молодых тянет за горизонт, на простор. Сейчас у нас поговаривают, что каждому новому поколению надо давать новую планету. Возможно, в следующем веке так и будет.

Право на небо было последним в моем поколении. Следующему выдавали еще право на космос, то есть туристский скафандр с реактивным пистолетом и по желанию — гостиницу в спортивном спутнике. Я сам в космосе побывал позже; конечно, любовался, конечно, восхищался, но не было чувства, что упустил что-то важное в юности. Звезды великолепны, и великолепен этот глобус Гаргантюа на звездном фоне. Прекрасна картина, но только одна, со временем она приедается. И хотя космическое пространство неизмеримо обширнее заоблачного, но ведь оно пустое. Над облаками я чувствовал (воображал) себя владельцем неисчислимых островов и островков, над волнами — победителем каждого вала. В космосе я хозяин пустоты и победитель пустоты, неизмеримо одинаковой и потому безразличной. Ведь движения там не ощущаешь, вех никаких. Что такое пустота? Ничто!

Возможно, другие воспринимают космос иначе. Я никого не уговариваю. Анализирую свои чувства. Допускаю, если бы нам в школе давали право на космос, я бы принял и межзвездную пустоту в свое сердце. Но при мне право на небо было последним в школе.

Самое же важное, самое почетное право — право на суждение — выдавалось уже взрослому, труженику, отработавшему три тысячи часов. Сейчас эта цифра меньше, поскольку производительность растет и обязательный рабочий день все сокращается, но самый принцип остался, очень разумный принцип, так я считаю. Молочко нужно каждому младенцу, потреблять имеет право каждый, но о дальнейших путях развития, о распределении часов и усилий, по справедливости судит тот, кто вложил уже усилия, хотя бы в количестве трех тысяч часов.

Три тысячи часов — это примерно два года работы. У взрослых они набираются сами собой. Но нам, школьникам, не терпелось стать полноправными гражданами Земли, и мы копили часы, похваливаясь друг перед другом: «А у меня уже десятки, а я на вторую сотню перевалил». Часы начисляли нам на летней практике — в поле или на заводе, начисляли и в школе за уборку, ремонт, за починку аппаратуры, за дежурство в младших классах. Когда же мы получили профессию (мотористами выпускали нас), можно было в свободные часы поработать в мастерских или в городе — мотористы нужны повсюду. В общем, за полгода до выпуска я имел возможность нацепить заветный значок с голубой тройкой. Взрослые, те не носят значков. Как-то само собой разумеется, что нормальный здоровый человек уже отработал свои три тысячи. Но для школьника это великое достижение. Я был очень горд, очень, когда получил право на голубую тройку. Справедливости ради следует сказать, что я был не первым в нашем классе. Меня опередили двое, но им дали премию за изобретение, по 500 часов на брата, уж не помню, что они там переставили в моторе. Я же накопил старательностью, полновесной тратой чистого времени, час за час. И все школьники, все школьницы замечали мою голубую тройку на коричневой куртке.

Она заметила тоже.

Глава 2

Какие облака были в тот день, не запомнил. Кажется, обыкновенные кумулюсы, пухлые, тугие. Но как только я вынырнул из туманной вуали под синее полотно, сразу же увидел на фоне округлых сугробов красный треугольник. Цветные крылья в мое время выбирали только де-

вушки. Парням полагались скромные: черные, синие или в крайнем случае сорочки — пестрые, черно-белые.

Потом я услышал, что девушка поет. Трепещет крыльями и заливается как жаворонок. В заоблачной пустоте голосок ее разносился на добрый километр. Даже и слова я различал. О любви пела она, конечно.

И тут я почувствовал, что вовсе не нужно мне абсолютное одиночество в моих заоблачных владениях. Пусть одиночество будет вдвоем. Пусть будет не мой собственный мир, а наш собственный мир. «Это все наше, — скажу я кому-то. — Все это я дарю тебе: материки, острова и проливы». И пускай кто-то обрадуется: «Спасибо за щедрость, Юш!»

Я устремился к красным крылышкам, на ходу придумывая предлог: «Извините, девушка, вы не знаете, где мы находимся сейчас, море под нами или суша? А до берега далеко?» Устремился во все тяжи, то есть в полную мощность. Так говорилось тогда. Девушка заметила меня тотчас же. Пение оборвалось. Мало того, она полетела прочь. Не прямо от меня, а наискось, как бы показывая: «Я тебя не боюсь, не удираю от тебя, но у меня свои дела, свое направление». Я устыдился, покраснел даже. Вспомнил наставления воспитателей: «Женщина слабее, женщина деликатнее, и право выбора принадлежит ей. Не навязывай свое общество, не будь назойливым. Если помощь понадобится, тебя позовут». Так чего же я невежливо лезу — лечу — к незнакомой девушке? Вокруг простор поднебесный, триста шестьдесят азимутов, а я нацелился на прямое столкновение, как будто у нас встреча назначена. Стыдно, Юш! Откровенное нахальство!

И я тоже отвернул, не правее, а левее. Дескать, извините, краснокрылая, мне показалось, что мы знакомы, а вообще-то я лечу по своим делам. Разойдемся, над облаками хватит места.

Отвернул. Бросил прощальный взгляд, вздохнул, говоря откровенно, пожалев улетающую мечту. Не удалось мне вручить облака, как букет, незнакомке... Но тут я заметил... заметил нечто, что позволяло, забыв об этикете, рвануть вдогонку что есть силы... во все тяжи.

Заметил я, что девушка неровно взмахивает крыльями. Левым загребает сильно, а правое полощет. А это однозначно показывает, что в правом крыле у нее исчерпался заряд АТФ. Я знал, чем это грозит. Испытал однажды: забыл проверить заряд перед вылетом, в результате планировал потом с трехкилометровой высоты. Планировка же

вещь непростая, тут нужно и умение, и везение, и встречный ветер для торможения, и надежный ровный грунт... горы и морские волны крайне нежелательны. И самое главное: заметить надо вовремя опасность, начать спуск прежде, чем начнешь проваливаться.

По-моему, краснокрылая уже проваливалась.

Сейчас-то на крыльях обязательно ставят НЗ — аварийную мощность, но, по-моему, запас этот не помогает. Тяжи нормальный человек проверяет перед каждым вылетом, аварийку меняют раз в два года и не думают о ней. Но кто же знает, не скисла ли она именно сегодня?

Так или иначе, красные крылышки были в опасности, не в смертельной, но на грани риска. Тут уж неуместно было деликатничать. Я догнал девушку, глянул ей в лицо (заметил все же, что прехорошенькая), увидел недовольное недоумение и гаркнул что есть силы:

— У вас тяжи пустые! Давайте вниз!

Недоумение сменилось смущением.

— Ой, в самом деле? То-то я замечаю, что лечу медленно. Я такая невнимательная, всегда забываю проверить НЗ. Спасибо, сейчас пойду на посадку.

— Я помогу, — вызвался я тут же. Навязался все-таки. Не стал дожидаться просьбы о помощи.

— Не надо, не беспокойтесь, летите по своим делам, я умею планировать. А что там у нас внизу, суша или море?

Однако я был настойчив. Не только ради знакомства.

— Девушка, оставим всякие экивоки. Мы над морем, надо еще до берега тянуть. Вода ледяная, купаться не стоит. Не ломайтесь, хватайте меня за ноги. Ухватили? Ну вот и держитесь крепче.

Так, на буксире, я и спустил ее. Поработать пришлось крыльями как следует. Не так просто лететь с прицепом, он провисает, а когда провисает, аэродинамика нарушается: обтекание хуже, сопротивление больше, сразу проваливаешься метров на десять, втрое больше усилий, чтобы выровняться. Но так или иначе, спустил я девушку сквозь облака и до пляжа дотянул, пустынного в эту пору, в начале апреля. Только тут, отдуваясь, разглядел я лицо моей певуни.

Очень хороша была: смуглая, скуластая, что-то монгольское было в форме лица, но глазищи огромные и длинные-предлинные ресницы, аж тень на щеки ложилась. Тогда в первый раз рассмотрел, а потом столько раз лю-



бывался. И сейчас закрою глаза — припомню. Нарисовать смогу.

А тогда опустила она эти ресницы на щеки и пролепетала тоном провинившейся девочки:

— Мне так стыдно, так неудобно, что я заставила вас свернуть, бросить свои дела.

И губки вытянула горестно. Так и казалось, что сейчас будет нить по-детски: «Я больше не бу-у-уду!»

Потом протянула руку, представилась:

— Сильва.

— Юш,— сказал я в ответ.

Тогда-то она и заметила мою голубую тройку.

— Я оторвала вас от дела? Вы опоздаете из-за меня? Где вы работаете?

— Я учусь,— признался я.— В десятом классе всего лишь.

Она взглянула на меня с интересом. Тройка у школьника производила впечатление.

— А вы поете? — спросил я в свою очередь.— Выступаете?

— Нет, к сожалению, только для себя,— призналась она со вздохом.— Хотела учиться, но говорят, что нет данных, узкий диапазон, тут ничего не поделаешь. Пою для своего удовольствия. Но негде. В школе мешаю, дома мешаю. Старшая сестра все поучает, лезет со своими замечаниями. За облаками вольно... Но зато пролетающие: «Девушка, что вы делаете одна? Девушка, вам не скучно? Девушка, позвольте представиться. Ах, вы поете? Можно послушать?» Никакого покоя нет. Вот если бы рядом был кто-то знакомый и самоотверженный, такое пугало для досужих любопытствующих...

Я немедленно выразил желание быть штатным пугалом. Сейчас-то я полагаю, что Сильва на то и намекала. Но тогда я с замиранием сердца ждал ответа.

— Но вам же скучно будет.

Я хотел сказать, что не соскучусь никогда, готов слушать моего жаворонка ежедневно, ежечасно, год за годом, всю жизнь, слушать, пока не иссякнет АТФ в тяжах, пока не провалюсь сквозь облака. Но не сказал, постеснялся. Решил, что это будет звучать навязчиво, назойливо, нахально, настырно, надоедливо, нагло. Предложил вместо того:

— А после пения мы можем полетать, посмотреть что-нибудь интересное. Я открыл церковь XVII века, там химеры на карнизе, как в Париже. Еще знаю затопленную колокольню, весь цоколь в воде, без крыльев не подступишься. А соборы во Владимире: на стенах львы с хвостами цветком, каждого надо рассмотреть не с земли, не голову задирая. А башня Вечного Мира — двести этажей для двухсот стран, по этажу на каждую. От «а» до «зет». Двести дней на осмотр.

— Я видела эту башню только изнутри. Никогда не облетала. Вы мне покажете? — спросила Сильва.

Так начались наши совместные полеты. Я готовился к ним на совесть. Выбирал путеводители, заучивал даты наизусть, предварительно облетал сооружения, запоминая

все паруса, нервюры, закомары и аркбутаны, сверял натуру с каталогом, обо всем мысленно рассказывал Сильве, заранее смакуя, как я буду разглагольствовать, а она — смотреть мне в рот и восхищаться моей необыкновенной эрудицией.

Почему-то величайшее наслаждение виделось мне в том, чтобы разглагольствовать перед девушкой.

Интересно, а девушкам тоже нравится, когда ораторствуют для них?

Недавно я вычитал где-то: «Мужчины любят говорить о себе, а женщины — слушать, когда говорят о них». Все-таки «о них», а не «для них».

Итак, я составил обширнейшую программу знакомства с дворцами и соборами, в пределах однодневного полета, и погрузился в чтение путеводителей. Не оттуда ли пошел мой интерес к архитектуре? Очевидно, навеки связались с любовью в моем подсознании всякие йоники, сухарики, гуськи, каблучки, капители, пилястры, каннелюры, ордера грекодорический, римскдорический и все прочие по Палладио.

Богатый материал я почерпнул и из трех томов Саксаниди — «Пятый фасад». Мне, крылатому, особенно дорога была проблема, возникшая в нашем веке, — проблема архитектурного оформления крыши. Ведь в прошлых веках на здания смотрели снизу, от цоколя, или издалека; ансамбли возникали от заслонения. А тут появился взгляд сверху — под ноги, при близком пролете или же из-под облаков с дистанции. Обзорный плоский ансамбль, ансамбль до горизонта. Все крыши, верхние этажи, все макушки зданий понадобилось переделывать, перекрашивать, переосвечивать. Я же со своей стороны получил неисчерпаемую тему для рассуждений: «Смотрите, Сильва, как удачно повернули архитектуру к небу!» или же «Смотрите, Сильва, положили заплаты, а XX век просвечивает со всеми шиферными гримасами!».

Мы совершили немало познавательных экскурсий над пятыми фасадами, хотя и меньше, чем я запланировал. Очень часто, гораздо чаще, чем мне хотелось бы, Сильва отменяла полет в последнюю минуту, извещала, что она никак, ну никоим образом не может сопровождать меня сегодня, очень извиняется, очень жалеет, со мной ей было бы куда приятнее, но она вынуждена, так сложились обстоятельства, лететь в очень нужное и неприятное место.

Я принимал извинения, не обижался, про обстоятель-

ства не выпрашивал. «Выбирает женщина!» — таковы правила вежливости нашего века. Мало ли какие могут быть обстоятельства, физиологические может быть. Мужчине пристала сдержанность. Смирюсь, потерплю («Мужчина умеет ждать и терпеть!»). Использую время с толком: подготавливаю к следующему полету.

Иногда в пути она пела над облаками. Иногда! Сильве не было свойственно педантичное прилежание, она жила порывами. Хотелось запеть — пела, чаще предпочитала болтать, не о пятом фасаде архитектуры, о себе и своих знакомых. Глаз у нее был зоркий, язычок острый, великолепно получались словесные карикатуры на неловких девиц, неуклюже напрашивающихся на ухаживание, и столь же неловких юнцов с их наивными подходами, подобных шахматисту-любителю, надеющемуся поймать гроссмейстера на «киндермат». Сильва очень натурально в лицах изображала своих поклонников, как они краснеют, пыhtят, переминаются с ноги на ногу, наконец решаются брякнуть что-то по их представлениям галантное и исподлобья поглядывают, какое это произвело впечатление.

Я не ревновал, я даже сочувствовал этим пыhtящим беднягам. И мотал на пробивающийся ус, старался не подражать им, запоминал, как не надо себя вести.

Но как надо было?

— Когда-нибудь ты сама полюбишь, — сказал я однажды. — И будешь ждать признания. И обрадуешься признанию... самому, самому неловкому.

— Наверное, я никогда не полюблю, — объявила Сильва. — Я бессердечная. Полюбила бы только особенного, необыкновенного.

— А какой он — особенный? — спросил я тут же. — Какой подвиг должен совершить?

Про себя уже решил совершить его, любой: многолетний, пожизненный, невероятно трудный, смертельно опасный.

Сильва посмотрела на меня с некоторой грустью:

— Юшик, ты никогда не будешь особенным. Ты милый, ты добрый, ты очень хороший, в сорок раз лучше меня, но ты обыкновенный. Я знаю, что по всем правилам я обязана полюбить тебя потому, что ты спас мне жизнь. Но не принуждай меня и не влюбляйся сам, будь другом, очень прошу, умоляю. Поклонников тучи, поклонники — как толкунцы над прогалинкой, а искренних друзей так мало. Будь же мне другом, Юш, не бросай меня на съедение поклон-

никам. Если бросишь меня, я буду так одинока, я же поддамся кому-нибудь нечаянно. Не бросай, Юш, я даже постараюсь полюбить тебя. Не обещаю, но постараюсь. Только не торопи, ты же терпеливый, не требуй, это не в твоём стиле.

Что означает «постараюсь полюбить»? Я понял в самом благоприятном смысле. У меня выросли крылья... добавочные, потому что и так крылья были распахнуты — разговор этот шел над облаками. Надежда забрезжила вдали. Велено было терпеть, не торопить. Согласен. Буду ждать сколько угодно, хоть всю жизнь.

Пока подвиги не были названы, и любовь я завоевывал стандартно — подарками. Подарки я любил дарить еще с раннего детства. Надеюсь, что постепенно и научился дарить. Знаю, что нельзя дарить что попало... что на глаза попало. Надо угадать затаенные мечты. А какие мечты у Сильвы? Тут уж я был сверхвнимателен, к каждому слову, к каждому намеку прислушивался. Узнал, что Сильва любит цветы, любит сладости, любит красивые старинные безделушки, музыку любит — собирает записи концертов и классических драм. Конечно, она и сама могла заказывать по своему вкусу на складе, но у кого же хватит терпения пересматривать современные бесчисленные каталоги, выискивая наилучшее из лучшего. Так вот, я не жалел времени, выискивал самое замечательное среди новинок, такое, что Сильва еще и пожелать не успела. И на свидание являлся с пышным букетом тропических цветов или же вручал пакет с таинственной надписью «Подарок».

— Ах, Юшик, что там такое? Ну ты балуешь меня, слишком балуешь. И что же там? Можно, я сейчас разверну? Ну, Юшик, ну, Юшик, что ты возишься? Не дразни меня, дай сюда, дай, я сама. Я же такая нетерпеливая, я умру от любопытства.

Лентозаписи она любила больше всего. И именно я, никто другой, принес ей ленту «Отелло» с Терновым в двух ролях — и мавра он играл, и Яго.

Тернова все тогда считали великим артистом, ахали: «Какой диапазон: и Отелло, и Яго — такие разные характеры!» Сейчас-то я думаю, не только артистическое, но и спортивное что-то было в Тернове: пел, танцевал, сам себе аккомпанировал, играл две роли, три роли, все роли. Как бы испытывал себя: могу ли, все ли могу, могу ли и себя превзойти? Возможно, такое расползание вширь связано с неумением овладеть глубиной. И неуверенность в себе, и постоянная жажда опровергнуть новым успехом

свое бессилие. Но это моя современная оценка, взгляд с дистанции в сорок лет. А тогда для меня Тернов был только знаменитостью, от которой все в восторге, все поголовно. Голосом восхищались особенно: бархатный баритон, мягкий, задушевный, обволакивающий. «Проникновенный голос», — говорили девочки из нашего класса. На лентозаписи Тернова шли миллионные заказы из всех республик Всемирной федерации. Он еще репетировал, а заказы шли и шли. Нетерпеливые любители пробивались на репетиции со своими видеофонами. Вот у одного из таких энтузиастов я и списал «Отелло».

Сильва просмотрела драму три раза подряд, восхитилась и приказала мне достать полное собрание лент Тернова. Я совершил этот подвиг, проник в Театральный архив, провел там неделю, проявил бездну трудолюбия за счет подготовки к экзаменам и переписал все постановки с участием Тернова, начиная со студенческих этюдов.

Сильва поцеловала меня.

Поцеловала!!!

Первый поцелуй девушки! Увы, не влюбленный, благодарный! Но помню его. Всю душу мне перевернул. Вот сейчас закрою глаза и почувствую прикосновение губ (не теплых — горячих!) на правой щеке, чуть ниже скулы.

Счастливая скула!

Архитектура была забыта. Теперь за облаками шел разговор только о театре, только об искусстве артиста, артиста Тернова персонально, все о Тернове — о его творческой манере, о его проникновении в образ, о его трактовке образа, о его за сердце хватающем баритоне, о модуляциях голоса, о модуляциях мимики. О Тернове, Тернове и все о Тернове.

— Вот за такого человека я пошла бы замуж хоть завтра, — проронила Сильва однажды.

Я как-то не обратил внимания, не принял всерьез такое заявление. Мысленно не мог преодолеть несообразной дистанции: всемирная знаменитость и хорошенькая школьница. С таким же успехом можно сказать: «Я пошла бы замуж за Отелло» или «Я пошла бы замуж за Шекспира». Где Шекспир и где Сильва!

Но неделю спустя, посмотрев Тернова в «Меджнуне», Сильва вернулась к теме по-новому:

— За таким человеком я пошла бы на край света. Пальцем поманил бы, и пошла бы с закрытыми глазами.

— С закрытыми?

— Пошла бы! Ничего не прося, ничего не спрашивая, никаких условий не ставя.

Очень странный голос был у нее. Помню, я даже обернулся, хотел в глаза заглянуть, но в полете это не получается. Летим рядом, профиль вижу. Очень напряженное лицо: шея вытянута, взгляд вперед устремлен. Впрочем, в полете это естественно: крыльями машем, напрягаемся и вытягиваемся для обтекаемости.

— Сильва, объясни, что означает «никаких условий не ставя»?

Не ответила.

Но объяснение пришло скоро, в следующем полете или через один.

— Юш,— сказала она,— ты мой друг, самый верный из друзей. У меня есть тайна, такая тайна, что нельзя сказать подругам, сестре, даже маме. Но мне необходимо поделиться. Я люблю, Юш. Я полюбила Тернова. Всерьез, по-настоящему, и другой любви у меня не будет в жизни. И я решила признаться. Прямо позвоню и скажу.

Я помертвел. В груди оборвалось, руки опустили крылья. Провалился, дух не мог перевести. Когда опомнился, догонять пришлось. Уж и не помню, что лепетал. «Ничего не выйдет» — единственное, что в голову пришло.

— Ничего не выйдет. Ты и не дозвонишься. Его номер в справочной не дадут. К таким звонят через ноль, автомату диктуют, кто и по какому поводу. Будешь объясняться в любви автомату?

— Я уже все разузнала,— возразила Сильва.— У Тернова есть номер для родных. У моей подруги сестра замужем за племянником Тернова. У него для родных час свободного экрана — в понедельник, четверг и в воскресенье с одиннадцати утра. Вот в четверг я и позвоню. Скажу все, а там будь что будет.

Что-то я еще возражать пытался, что-то бормотал невразумительное — кажется, отговорить пытался. Твердил: «Сильва, опомнись, ты себя погубишь!» Плел нелепое, неуместное, повторял: «Губишь, губишь!» Хотя почему губишь? Тогда не мог объяснить и сейчас не могу. Традиционные слова из классической литературы прошлого тысячелетия.

Впрочем, все это не имеет значения. Сильву я не отговаривал. Но решил спасти ее. Как? Обратиться к Тернову. Он взрослый человек и, конечно, хороший человек.

В наше время злодеи остались только в книгах. Так пусть же вразумит эту взбалмошную дурочку!

И я сам позвонил Тернову в понедельник, за три дня до рокового четверга. Специально пошел в переговорную, не стал приглашать великого артиста на крошечный экранчик своего запястья. Эта миниатюрка всегда искажает: и головешечка крошечная, и голосок пискливый. Не бархатный баритон несравненного Тернова.

Я извинился, попросил прощения за вторжение на его домашний экран, сказал, что понимаю, как он занят, как драгоценны его минуты, как невежливо и бессовестно с моей стороны... и всякое такое прочее. Поперхнулся, еще раз извинился, пояснил, что волнуясь...

— Ну, кончайте извиняться,— сказал он в конце концов.— К делу! Что вы хотите от меня?

— Дело идет о судьбе одного человека...

— То есть вашей? Мечтаете о сцене?

— Нет, не обо мне, о другом человеке...

— Он мечтает о сцене?

— Совсем другое. Мечта тоже присутствует, но это как-то трудно объяснить сразу. Поверьте, для него это вопрос жизни, и вы, именно вы можете все исправить.

— Я могу?

— Только вы, и никто другой. Поверьте, тут вопрос жизни одного человека.

Он улыбнулся:

— Юноша, это похвально, что вы так заботитесь об «одном человеке». Но мне сейчас некогда. Я жду важный вызов и не смогу вас дослушать. Где вы живете? Недалеко? Тогда прилетайте ко мне в четверг в десять сорок пять. Пятнадцать минут хватит вам? Но настойчиво прошу: приготовьте связный рассказ. Запишите, можете даже читать мне, чтобы не спотыкаться. Если не уложитесь в пятнадцать минут, пеняйте на себя. Не вам будет плохо, «одному человеку».

И три дня спустя, в десять сорок пять ровнехонько, сидел я в кабинете великого Валерия Тернова.

А кто его помнит сейчас? Только театроведы-историки. Увы, коротка сценическая слава. Пока видят — рукоплещут. А потом приходит новая техника записи, новая режиссура, новая манера игры. Записи есть, но они раздражают нас: кажутся беспомощными и наивными. Мы пожимаем плечами: «И это великий артист? Сплошные ходули!»

Впрочем, я отвлекся.

И тогда, при всем моем волнении, я тоже отвлекался. С любопытством озирался, разглядывая кабинет знаменитости. С моей точки зрения, неудобный был кабинет, загроможденный. Венки, стулья, картины, вазы какие-то. Всё призы и подарки, подарки и призы, память о победах, успехах, восторгах, благодарностях. Музей благодарностей!

Сам же Тернов разочаровал меня. Плохо он выглядел, куда хуже, чем на сцене, хуже, чем на экране даже: несвежая кожа, синеватая от частого бритья и грима, тяжелые мешки под глазами, залысины, седина на висках. Признаюсь, непрезентабельный вид этот подбодрил меня. Не будет Сильва любить этого старика. Всмотрится и излечится. Пройдет ее временная блажь.

«Старик» между тем и сам всматривался в себя, сидя перед зеркалом, разглаживал пальцем кожу на лице и при этом напевал сначала про себя, а потом и в голос: «А! О! О-о! А-а!»

— Чисто звучит? — спросил он озабоченно. — Нет хриповатости? — И пояснил: — Голос — главный инструмент в нашем деле. Охрипну... и конец Валерию Тернову.

Я приободрился окончательно. Человеческое увидел в недостижимо великом артисте.

— Так в чем же дело? — спросил он, наконец оторвавшись от зеркала.

— Один мой товарищ любит девушку. (Такое примитивное начало я придумал.)

— Понял, — сказал он. — Этот товарищ — вы. Дальше!

— Девушка хорошая, способная, красивая, — продолжал я, не тратя время на отнекивание, — но неровная, непредсказуемая. И вот она посмотрела ваши видео, пришла в восхищение, и ей взбрело в голову... ей показалось, лучше сказать, что она влюблена в вас, не влюблена — любит на всю жизнь. И если вы ее пальцем поманите, она побежит за вами на край света — так она сказала прямо. Но вы же понимаете, это минутное увлечение, это... Но где-то она разузнала ваш номер и собирается позвонить.

— Все понял, юноша, — опять прервал он. — Когда ваша девушка позвонит, я прочту ей отеческое наставление. Как это у Пушкина: «В благом пылу нравоученья читал когда-то наставленья». Так и скажу: «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел...» Читал наставления, приходилось. Сумею повторить, и с надлежащим

выражением. Не раз повторял. Есть, видите ли, юноша, профессиональная вредность в нашей сценической профессии. У химиков — вредные газы, дышат ими волей-неволей; в космосе — отсутствие всякой атмосферы, а у нас — насыщенная атмосфера страстей, дух любви-любви-любви. И зрителям, зрительницам в особенности, представляется, неосознанно, подсознательно, хотя, если вслух спросить, отрицать будут категорически, что мы, артисты, так умело умеющие изображать любовь, наверное, в подлинной жизни любим в сто раз сильнее и красивее, необыкновенно, божественно любим. Так им хочется испытать эту, божественную. Вот и летят на огонь любви, как бабочки. Крылья опаляют, конечно.

Он замолчал, задумавшись, свое вспоминал что-то.

— Вам надо выступить на эту тему, — сказал я. — По видео, по радио хотя бы. Еще лучше написать и издать, чтобы все могли прочесть и в будущих поколениях.

Он посмотрел на меня с сомнением:

— Надо, юноша?

— Обязательно!

— А вот я не уверен, что надо. В жизни все гораздо сложнее, чем представляется в ваши годы. Ведь им, бабочкам, на огонь летящим, необыкновенно хочется небывалой любви. Разве их утешит трезвое сообщение, что небывалой не бывает, необыкновенная — редкость, а обычно встречается обыкновенная; что и мы сами, артисты, герои-любовники, — люди обыкновенные. Нет, не утешит. Вот они и бегут, летят к нам, машут крылышками, просят, умоляют: «Будь добр, притворись необыкновенным, ты же умеешь притворяться!» Иногда идешь навстречу.

— Но это же чистый обман! — возмутился я.

— Дорогой мой несгибаемый пуританин, а разве обман никому не нужен? Ты же садишься перед экраном видео, чтобы тебя обманули. Смотришь на сцену, заведомо зная, что это не на самом деле, «как будто». Перед тобой артисты, изображающие трагедию, придуманную драматургом о людях, которых никогда не было, может быть. Но ты умиляешься, вытираешь слезы или мужественно сдерживаешь слезы и шумно аплодируешь тем, кто умело обманул тебя, заставил забыть про «как будто». Даже не постесняешься ворчать и возмущаться и поносить тех, кто не сумел обмануть тебя. Так и женщины. Они придумывают тебя, они хотят, чтобы ты был героем. И не разуверять их, пожалуйста, притворяйся что есть силы. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Я оторопело слушал этот неожиданный панегирик обману. В школе нам внушалось только противоположное. Где же истина? Или на свете много истин?

Разобраться я не успел. Нас прервал колокольчик видео. Над домашним экраном. Полотно осветилось, на нем появилась курносая девчонка лет пятнадцати со светлыми косами вокруг круглой головы и выпученными круглыми глазами.

— Эта? — спросил меня Тернов шепотом.

Я замотал головой отрицательно.

— Тогда извини, пришел мой час экрана. Сядь в сторонку, туда, за занавеску, чтобы не смущать. Потом договорим. И не забудь записать номер твоей бабочки.

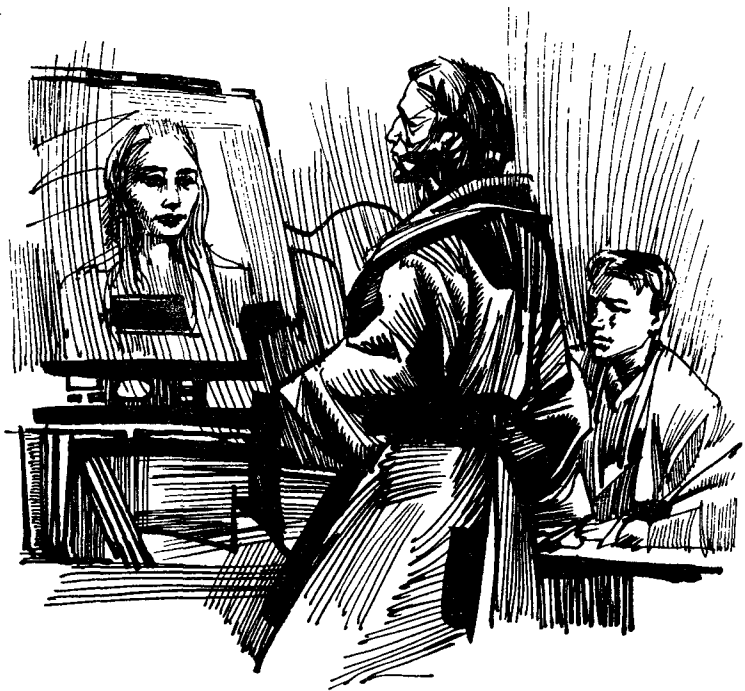
Между тем круглоглазая тараторила, объясняя, что вот она приехала в гости к тете Лиз и узнала, что тетя Лиз собирается звонить удивительному, замечательному, несравненному, непревзойденному, и она попросила разрешения оторвать минутку, чтобы выразить свое удивление, восхищение, восторг и самозабвение. Она уже смотрела «Отелло» пять раз, и «Меджуна» восемь раз, и девять раз «Коварство и любовь», и «Первую любовь» по Тургеневу, и «Первую любовь» Росара из Росарио, и «Первую любовь» Нурмухамедова, и «Первую любовь» Людмилы Гай, и все это ей ужасно-ужасно-ужасно понравилось, и она посмотрит все первые любви с участием Валерия Тернова, и она желает ему тысячу раз сыграть про первую любовь... Все это произносилось скороговоркой без пауз и знаков препинания. Видно было, что девочка старательно выучила речь наизусть и очень торопится уложиться в подаренные ей минуты.

Тернов терпеливо выслушал все до конца.

— Спасибо, девочка, — сказал он. — Мне было очень приятно услышать твое одобрение. Как тебя зовут? Нина? Хорошо, Ниночка, спасибо. Но давай договоримся, Нина: никому-никому из подруг ты не выдаешь мой номер. Пусть это будет наш с тобой секрет. Ты же понимаешь, мне нужно очень-очень много работать, чтобы угодить таким, как ты, взыскательным знатокам сцены. Договорились? А теперь позови тетю Лиз.

И круглоглазое румяное лицо заменило на экране другое, удлинненное, со впалыми щеками и тяжелыми усталыми веками, — лицо женщины лет тридцати семи, пожилой, с моей тогдашней точки зрения.

— Как ты, Лиз? — спросил артист. — Ты и в самом деле собиралась позвонить мне?



— Позавчера я видела тебя в «Отелло»,— сказала она, уклоняясь от прямого ответа.— Ты выглядел усталым. Мне показалось, что тебе уже трудно играть африканские страсти.

— А ты все еще ждешь меня, Лиз,— грустно улыбнулся он.— Я же обещал тебе и могу повторить еще раз: «Как только я выдохнусь и устану от сцены, я прибегу к тебе, виляя хвостом. И мы заживем мирно в твоём мирном саду, сажая гладиолусы, или хризантемы, или капусту, как Гораций, или крыжовник по Чехову.

— Этого никогда не будет,— возразила она.— Ты отравлен сценой безнадежно. Ты согласишься на роли старых лакеев — «Кушать подано».

— Может быть, может быть, Лиз, по всей вероятности, ты права. Я не уйду со сцены, меня унесут. Но если унесут живым, то к тебе, так я распорядился. Вопрос в том, примешь ли ты меня тогда?

Занятый своими переживаниями, я не очень вслуши-

вался в этот интимный разговор, но запомнил его механически. К тому же Тернов добавил пояснения. Всем нам хочется поделиться с живым человеком, хотя бы с чужим, и даже лучше с чужим — незаинтересованным. Недаром люди так откровенничают в дальней дороге, на воде или на суше.

— Это моя первая жена,— сказал Тернов, когда экран погас.— Очень хорошая женщина, достойная женщина, надежный друг, но у них, у женщин, своя логика. Артиста выбрала она, но артист ей нужен для себя лично, даже не для себя, для детей, чтобы задатки им передал и пестовал, как няня. Она меня за муки полюбила, но не разрешает мучиться дальше, не хочет, чтобы я играл, дико ревнует к сцене и к кулисам. И мы разошлись. Но вот ждет она, чтобы я сдал и сдался, потому позвонила, что показалось ей, будто я уже начал сдавать, устал, плохо выгляжу, недостаточно страстен в роли. Да, мне трудновато, но Лиз права, я навек отравлен сценой. И я молодею, я оживаю у рампы. Откуда силы берутся?! Меня вдохновляет полутемный зал, сотни смутных лиц в партере. Я их не вижу, не различаю, но ощущаю напряженное ожидание и впитываю это напряжение, я в нем черпаю силы и возвращаю их в зал, выкладываю все, все и сверх того — вдвое, втрое. Это мой долг и моя радость. Я могу одарить целый зал. Ты понимаешь, что значит делать подарки?

Я кивнул головой. Я понимал.

— А вот Лиз не понимает. Хочет, чтобы все подарки я нес только ей. И не сталкивались мы. Я человек слабый или же жадный. Люблю благодарные улыбки. Хочу одаривать многолюдье, дарить и тем, кто выпрашивает не всю мою жизнь, а минутки, как эта наивная девочка с торчащими глазами. Ну, не велик труд был выслушать ее, а она же счастлива теперь. Я нужен был ей для полного счастья! Ты понимаешь, что это значит: нужен!

Я опять кивнул. Я понимал. Я-то был не нужен!

— А Лиз никак не хочет понять. И ждет, чтобы я стал ненужным. И не знаю, буду ли я ей нужен тогда, выжатый и высосанный сценой, кожа от лимона, сморщенная кожа бывшего артиста.

Он тяжело вздохнул и тряхнул головой, как бы грустные мысли стряхивая.

— Так на чем же мы остановились?

И тут экран снова зажегся. Сильва появилась на нем. Смуглое скуластое личико с нежным пушком, чуть прищуренные глаза над тяжелыми монгольскими скулами,

длинная шейка, подбородок, вскинутый с горделивым достоинством.

— Меня зовут Сильва,— сказала она.— Я рядовая зрительница, но не рядовая ваша поклонница. Я потрясена вашей игрой, в особенности в «Первой любви», и больше всего в сцене, где вы поете «Будь моей»!

Даже и тогда, в ту страшную, возможно самую страшную, минуту моей жизни, я отметил редкую выдержку Сильвы. Все мы, молодые и неопытные, смущались, обращаясь к великому Тернову. Я от волнения мямлил, путался и повторялся. Круглоглазая тараторила, видимо не понимая, что произносит, не ощущая смысла слов. Сильва же каждый звук выговаривала четко, подавала слова с достоинством, не развязно и не униженно.

— С моей стороны нескромно...— продолжала она (сказала «нескромно», как бы извиняясь, но в тоне ощущалось: «имею серьезные основания»),— нескромно обращаться к вам с большой просьбой. У меня день рождения сегодня. День моего совершеннолетия, и я прошу, чтобы вы сделали мне лично подарок: спели бы для меня «Будь моей». Не поймите меня буквально, я не прошу, чтобы вы пели специально для меня, это был бы чересчур дорогой подарок. Но я хотела бы, чтобы в следующий раз, исполняя эту арию на сцене или на репетиции, вы подумали бы, что на этот раз поете для меня, для девушки по имени Сильва.

— Вы хотели бы от меня услышать «Будь моей»? — переспросил он, подчеркивая каждое слово.

— Может быть,— отчеканила Сильва, еще выше вскидывая голову.

Тернов глядел на нее, прищурясь.

— Сегодня я не выступаю,— сказал он.— Сегодня я репетирую дома. И буду петь. И спою «Будь моей». Для вас. Можете прилететь к семи вечера?

А я сидел, замотавшись в занавеску, съезжившись, обхватив плечи руками, и все я слышал, и все я видел: лицо Сильвы видел и видел ее глаза, глубокие, томные, ласковые, ласкающие, восхищенные, торжествующие и счастливые,— глаза счастливой влюбленной. В первый раз в жизни видел такие глаза и в последний.

— Интересная девушка,— сказал артист, простившись с Сильвой.— Сильный характер.

И, оглянувшись, увидел мою странную позу.

— Она? — сразу догадался он.

— Н-н-н-ет!

— Наверное, она все-таки. Ну-ка, быстро давай ее номер, не упрямысь. Я позвоню, отменю приглашение.

— Нет, не она,— твердил я.— Мою зовут Искрой (назвал первое попавшееся имя). Просто я не видал, никогда не видал, как это бывает в жизни.

Много раз, и в тот день и впоследствии, спрашивал я себя, почему же я отрекся от Сильвы?

Не обдумывал я, инстинктивно брякнул, но почему же инстинкт сработал так?

Потому ли, что с раннего детства мне твердили, что право выбирать предоставлено женщине, она слабая, ей труднее? А в старших классах объяснили: «Она выбирает отца для будущих детей, не мешайте ей выбрать лучшего».

Потому ли, что Тернов показался мне совсем не скверным человеком и этот нескверный расшатал мое мнение о том, что Сильва губит себя, бросаясь в его объятия?

Нет, не потому.

А потому, что я увидел глаза Сильвы — глубокие, томные, нежные, ласковые и ласкающие, влюбленные, упоенные любовью. Счастливые глаза счастливой возлюбленной. И не посмел я отнять у нее это счастье.

Позже добавилось: я ей такое счастье дать не могу, я могу у нее выпросить, вынудить любовь, приучить к себе, заставить оценить мое постоянство и преданность. И оценит она, согласится на меня, но годы и годы, всю жизнь возможно, будет сожалеть и попрекать меня в минуты раздражения, что я не позволил ей однажды быть счастливой.

Нет, не твердое, не окончательное было у меня решение. Столько раз в мыслях своих я переиначивал тот роковой день. Ну что бы стоило мне раскрыть рот и сказать артисту: «Да, это она, та самая, оставьте ее в покое, для вашего огня найдутся другие бабочки». И даже если в ту секунду я растерялся, я же мог, уходя, обернуться и на пороге объявить: «Извините, я обманул вас необдуманно, на самом деле это та девушка, та самая, не пойте ей «Будь моей». И даже если бы я промедлил в тот момент, я же мог дожждаться Сильву в семь вечера у его дома, перехватить ее, переубедить, не пустить силой.

Мог бы! Не сказал, не обернулся, не дождался.

Потому что не на меня она смотрела счастливыми глазами.

Немало я размышлял тогда и после, хорошо ли поступила Сильва, правильно ли по отношению ко мне и по

отношению к себе? И хорошо ли поступил Тернов, взрослый, сложившийся человек? Он должен был бы оказаться сдержаннее юнцов обоего пола. Сейчас не о том речь. Я о себе размышляю. Не почему не помешал, а почему не заслужил любви? Вел себя неправильно или же были во мне какие-то изъяны, врожденные недостатки характера, препятствующие личному счастью? Так пускай мне исправят эти изъяны! Вот в чем цель всего этого горестного отчета.

* * *

Что было после?

А ничего.

Я твердо решил никогда-никогда в жизни не встречаться с изменницей. Хотя почему, собственно говоря, я считал ее изменницей? Сильва ничего не обещала мне и не нарушала обещаний. Первое время мне удавалось выдерживать характер отчасти потому, что мое отношение к Сильве резко изменилось. Прежде она была недостижимой мечтой, для меня стояла на пьедестале, более того, на вершине горы, на небе — этаким ангел небесный. Я собирался посвятить ей всю жизнь, чтобы по лестнице подвигов забраться к ней на небо. Но вот небесный ангел становится падшим, недостижимая и неприкосновенная сама кидается в чьи-то нечистые объятия. И почтительная любовь сменяется разочарованием, обидой, чуть ли не презрением. Эти новые античувства помогали мне не звонить, не унижаться на экране.

Но все же их вытеснила жалость. Себя я начал упрекать. Пусть недостижимая оступилась, упала, испачкалась. Плохо ей теперь, грязь на душе и на теле, а поддержать, утешить некому. И она вспомнит обо мне, самом близком из друзей, которому можно любую тайну доверить, такую, что не доверишь ни подругам, ни сестре, ни родной маме. И я стал ждать звонка Сильвы, заготовил наставительную речь о самоуважении, потом заменил ее утешительной речью о целительном времени, потом решил просто пожалеть, посочувствовать.

Потом еще что-то придумал.

А Сильва все не звонила. Не просила ни поучений, ни сожалений.

Тогда я доказал себе, что обязан позвонить сам. Все-таки от мужчины ждут инициативы. Позвоню и буду мол-

чать, не покажусь на экране. Догадается же она, что это лучший друг о ней тревожится.

Позвонил. Свой экран закрыл ладонью. Голос ее услышал.

Не догадалась.

Еще раз позвонил. В ответ раздраженно:

— Опять воздыхатель какой-то. Я же слышу: пыхтит кто-то. Пауль, это ты? Ну говори, если дело есть.

Пауль какой-то! Обо мне и не вспомнила.

И больше мы не виделись. Вскоре я кончил школу и уехал на Тихий океан; случайных встреч быть не могло. Стороной до меня донесли сведения, что Сильва была женой Тернова, но недолго. Очень уж неравная пара — тридцать лет разницы. У него талант, у нее характер — кому уступать? Не знаю, кто кого отверг, сплетничать не буду.

А встретились мы не так давно, на курорте Гран-Канария. Она узнала меня, а я ее — нет. Передо мной была полная, рыхлая, малоподвижная женщина с отеками ног и непрочной прической; космы всё выбивались у нее из-под платка.

— Видишь, какой я стала,— вздохнула седая Сильфида, бывшая Сильва.— Ты же не узнал меня.

Я забормотал какие-то извинения, вымученные комплименты, утешительные слова о том, что омолаживают сейчас безупречно. Моя жена, например...

— Нет, я подожду,— сказала Сильва твердо.— Я еще не все, что причитается, перепробовала.

И с увлечением начала рассказывать, какая удачная у нее третья внучка, так хорошо держит головку на воде, так рано пошла, так рано заговорила. Выдающийся младенец!

— А у тебя дети есть?

Краснея, я признался, что нет, к сожалению.

— Для себя живешь,— отрезала Сильва.— Эгоист. А у меня трое: два сына и дочь. И внуков уже три. Конечно, заботы. А заботы не красят.

— Я был здорово влюблен в тебя,— признался я. Почему-то мне казалось, что эту увядшую Сильву надо утешить хотя бы прежними чувствами.

— Ты был зеленым мальчишкой,— отрезала Сильва.— А я искала героя.

— Нашла в Тернове?

— Тогда я считала его героем. Неопытная была, наивная. Но ведь и ты на героя не тянул. В дальнейшем-то вытянул? Как считаешь сам?

Я только руками развел.

А Сильва ушла, выцветшая, растрепанная, но с гордо поднятой головой, уверенная в правоте, в своей жизненной логике. Некоторое время эта резкая женщина заслоняла в моей памяти воздушную Сильву, но постепенно стерлась.

Внуков у меня нет, но на судьбу я не жалуюсь, судьба меня не обделила. В свое время женился я благополучно, даже отбил жену у соперника. Не только поражения были в жизни, бывали и победы. Но жена — это особенная женщина: не праздничная, не вечерняя, не ночная, она круглосуточная, круглогодичная. Это товарищ, соратник, сотрудник, пара твоя в семейной упряжке. И мы тащили эту упряжку без малого тридцать лет. Бывали у нас размолвки, бывали и радости. Друзья считали, что мы счастливы в браке. Наверное, такой спокойный брак и считается счастливым.

Глава 2-А

Задача сформулирована: хочу восхищенные глаза.

С такой нескромной претензией иду в Центр Омоложения.

Оказывается, я там уже на учете. И у меня есть прикрепленный омологитель (куратором его здесь называют, не лечащим врачом). Эгвар его имя. Не знаю, что оно означает, из какого языка взято. Да и какая разница? Метка! Буквосочетание: Э-г-в-а-р. Сам же он пожилой, рыхловатый, подчеркнуто медлительный, склонен растягивать слова и делать долгие паузы. Но мне нравится его вдумчивая неторопливость. Я и сам человек уже солидный, мне не хочется обсуждать свою судьбу с порывистым мальчишкой, даже с семидесятилетним мальчишкой, омоложенным недавно. Нравится и кабинет куратора, больше похожий на комнату отдыха на заводе: мягкие кресла, темные шторы на окнах, а на стенах стационарные молчаливые картины... Не утренние будоражающие муви, какими мы взвинчиваем себя после сна: шумный прибой с брызгами, мчащийся поезд, тараторящий на рельсовых стыках, или бегущий олень, или хоккеисты в атаке... (Смотрите каталог киноковров.) Итак, комната вдумчивого отдыха, не медицинский кабинет, где ты осажден техникой, гудящей, сверкающей, ораторствующей на смеси латыни с алгеброй, где тебя переводят на цифры, описывают таблицами, где

чувствуешь себя телевизором в ремонтной мастерской.

— Спасибо, что вы потрудились с лентозаписью, — сказал мой куратор. — Спасибо, вы очень облегчили нашу беседу. Но давайте не будем торопиться. Человек вы здоровый, в срочном омоложении не нуждаетесь. Дайте мне три дня на размышление, я почитаю, перечитаю, обдумаю, поищу добрые советы. Ведь о благополучии целой жизни и думаем, ну, не всей, целой второй жизни.

И я согласился. В самом деле, зачем торопиться? Обдумать жизнь полезно.

С того и начался у нас следующий разговор, три дня спустя.

— Торопиться не будем, — сказал Эгвар. — Характер — это не пиджак: склеил, поносил, не понравилось — выкинул в мусоропровод. Себя выбираешь надолго — лет на тридцать — сорок. Можно, конечно, и подновить, но это манипуляции долгие и небезвредные. Лучше все обдумать заранее. Как говорили древние: семь раз примерь — один раз отрежь. Давайте займемся примеркой. Вы говорите: «Хочу восхищенные глаза, какими девушки смотрели на артиста Тернова». Приблизненно примем первоначальную гипотезу: вы хотите быть таким, как Тернов. Но вы видели его со стороны, не побывали в его шкуре. Надо бы побывать. К счастью, мы в состоянии предоставить вам такую возможность. Тернов омолаживался лет двадцать назад, записи его воспоминаний хранятся в архиве. Память мы всегда списываем при омолаживании, это необходимо для подчистки характера, у вас спишем тоже. Между прочим, Тернов менял таланты, не захотел во второй жизни стать артистом. Он не захотел, но вы, возможно, пожелаете. И вот я запросил у Тернова разрешения подключить вас к его памяти. Он любезно согласился, только спросил, мужчина ли вы или женщина. Женщин в свои интимные переживания не захотел допускать.

— Интимные тоже записаны? — переспросил я с некоторым удивлением.

Куратор усмехнулся:

— Все это спрашивают почему-то. Ну, не самые интимные. Физиология исключается автоматически. К тому же мы будем направлять тематику. Устроим как бы интервью с его памятью. Это даже лучше, чем личная беседа: образнее, точнее и откровеннее. Так что настраивайтесь и приходите; лучше с утра на свежую голову, процедура довольно утомительная. И пожалуй, не откладывайте; раз-

решение получено, нет основания тянуть, лучше потом обдумывать дольше.

Я не стал тянуть. На следующий же день в девять утра полулежал, откинувшись в кресле вроде зубо-врачебного. Тут уже был настоящий медицинский кабинет, не комната отдыха. Таблицы, табло, экраны — большие, маленькие и средние, прозрачные и полупрозрачные, бегущие цифры, мелькающие лампочки, пульта с тройными рядами клавиш, микрофоны машин, изрекающих латинские термины вперемешку с формулами и параметрами. Все как полагается. И я успокоился, чувствуя себя телевизором, поставленным на ремонт. Я — в руках мастера.

На голове у меня был надет мягкий шлем с бесчисленными иголочками, тонкими и очень колючими, и на веках были иголки, и в мочках ушей иголки, и на переносице иголки; все хотелось чихать из-за них, я с трудом удерживался. А передо мной на специальной подставке лежал оклеенный фольгой футляр в виде черепного свода — это и была память Тернова. Позже терпеливый куратор мой рассказал, что память можно было сделать и поменьше, с наперсток размером, ведь в мозгу ей отведена только часть, и не самая большая. Но поскольку она разлита по всей коре, на всякий случай при записи и копируют всю кору — опасаются, отсеивая, нарушить связи.

Итак, мы уселись с Терновым визави, череп к черепу, Эгвар расположился рядом, подмигнул мне для бодрости и спросил:

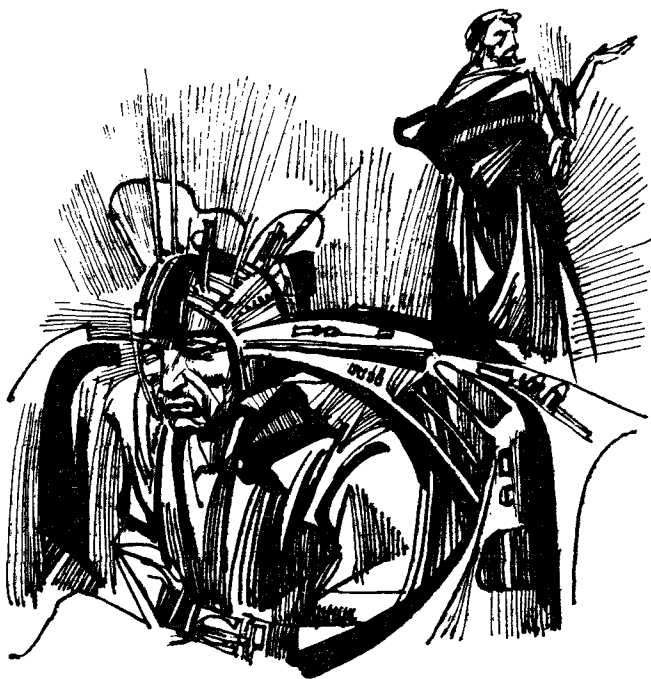
— Настроились? Ну, тогда поехали. Глаза закройте. Включаю.

Тут в закрытых глазах замелькали какие-то цветные обрешетки, как в калейдоскопе. Они ссыпались и рассыпались, составляя мгновенные картинки, вроде бы и осмысленные, но слишком уж мимолетные. В ушах при этом тараторили разные голоса, мужские и женские, мой и не мой, не сразу я догадался, что это голос Тернова, забыл за столько лет. Потом до меня донесся деловитый вопрос Эгвара:

— Вы артист Тернов? — спрашивал он.

И тогда возник внятный образ: искрящийся экран дисплея, на нем печатные буквы: «фамилия — Тернов, имя — Валерий, возраст — 68 лет, отец — Сократ Тернов...» Анкета такая-то.

Тут же она сползла, появилась рамка дисплея — темно-коричневая, под полированное дерево; уже не рамка, а ящик. Я (то есть Тернов) нес ее по аллее, любовно по-



глаживая гладкую поверхность: видимо, мне (Тернову) нравилась новенькая вещь. Вдоль аллеи стояли деревья с глянцевыми листьями и крупными белыми цветами.

«Это магнолии», — сказал себе Тернов.

«Это магнолии», — сказал загорелый садовник с жилистой шеей. — В наше время никто не интересуется природой. Мы ленивы и нелюбопытны. Курортники сплошные. Лежим на травке, греемся на солнце».

«В самом деле, а о солнце что я знаю? — подумал Тернов. — Есть солнце, и на нем пятна. Пятнышко на вороте рубашки. На сцене-то незаметно, а в гостях неудобно. И к чему мне эти гости! Надоело хождение».

Женщина с пышными формами сказала: «Я по званию характерная». «Харáктерная или характёрная? Ударение меняет смысл. А иногда произношение: осёл — осел. Прочтешь и спутаешься. На сцене кто бы ляпнул: «Я устал, я осёл». Бывало и не такое. Великая Ермолова воскликнула: «Кто стрелял? Мой мух?» Мух — это кто? Самец мухи? Мух летит во весь дух».

Вот так вязались мысли в записанной памяти, пере-скакивая в самом неожиданном направлении. И уж не знаю, куда бы улетел пресловутый мух, но куратор мой напомнил:

— У вас была молодая жена Сильва.

И Сильва возникла перед моими закрытыми глазами, как живая возникла. У Тернова оказалась точная зрительная память, даже родинку на верхней губе он вспомнил, я-то забыл про эту родинку. Тернов мысленно нарисовал лицо, но не на родинке — на тонких бровях задержал внимание, а там пошла опять круговерть: брови — парикмахерская — дорога у входа — моторолики — катятся под горку — с большой горы и на крутой вираж — вираж над пропастью — за скалы зацепились облака — «ночевала тучка золотая на груди утеса-великана» — рано погиб Лермонтов, сколько успел написать бы до старости! — А я успел достаточно? — Бессмертие вечная мечта — а у нашего гримера мечта о парусной яхте — гладкое море — на море не поеду — льды хочу будущим летом — и т. д.

— Молодая жена Сильва, как вы познакомились с ней? — напоминает куратор.

И память артиста послушно возвращается в прошлое, чтобы через мгновение сбиться и унести невзвесть куда.

К концу сеанса голова у меня распухла, под теменем ломило, глаза саднило, как будто я тер их беспрерывно. В детстве бывало так, когда решишь в свободный день развернуться и прокрутишь подряд весь сериал «Тайны звезды Хурр» — тридцать шесть двадцатиминутных кас-сет.

Так и тут: тридцать шесть или триста шестьдесят ассоциативных цепочек мечущейся мысли. Запомнить все было невозможно, записывать бессмысленно — слишком много шелухи, для меня не имеющей значения. Приходилось сортировать задним числом, из обрезков склеивать связную картину. Впрочем, и в литературе, да и в жизни мы занимаемся тем же самым: просеиваем и отсеиваем, не всегда правильно. Так и я отсеял и склеил главное для себя, не ручаюсь, что главное для самого Тернова.

— Молодая жена Сильва, как вы познакомились с ней?

Знакомство Тернов помнил точно. Смуглое личико на экране, тон, преисполненный достоинства, и удивительные глаза: томные, ласковые, ласкающие, гордые и восхищенные...

И я вспомнился. Возник рядом с Сильвой тощий уз-

копелчий юноша, совершеннейший мальчишка с бледным пятном вместо лица. Черты забылись, уши торчали только, совершенно карикатурные уши, хотя никогда не был я лопоухим. А жест остался: за плечи держал себя, как будто замерз.

И всплыло в памяти Тернова, отдалось в моей голове: «Страдает мальчишка, ничего не поделаешь. Не подошла его очередь на счастье, не созрел для ответной любви. Пока его участь ходить под окном, сочинять стихи о жестоко-сердной, вздыхать и зубами скрежетать. В прошлом веке ему посоветовали бы напиться, даже перепиться, чтобы одурел, чтобы тошнило, выворачивало, желудочные страдания заглушили бы сердечные. В наше время не принято пить, но я попробовал, для сцены понадобилось. Когда это было? Барона играл в «На дне». Мерзопакостное ощущение».

Действительно мерзкое. Я тоже вынужден был испытать: мне же передавались все ощущения Тернова — мутная головная боль, крутеж в желудке, спазмы в пищеводе. Я чуть не подавился. Вымолвил кое-как:

— Тот юноша, которого пожалели...

— Пожалел. Явно о самоубийстве помышлял, бедняга. Надо было отослать к нему Сильву, тогда еще легко отослал бы... да ведь не пошла бы. Уперлась бы, как моя Лиз. Женщина выбирает... и упряма в своем выборе.

Тут воспоминания перескочили на первую жену. Лиз, не зрелая, какую я видел, с острыми скулами и худыми щеками, а молоденькая, пухленькая, лежала на кровати. Белая простыня, белая подушка, белые стены, кровать тоже белая. Больница была, видимо, судя по назойливой белизне. И услышал я рыдающий голос женщины:

— Ну что тебе в этих ночных бабочках! Они же не тебя любят — ампула: ты для них герой-любовник, сказочный принц в балетных туфлях.

— Лиз, это профессиональная вредность. Не могу я быть невежливым со зрителями. Для них же работаю на сцене.

Снова рыдающий голос женщины:

— Для них на сцене, для них за кулисами... И поздно вечером, и до глубокой ночи. И до утра...

— Лиз, ты преувеличиваешь, ты настраиваешь себя на обиду, нагнетаешь ревность. Ничего же не было серьезного.

Голос утешающий, а в мыслях раздражение: «Что она хочет, собственно говоря? Чтобы я сидел, прищипленный

к ее юбке? Ни с кем не встречайся, не разговаривай, не оглядывайся! Может быть, и на сцене не целоваться? Нет уж, если я актер, не миновать мне обижать женщин: либо одну, либо всех остальных. И что же справедливее?»

Снова Лиз; теперь на экране, но с безнадежно-унылым видом.

— Как ты чувствуешь себя? Я видела тебя в «Отелло». Ты выглядел усталым. В твоём возрасте уже трудно играть с надлежащей страстью.

А в голове раздраженное: «Так ей хочется, так хочется жалеть меня, хочется, чтобы я приполз бы к ней на костылях, лежал бы на кровати несчастенький, рот разевал для ложечки с микстурой. Экая санитарно-медицинская любовь! Эх, все они, каждая по-своему!..»

Мгновенная смена декорации. Сильва, моя Сильва, е го Сильва стоит посреди комнаты, заложив руки за спину, вскинув голову, глаза мечут молнии.

— И такому человеку я отдала свою молодость! — кричит она. — Пустышка ты, пустышка!

— Сильфидочка, я не понимаю, в чем дело. Я люблю тебя, никого никогда не любил так...

Опять слова утешающие, тон просящий, а в голове раздраженное: «Вечные капризы, вся во власти настроений. Точно ветер в предгорье: с моря — к морю, с моря — к морю, ливень — солнце, знай себе крутит. А в чем дело, собственно говоря? Не могу же я двадцать четыре часа в сутки изображать влюбленного юношу, возраст не тот. И почему вскинулась? Был нейтральный разговор: сумею ли я сыграть старого ученого в «Совести XX века»? Да, трудная для меня роль. Но ведь сумел же. А сомневались, не верили...»

Сдернута картинка. Сильву сменил полный мужчина, горбоносый, густобровый, с синеватыми от бритья щеками.

— Я тебя понимаю, — уверяя в сочувствии, он прикладывает руки к сердцу, — я тебя очень понимаю, Валерий. Ты нам и сам себе доказываешь, что нет для тебя ничего невозможного. И ты сыграешь, сможешь. Но старый ученый — не твоя роль. Ты будешь себя приглушать, обеднять свой талант. Подожди, когда сам будешь стариком.

— А я артист, — твердит Тернов.

— Ну, я умываю руки. Ну, поговори с автором. Откажешься сам.

Следующий кадр памяти. Вместо горбоносого, грузного — суетливый коротышка. Разговаривая, он все время привстает на цыпочки и держит артиста за воротник, как бы пригибает собеседника к своему уровню.

— Главный герой «Совести» — сложнейшая фигура, — объясняет он наставительно. — Его следует ощутить все-сторонне. Альберт Эйнштейн был скромнейшим человеком, добрым и застенчивым, но он стал великим ученым. Он создал теорию относительности, направил всю космогонию на новый путь, именно он открыл энергию любого вещества, вывел знаменитую формулу $E=mc^2$. И его открытия подтвердились при жизни, он стал олицетворением всепобеждающего разума. Скромнейший стал знаменитейшим, всемирным авторитетом, с ним считались правители. Один хотел его уничтожить, другой по его совету запустил производство атомной бомбы. Все это вы должны показать: показать великого и скромного, разумного и доброго, мягкого и авторитетного, ответственного за свои советы и ощущающего ответственность — совесть XX века.

«Доброго я могу показать, — думает про себя Тернов, — скромного покажу, покажу авторитет и совесть. Труднее изобразить великого ученого. Был бы эмоциональный, всплескивал бы руками, по лбу хлопал, пританцовывал бы, сделав открытие... накопилось всякой такой театральной пошлости. Какие же жесты у скромного открывателя? Довольно улыбаться будет, усы поглаживать, волосы ерошить, что ли? Не сценично. Надо будет поездить по институтам, послушать, как ученые спорят между собой. Это я сделаю. Вот последняя сцена меня смущает. В ней загвоздка»...

Последнюю сцену «Совести» я помнил и без Тернова. В ней изображалась встреча Эйнштейна с Мбембой, которая, конечно, произойти не могла. Мбемба родился ровно через сто лет после смерти создателя теории относительности, но на сцене разрешается всякое. Автору очень хотелось свести Эйнштейна с современными физиками, он и свел его... на подмостках и поручил автору «Объяснимой физики» (все мы ее проходили в девятом классе) объяснить великому предшественнику, что у него бывали ошибки не только в жизни, но и в науке. Безумно-непонятную «новейшую физику» XX века, непонятностью которой так гордились ее создатели, в XXI веке научились трактовать иначе — очень просто, разумно и понятно. И давно перестали искать единую теорию поля, мечту Эйнштейна, этаким философским камнем, математическую панацею для

всех законов физики. Перестали искать потому, что природа бесконечно разнообразна и не сводится к одному уравнению.

Для великого же старика единая теория поля (если верить автору пьесы) имела не только физический смысл. Сведя всю материю в единое уравнение, он надеялся построить в конце концов математический каркас всех законов природы и естественных законов человечества, человеков, столько раз огорчавших доброго мыслителя. Отказаться от надежды всей жизни трудно, и вот он вступает в спор с Мбембой. Спорит же по-своему, привычно выписывая убедительные уравнения и приговаривая:

— Вы же видите, здесь корень из минус единицы. Мнимое время, мнимая величина.

Именно этот диалог не удался Тернову. Что такое «мнимое время»? Почему «мнимое»? При чем тут время вообще? И что такое время в формулах? И какой в нем смысл?

Не понимал, не понял, но подслушал интонацию. Уловил скороговорку специалистов. Научился подражать ей. И с торжеством говорил Сильве о своей удаче:

— Понимаешь, на сцене я ученый, а не учитель, я не школьный урок веду, не растолковываю зрителям формулу. Я разговариваю со знатоком, для которого все эти корни и мнимые величины привычнее, чем тебе таблица умножения. Я изображаю разговор двух понимающих людей. Это как в нашем деле: есть литературный сценарий для чтения и есть режиссерский для съемки. Режиссер дает указания: средний план, крупный план, наплыв... и вовсе не надо объяснять зрителю, что такое наплыв, не для того он включает видео. Я не веду урок физики, я изображаю беседу понимающих людей: они убеждены в правоте, они сомневаются, они ищут доводы, они растеряны, они возмущены... Показываю чувства ученого, а не его эрудицию.

И Тернов очень гордился своей находкой. Объяснить не способен, а изобразить объясняющего может. Этаким мастерский выверт!

Он-то рассказывал с гордостью, а Сильва слушала без внимания. Даже перебила:

— Ну и когда же мы полетим на гавайские вулканы? Опять провороним извержение?

Я улыбнулся, вспомнив (я, а не Тернов), что была у Сильвы мечта пролететь над кратером. Она любила сильные ощущения: так приятно хорошенько испугаться и спастись.

Тернов выразил недовольство:

— Удивительный взгляд у тебя, Сильфида, косой какой-то взгляд. Я — артист, рассказываю тебе о работе артиста, а тебе скучно. Зачем же замуж шла за артиста?

— А ты не артист! — закричала Сильва. — Ты имитатор, мастер заученных жестов! Жесты, слова выучил, а в душе нет ничегошеньки. Пустышка, скорлупа от выеденного яйца, гулкая пустота!

— Сильфидочка, что с тобой?

А в голове: «Капризы! Капризы! Да что с ней спорить! Обниму, и успокоится».

— Отойди, отойди! Руки убери!

— Сильфидочка, я люблю тебя, никого не любил так, больше жизни люблю, прикажи сейчас, брошусь в воду!..

— Слова, слова! Слова Ромео, слова Тристана, слова Меджнуна, слова, заученные наизусть. А сам пустышка, пустышка!

Тернов в смятении. Он сбит с толку, он подыскивает слова, цитаты мелькают в голове. Опять о любви... но о любви все сказано. Обнять? Вырывается. Стать на колени? Театральная поза. Броситься на диван, закрыть лицо руками? Тоже поза.

Потом он стоит у окна, прижав лоб к холодному стеклу. За окном скудно освещенный сад. Виден силуэт Сильвы, она волочит чемодан, слишком тяжелый для крыльев; с трудом переваливая, пристраивает на багажник одноместного мота, входит в кабину, зажигает свет, и светлый полуoval удаляется прочь от дома, съеживается, превращается в фонарик, в светляка, в звездочку... Погас! Тьма!

Тернов всматривается в тьму, напрягает, таращит глаза. Возникают и гаснут кажущиеся искорки. Нет, обман зрения. Не передумала. Не возвращается. Не вернется!

* * *

Не один день просидел я в шлеме с колючими иголочками, разбираясь в воспоминаниях Тернова. Память его прыгала из прошлого в настоящее и обратно, со сцены в книгу, на городскую улицу, на пляж, за облака, в людное сборище, в пустынное болото, в школьный класс.

Почему с репетиции в болото? Жарко было, прохлады захотелось. Почему из болота в школу? Вспомнился ри-

сунок хвоща в учебнике. Ассоциации по месту, времени, по фасонам, по мелодиям, по цвету переплета, по сходству, по полному несходству. А мне приходилось быть настороже и все время напоминать: «Стоп! Не туда поехал! Назад! Про Сильву давай! О Сильве вспоминай! Теперь про театр. Какие там были трудности с «Совестью»?»

И постепенно вырисовывался для меня стиль жизни Тернова... и постепенно окрепло решение: «Я ему не завижусь. Не хочу быть таким!»

Так и сказал я Эгвару на очередном сеансе:

— Таким я быть не хочу. Не нужен мне талант артиста.

— Почему? — спросил мой омолодитель.

Я не сразу сумел ответить. Решение сложилось раньше, чем доводы. Пришлось заняться самоанализом.

— Пожалуй, история с ролью Эйнштейна смутила меня больше всего. Я человек очень жадный. Возможно, другие не замечают, потому что внешне это не проявляется. Я не на вещи жаден; да кто же в наше время польстится на вещи, когда любую доставят со склада через час? Я жадно любопытен, мне хочется все испытать, все пережить. В школе так до окончания и не сумел выбрать специальность. Хотел стать садоводом, конструктором, шахтером, космонавтом, полярником, хирургом, климат программировать, дороги прокладывать. Как прочту книгу о хирурге, климатологе, дорожнике, хочу прожить жизнь героя. Конечно, Тернову я позавидовал потому, что Сильва его полюбила, но ведь не одной любовью дышит человек. Мне казалось, артист на сцене проживает сотню жизней: он и садовод, и конструктор, и шахтер, и космонавт, и великий физик. И вот выясняется: нет, он не великий физик. Он как бы физик, он внешне физик, он одежда физика, жесты физика, может быть, даже и переживания, но не мысли... Не дано ему счастье открытия, торжество разоблачения загадок природы. Не дано радоваться — дано изображать радость. И даже любить, как Отелло, ему не дано. Дано изобразить безумную любовь на сцене, заколоться картонным мечом и тут же ожить в ожидании аплодисментов. Или же изображать безумную любовь за сценой, сетуя на профессиональную вредность. Но это все костюмерная, это маска, грим, скорлупа... и близкие понимают это. Лиз поняла, и Сильвия быстро поняла при всей своей юной неопытности. Нет, не возражайте мне, Эгвар, я не отрицаю сцену. Театр нужен, театр необходим людям... но сам я хочу быть подлинным. С наслаждением стал бы ученым, это интересно, но не вижу никакой радости в том, чтобы

хлопать себя по пустому лбу, как будто там возникла стоящая идея, или бить в грудь, словно там кипят страсти. Не рвусь. Не прошу у вас талант мимики.

— Но это относится ко всякому искусству: к литературе, к художеству... к портным-модельерам, которые творят одежду не для себя, даже к вам — архитекторам, строящим дома, где вы не живете. Все мы работаем для других, в жизни и на сцене, — напомнил Эгвар.

— Согласен, согласен, не осуждаю театр. Но меня туда не тянет. Хочу быть подлинным, хочу, чтобы меня любили подлинного, а не загримированного. И чтобы не проклинали домашние, когда я сотру грим.

Эгвар задумался. (Очень нравится мне его манера не отвечать сразу заготовленными штампами. Чувствуешь, что собеседник уважает тебя, сам себя уважает: значит, не банальности говорил.)

— Собственно говоря, вы и не хотели стать артистом, — сказал он. — Вы пришли ко мне с иной мечтой: «Хочу, чтобы женщина смотрела на меня восхищенными глазами».

Теперь и я задумался:

— Да, мечтал. Но я не знал тогда, что в том восхищении самообман. Сильвия жаждала любви необыкновенной, искала ее у артиста, играющего любовников на сцене. А он и в жизни играл — очевидно, не способен был к необыкновенности. Но вот теперь я спрошу у вас, у психолога: что такое н е о б ы к н о в е н н а я любовь? Очевидно, не заурядная, не обыкновенная, может быть, даже не нормальная, болезненная, неразумная, безумная, все в жизни затмевающая, все заменяющая. Выходит, что, любя н е о б ы к н о в е н н о, я должен всю жизнь посвятить служению женщине. А вы уверены, что женщине понравится такое служение, что она будет уважать такого мужчину-слугу, восхищенными глазами будет смотреть на обезумевшего от любви? Я уже не говорю о том, что мне вовсе не захочется заполнить всю жизнь любовью.

— Женщин восхищает не только необыкновенная любовь, — возразил Эгвар. — Женщины восхищаются и подлинными героями. Вас никогда не тянуло к героическому?

— Было такое, — признался я. — Но это уже на следующем этапе жизни.

Все эти страдания с Сильвой обрушились на меня в самое неудобное время: накануне прощания со школой, перед окончательным выбором жизненного пути.

За аттестат я не волновался. При выпуске из школы случайностей не бывает. Учителя меня знали не первый год, мнение обо мне сложилось: надежный середняк, твердый четверочник. И какую глупость я ни сморозил бы на экзамене, я не поколебал бы свою многолетнюю репутацию. Добросовестный старательный середняк, звезд с неба хватать не будет, положиться можно в любом деле.

Вот и предстояло мне выбрать любое дело.

Кончали-то мы все мотористами. И работал я мотористом, но не было у меня тяги в большую технику, не было любви к бессловесным трудягам-машинам.

Мама хотела, чтобы я стал учителем; мама твердо была убеждена, что нет на свете дела важнее, благороднее и почетнее, чем воспитание будущих людей. Я и сам серьезно подумывал о школе; с детишками я возился охотно, умел утешать малолеток, дарить любил и люблю, обожаю загоревшиеся глазенки. Но это все развлечения на отдыхе, не на уроке. А педагогу надо ежедневно вдальблывать всякое по программе: и скучное, и нудное. Но скучное скучно мне самому. И мне неприятно заставлять людей делать неприятное. Вообще предпочитаю делать, а не уговаривать, терпеть не могу командовать, со стороны смотреть, как люди стараются. Даже и на рыбалке друзья отмечают: «Юш, почему ты за все берешься сам, не твоя очередь разжигать костер?» Да, очередь не моя, но я стесняюсь напоминать кому-то, уговаривать, надоедать, от интересной беседы отрывать. Лучше я сам, мне нетрудно.

Педагог не может же сам решать задачи, ему нужно научить и приучить.

Подумывал я и об архитектуре, об истории архитектуры, точнее, увлеченный всякими закомарами и аркбутанами, кессонами и гуськами — каблучками. И снова сомневался: с одной стороны, увлекательно, с другой — не привлекательно. Ну, буду я облетать памятники, описывать, открою даже что-то до меня не замеченное. Но где тут мое, где «я сам»? Экскурсовод при чужом мастерстве — вторичная какая-то работа. Пусть не обижаются на меня искусствоведы, я не против, не против, не против искусствоведения, без искусствоведения я и сам не понимал бы искусства. Но мне лично хочется вручать человечеству,

человекам всяким собственноручные подарки: это я сам сделал, сам, сам!

То не идеал, и это не идеал, перебираю все. Однажды спросил я себя: «А что мне хочется, собственно говоря? Есть ли занятие, которым занимаюсь с наслаждением?» Ответил: «Крылья! Больше всего люблю летать за облаками». Если бы была такая профессия — крылатый почтальон, с удовольствием выбрал бы ее: летал бы в горах где-нибудь, развозил и вручал бы подарки. Но нет же такой профессии, пневмопочта повсюду. И даже крылатые спасатели — альпийская «скорая помощь» — работают на струелетах. Пойду я на струелет? Но там же главное не транспорт, а медицина, там надо иметь дело со сломанными костями, кровью, гноем, мочой. А я жалостлив, но брезглив. И крови не переносу совсем, могу и в обморок упасть при виде крови. Вот если бы словом можно было лечить: «У вас, больной, неполадки в печени. Сосредоточимся! Печень, печень, будь здорова, печенка!»

Так что колебался я. Прочту интересную книгу — хочу быть похожим на героя. Слетаю на экскурсию в сады, на завод, на электростанцию, к морю, в горы — хочу стать садоводом, инженером, энергетиком, капитаном, проходчиком...

Колебался, то с одним товарищем сговаривался, то с другим, а выбрал под влиянием отца.

Как раз он вернулся в ту пору на Землю. С Титана или с Тритона, не помню уж точно откуда. Еще не старым вернулся, но окончательно. Ведь у них на Титане или Тритоне рабочий день ненормированный, сколько надо, столько и дежурят. Не посылать же в космос шесть смен, чтобы каждая, отработав свои четыре часа обязательных, прочие отсиживала перед экраном, старые фильмы пересматривая. Сами космонавты предпочитают трудиться плотно, без выходных, получить отпуск года на три. В общем, отец накопил лет десять отпускных — до пенсии полностью.

Он появился у нас в доме неожиданно и как-то сразу помирился с матерью. Видимо, любила она его, всю жизнь одного любила, больше всего осуждала за то, что на Земле не сидел, покидал ее на годы. Но теперь, устав от долгих странствий, он охотно занимался домашними делами, что-то переставлял, налаживал, перестраивал дома, в нашем палисадничке и в материнском детском саду. Руки у него были золотые, все-то он умел сделать сам (я не в него пошел). И зачастили к нам в дом люди в серебряной форме

космопроходцев или же с серебряными кантами отставников, и не с тройкой в петлице, как у меня, а с многими десятками и даже сотнями на кармашке. Обычно они собирались к ужину и засиживались до полуночи. Не так уж много съедали и выпивали, больше вспоминали и похихатывали:

— Хэм, не хочешь ли салат с луком? Свеженький, зелененький!

— Ха-ха-ха!

— Сюэ, у меня что-то трубка засорилась. Продуй, будь другом!

— Ха-ха-ха!

— Друг-хозяин, а ты очки завел? Это хорошо, предусмотрительно. А то призрак глаза выколет.

— Ха-ха-ха!

— Да ты помолчи, помолчи, жених Черная Оспа.

— А помните Энда Гана, как он поехал на Луну верхом на ракете?

— Да уж, было дело. Я сам обомлел, варежка нараспашку.

Они пересмеивались, а я все впитывал, сидя в углу. Постороннему, конечно, трудно было следить за их беседой, переполненной намеками на стародавние приключения. Но, запомнив реплики наизусть, я на следующий день требовал у отца пояснения.

Оказалось, что Хэм на всю жизнь наелся луку на Ганимеде. При посадке была серьезная авария — облучился весь продуктовый склад. Пришлось питаться остатками от предыдущей смены, а остались у них сахар, кофе и лук. И три месяца до следующего корабля Хэм жевал кофе, заедая его луком репчатым или же — для свежести и разнообразия — зелеными перьями. На всю жизнь наелся лука.

А Сюэ в своем рейсе чуть не задохнулся из-за недостатка кислорода. У него была система жизнеобеспечения с регенерацией: хлорелла должна была вырабатывать кислород. И хлорелла была, но процент кислорода все снижался, а Сюэ, будучи биологом, все искал, чем же болеет хлорелла, чего ей не хватает. Менял подкормку, менял температуру, добавлял витамины, снимал витамины. Для дыхания был установлен рацион; вся команда лежала в лежку, чтобы дышать экономнее. Финишировали на грани гибели, чуть не задохнулись. На Земле уже выяснилось, что трубы обросли изнутри какой-то слизью инопланетной, она-то и поглощала кислород.

С призраками, выкалывающими глаза, свел знакомство мой собственный отец в самом первом рейсе, когда он был еще новичком и не знал, что, ложась спать в невесомости, надо руки заткнуть за пояс, чтобы не болтались во сне. Проснулся... и обомлел: кто-то в глаза ему пальцы тычет, выколоть норовит. Всполошился, кричит: «Кто в кабине? Кто залез? Осторожно! Мои глаза!»

А это были его собственные пальцы.

Черной оспой, точнее, черной сыпью наградила одного из гостей комета 2051 года. На ней была все-таки жизнь, жизнь с паузами, замирающая на годы и годы и оживающая, как только к ней прикасалась теплая вода. Космонавт не знал, что на минеральных образцах остались споры. И вот на Земле уже, поджидая невесту и волнуясь перед объяснением, он перебирал осколки кометных камней, может быть, даже и похвалиться хотел. Услышал дверной колокольчик, заторопился, смахнул пыль, ополоснул руки, лицо... И вышел встречать невесту с черными пятнышками на физиономии.

История же Энда Гана, вылетающего верхом на ракете, была просто страшной.

Ракета готовилась к взлету, и что-то не ладилось с радио. Ган решил вылезти наружу, чтобы поправить антенну. А когда он вылез, автоматы по ошибке включили зажигание. Ракета вздрогнула; Ган глянул вниз, увидел клубы дыма, озаренные пламенем изнутри. Подумал, естественно, что ракета стартовала. «Все! Конец! Смерть!» Инстинктивно вцепился в скобы мертвой хваткой; тут уж не рассуждаешь, цепляешься, хотя надеяться не на что — через минуту ракета была бы в стратосфере. Даже если бы и не сорвало, все равно задохнулся бы. К счастью, двигатель отключился, пламя погасло через некоторое время. Гана же оторвали от скоб насильно. Он ничего не соображал, окаменел, держался мертвой хваткой.

— Да уж, было дело. Я сам обомлел, варежка нараспашку.

— Но между прочим, через две недели Ган улетел-таки на Луну.

Я понимал, что Гану, тому солоно пришлось от этой верховой езды на ракете, но я, слушатель, всей душой мечтал быть на его месте.

И, получив диплом, записался в космическую отрасль, даже отпуск не стал использовать. Уже через неделю вылетел на космодром. Выбрал дальний тихоокеанский Паго-Паго на островах Самоа.

Некоторую роль в спешке сыграла и Сильва. Очень хотелось мне помочь самому себе выдержать характер, сделать невозможными унижительные бдения под ее окнами, даже и радиовыводы затруднить. Ведь Самоа на другой стороне планеты, там день, когда у Сильвы ночь. Схватишься за браслет — вспомнишь, что время неподходящее. Отложишь на полдня и одумаешься. Отчетливо помню, что я это учитывал сознательно.

Моторист — универсальная профессия, для моториста дело нашлось и в Паго-Паго. Посадили меня за пульт малого портового крана, научили присасываться и отсасываться, кантовать, переставлять и укладывать ящики малогабаритные, крупногабаритные и средние. Вот я и кантовал их двадцать четыре часа в неделю, кантовал, поглядывая из-под навеса на плакатно-синий, ненатурально-синий тропический океан, весь в слепящих бликах от жестокого солнца. Четыре дня кантую, три выходных — полная свобода.

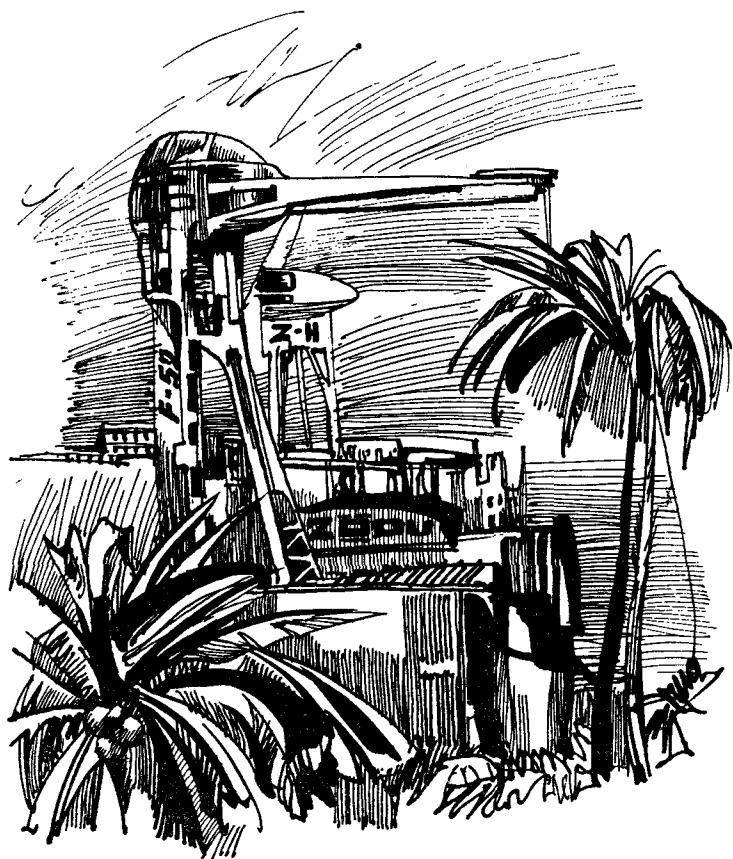
Даже растерялся немного. Свобода эта больше всего смущает после твердых рамок школьного расписания. В школе у тебя уроки, лекции, лаборатория, практика, домашние задания, общественная работа, шефство над младшими, обязательно спортивный час, библиотека. Все за тебя продумано, предусмотрено, старшие напоминают то и дело: «Не теряй времени, не успеешь, еще то, и то, и то за тобой». И вот внезапно, без всякого перехода, — ливень свободных часов. Делай что хочешь; а если хочешь — ничего не делай, плавай, валяйся на пляже, летай над стеклянной лагуной, высматривай рыб в прозрачной воде, ныряй между коралловыми рифами, раздвигая заросли водорослей, в пальмовых рощах прогуливайся, пробуй все подряд круглогодичные тропические фрукты, в тени банана полеживай или танцуй до упаду со смуглыми девушками. Танцуй на белом коралловом песке, на зеленых лужайках, на гулких верандах. Танцуй. Претензий нет. Свое отработал.

Райская жизнь в райском уголке.

Очаровал меня Паго-Паго. Но и разочаровал.

Ведь я-то шел в космическую отрасль в наивной надежде стать космонавтом, серебряным, как мой отец. Но тут, в Паго-Паго, я узнал, что и вообще-то едва ли один из ста жителей космограда работал в космосе, а серебряного-то и не каждый день встретишь на улице.

Задним числом знаю: таков дух всех вокзалов — сухопутных, морских, воздушных и космических. Есть там



проезжающие и есть провожающие, и чем дальше, чем труднее дорога, тем больше процент провожающих. Как у нас говорили: «Один у штурвала, подсобники навалом». Почти все молодые приезжали в Паго-Паго с мечтой о планетах. В самом деле, кто же с юных лет собирается остаться мотористом? Но космос принимал один процент, и то не в серебряные — в голубые, в монтажники космических городков. Остальные оставались на Земле, смирялись, женились, работали на складах, на ремонте, на учете, на обслуживании. Я работал с ними в порту, я жил рядом, в гости ходил без особого энтузиазма. Наш школьный класс был разнообразнее, даже содержательнее, пожалуй. Возможно, таково свойство старших классов вообще. Ре-

бята разные, разные интересы. Этот рисует, рассуждает о композиции и колорите; тот хочет быть организатором, изучает психологию лидеров и ведомых; эта намерена стать педиатром, с восторгом подхватила новинки о генетических болезнях. Да и предметы разные: то анализ, то биохимия, то теория искусства. А в Паго-Паго все вокруг портовые работники и разговоры у них портовые или же семейные — про жен и детишек; а где детишки, там и заботы. И у всех примерно одинаковые.

Возможно, и я со временем стал бы таким же: натацевавшись, женился бы на какой-нибудь смуглой, погрузился бы в заботы, семейные и портовые, если бы не новый друг мой Виченцо, Малыш Ченчи.

За малый рост величали его Малышом. Не карликом был, но маловат для двадцатилетнего. Ноги у него были короткие, но тело стройное и пропорциональное, а лицо впечатляющее, на редкость выразительное: напряженные горящие глаза, лоб высокий и высоченная шапка черных кудрей. Подозреваю, что Ченчи нарочно не стригся, чтобы казаться повыше.

По натуре Ченчи был неуступчивый спорщик, фанатичный борец за недостижимое. По-моему, космос привлек его прежде всего своей недоступностью. Не мог он примириться с тем, что каждую ночь видишь над головой звезды; вот они торчат над прической, но ни одну не схватишь рукой. В отличие от меня, собравшегося в космос перед самым выпуском, Ченчи мечтал о небе с младших классов. Он наизусть знал учебники астрономии, летописи космических полетов, начиная с Юрия Гагарина, читал все дневники космонавтов, говорил только о внеземном, рассказывал тысячи увлекательных историй об альфах, бетах и гаммах любого созвездия. И, слушая его, я всякий раз радовался, что выбрал такую замечательную отрасль.

Хотя в Солнечной системе, со времен каналов на Марсе и до наших дней, не обнаружили никаких намеков на мало-мальски сложную жизнь, Ченчи был глубоко уверен, что разумные и мудрые цивилизации повсеместно распространены во Вселенной, только ищут их не там и не так. Высокоразвитые братья по разуму не посылают к нам никаких кораблей, никаких тарелок и посланий, им это не нужно. Они умеют воспринимать наши мысли на расстоянии и передавать свои. Почему мы их не слышим? Потому что не прислушиваемся, потому что не натренированы, потому что земная атмосфера насыщена радиоболтовней, заглушающей тонкие послания звездоджителей. В особен-

ности сейчас, когда у каждого на руке браслет, все галдят по пустякам, загромождают эфир заказами и фасонами. Да и Солнце мешает со своим радиоизлучением. Чтобы услышать мудрых, надо удалиться в дальний космос, лучше всего за орбиту Плутона, на какую-нибудь комету из долгопериодических, или же, на худой конец, на астероид, на обратную сторону спутника, экранированную от солнечного и земного радишума, настроиться и сосредоточенно ждать. Сам Ченчи умеет настраиваться, научит и меня.

Ченчи сразу подкупил меня своей целеустремленностью. Ведь я выбрал специальность как мальчишка, как большинство мальчишек. Они хотят быть — быть художниками, быть командирами, быть космонавтами вообще. Но что рисовать, кем и зачем командовать, куда лететь, об этом как-то не думается, не представляется ясно. Ченчи же твердо знал, что он намерен делать в космосе. Такая ясность и к взрослому приходит не сразу. И я, плывущий вслепую, наугад, охотно присоединился к видящему цель.

И сколько же часов провели мы с ним, мечтая, как мы высадимся на Плутон, как будем любоваться звездным небом в безмолвии, как начнем прослушивать звезды, одну за другой (список был составлен), и как услышим однажды... И что же мы спросим, и что ответим от имени земного шара?.. У друга моего был заготовлен вопросник, целая анкета. Называлась «Горизонты и белые пятна». По энциклопедии составлялась. Например:

В космосе астрономия дошла до... Что дальше?

В микромире физика дошла до... Что глубже?

Земля произошла из... Солнце из... Вселенная из... Что было раньше?

Мы посетили планеты, у нас есть планетолеты... Как построить звездолет, галактолет... метавселенолет?

И так далее, по всем отраслям знания, по всем проблемам техники. Две с лишним тысячи вопросов, и список пополнялся непрерывно. Я тоже предлагал дополнения, больше по делам житейским, скажем:

Как сделать, чтобы все люди были счастливы в любви?

Как добиться, чтобы не было споров и столкновений?

Как сделать всех красивыми и умными?..

В таком духе.

Ченчи морщился, мои проблемы казались ему детскими, ненаучными, недостойными вселенской дипломатии, но из дружбы он вносил их в регистр, не в первые номера, в

двухтысячные. Но ведь он же обещал научить меня «настраиваться». Когда научусь сам, спрошу у звездоджителей:

Как сделать, чтобы все были счастливы в любви?

...К сожалению, только я единственный уверовал в его теорию. Никто не хотел организовать экспедицию прослушивания звездных мыслей. Ченчи приходилось пробиваться в космос самостоятельно. Стать серебряным он не рассчитывал при своей щедедушности, слабосилии и склонности к простудам, хотя и боролся героически с собственным телосложением: с детства закалял себя, купался в ледяной воде, ночевал в спальном мешке на снегу, мучил себя многочасовой зарядкой. Силы не прибавил, но стал ловким и проворным, как обезьянка. Правда, выдыхался быстро, но при случае мог напрячься и рвануть. Как и я, прибыв в Паго-Паго, Ченчи был разочарован, узнав, что нет никаких шансов попасть в серебряные. Разочарован, но не обескуражен. Выяснил, что космические курсы здесь все-таки есть, не серебряных готовят, а голубых — космических монтажников, строителей околосемных и околосунных поселков: летающих обсерваторий, лабораторий, заправочных, электростанций...

«Ладно, сначала буду монтажником,— решил Ченчи,— важно выйти в космос, а там пробьюсь и на планеты».

И конечно, я тоже решил стать монтажником.

Даже и в голубые не так легко было попасть — десять желающих на одно место, а отбирали исключительно по здоровью. Ведь монтажнику и не требуются чересчур сложные знания: среднее образование, старательность, добросовестность, как у меня. Нужны сила, выносливость, ловкость, терпение, понятливость, сообразительность, желательно выдающиеся. Нас и отбирали по силе, выносливости, ловкости — одного из десяти.

Отбирали простейшим способом: надо было за год сдать сто борье. Если не сто норм — девяносто, восемьдесят, сколько успел, сколько сумел. Сдавались нормы комнатные, стадионные, сухопутные, горные, водные, воздушные, а под финал и космические. Только от зимних нас избавили — не возить же специально в Антарктиду. Были в списке нормы мускульного спорта — бег, плавание, ныряние; нормы снаряжные — велосипед, ролики, ласты, акваланг, крылья; нормы технические — авто-, гидро-, аэроуправление и так далее (смотри «Наставление по сдаче норм сто борья»). Итак, включился я. Свободное время было заполнено, цель обозначена. Отныне ежедневно, смыв рабочую пыль в при-

брежной воде, отправлялся я на стадион в сектор номер 1, номер 2, номер 3 и так далее по графику.

Конечно, можно было провести все эти испытания и быстрее, не обязательно через все сто норм проходить. Но тут у конкурсной комиссии был свой расчет. В сущности, сдавали мы еще и сто первое испытание: на твердость характера, на стойкую любовь к космосу. Действительно, нестойким не хватало терпения, они отваливались через месяц-другой, застряв на десятой норме.

А мне стоборье пришлось по душе: понравилась зримая наглядность достижений. Сегодня ты сдал седьмую норму, через неделю — восьмую и девятую. Ты на подъеме, идешь вверх со ступеньки на ступеньку, ты продвигаешься и точно знаешь, сколько прошел, сколько осталось. Тогда и позже, всю жизнь меня привлекала работа, поддающаяся измерению, — километры, часы, страницы, в данном же случае — нормы. Восьмая норма — восемь процентов дела, девятая — девять процентов. Зримое продвижение.

Мне даже нравилось преодолевать трудности. Не ценил я легкие нормы: пришел, поднял, даванул — и поставили галочку. Интереснее было чему-то выучиваться, осваивать, набирать умение, оскандалиться раз, другой, третий (сдавать разрешалось сколько угодно, хоть десять раз, хоть сто), но все же победить сантиметры, секунды и самого себя. Дешевый успех не радовал, трудную норму я побеждал с гордостью.

Нравилась мне и присущая нормам независимая самостоятельность. Вот тебе цифра, вот задача, вот тебе рубеж — бери его. Ты и задача лицом к лицу, никто тебе не поможет и никто не помешает. Засучивай рукава... С детства любил я самолично засучивать рукава.

Да и радость тела привлекала. Мускулы поработали, мускулы налиты здоровой усталостью, в голове сознание исполненного долга, сделанной работы. Пускай сознание это ложное: не долг выполнял, упражнялся, готовился к исполнению долга. Но чувство такое: «Я поработал. Я силен. Я могу. Молодец!»

Я даже заколебался. Подумал: «Может, в том мое настоящее призвание: радоваться радостям тела, учить не умеющих радоваться?» После очередного успеха — двадцать четвертой или двадцать седьмой нормы — спросил тренера: не стоит ли и мне поступить на курсы тренеров?

Помню, на пляже был этот разговор. Плавание у меня шло хорошо; плавание похоже на крылатый полет, дви-

жения сходные, а на полетах-то я натренировался, Сильве спасибо. Помню, как тренер смотрел на меня прищурившись, седоватый, шоколадный от загара, грузный несколько; стареющие спортсмены часто полнеют, когда сходят с беговых дорожек, избавляются от перенапряжений на соревнованиях.

— Не советую,— изрек он лаконично.

Я попытался спорить:

— Понимаю, что у меня средние данные. Но я терпеливый и трудолюбивый. Вы же видите, как я стараюсь. И подвигается дело.

— Не советую,— повторил он.— В спорте распалиться надо. Разозлиться. На себя даже.

— На себя я часто сержусь,— уверял я.

— Все равно не выйдет. В спорте толкаться надо иногда. А ты уступчивый. Уступишь.

И отвернулся. Отсек вариант моей спортивной жизни.

Я возвратился к своей лестнице, ведущей в космос.

Ступенька за ступенькой. Первый раздел... второй... третий.

Первый раздел был чисто цифровой, мы боролись за показатели: побеждали сантиметры и километры, вписывались в секунды. В общем, с этим циклом справлялись такие, как я — средние и старательные, тут особых способностей не требовалось. И силы можно было пробовать многократно, приходить и два раза и десять на стандартные дорожки к стандартным зарядам. Впрочем, и здесь отпали самые неуклюжие, ленивые и нетерпеливые. Треть отсеялась. Надежда забрезжила.

— Дойдем! — сказал Ченчи.— Дали клятву, обязаны дойти.

Второй цикл норм принимался на природе — на горных склонах, извилистых дорогах, на волнах, за облаками. На природе день на день не приходится: сегодня дует ветер, завтра его нет. Значит, и цифры не очень определенные, соревнуешься не с нормативом, а друг с другом. Идет десять человек, первая пятерка сдала, прочие непригодны. Но и этот цикл одолел я с грехом пополам. Здесь тоже разрешались повторные попытки. Сегодня тебя отсеяли, пришел завтра, попал в другую десятку, послабее, или же поднатужился, на себя разозлился. И в третий раз приходи, и в четвертый, не прогоняют. К тому же Ченчи изобрел маленькую хитрость, обман, если называть своими именами: там, где он был слабее, а я сильнее, я ему поддавался. Стало быть, не пять человек, а только четырех надо было

ему обойти. Все-таки небольшой шанс, облегчение успеха. Правда, совесть моя тревожилась немножко, но Ченчи меня убедил.

— Когда мы свяжемся с неземными, человечество будет благодарить нас за находчивость,— уверял он.

Жульничество называл находчивостью мой друг. Непреклонный был фанатик.

И второй цикл миновали мы. Еще треть соперников за бортом. Не так уж много нас осталось: примерно три человека на одно место, но зато самые сильные. И впереди всех уверенно шла группа предусмотрительных, тех, что не в последнюю минуту выбрали космос, подобно мне, а нацелились на звезды много лет назад, заранее знали, что им предстоит стоборье, и тренировались в школе. Конечно, они должны были захватить большинство мест, но и для нас, средних, была некоторая надежда, и сводилась она к турниру четверок (двое выбывают, двоих допускают к экзамену), а в четверку могли попасть и не самые сильные, средние, такие, как я. И — надо же! — такая судьба: мы с Ченчи оказались в одной группе — прямые соперники.

Целую ночь мы обсуждали нашу тактику. Двое выбывают, двое остаются. Чтобы остаться, надо набрать очки — больше половины возможных. Но вот беда: мы и друг с другом соревнуемся, друг у друга будем очки отнимать, трудиться на пользу соперников.

— Надо бороться по-честному и в полную силу,— говорил я.

— Но мы будем себя изматывать, противникам помогать,— возражал Ченчи.— Давай лучше условимся, кто кому проигрывает на ковре, в воде, в небе. Силы сбережем по крайней мере.

— Мне противно уславливаться,— твердил я.— Лучше я просто откажусь от борьбы, сниму свою кандидатуру.

— Ерунда! Это ничего не даст,— волновался Ченчи.— Если ты откажешься, включат в четверку кого-то постороннего, может быть самого сильного, непобедимого. Нет, пусть хоть один из нас пройдет. Один устроится в космосе, постарается вытянуть второго.

И поспорили мы, и поругались, и дали торжественное обещание не терять дружбу, сохранить верность идее, жизнь положить, но связаться с звездожителями.

— Чего мы кипятимся, собственно говоря? — сказал Ченчи.— Ради курсов монтажников? Монтаж — предварительная ступень для нас. Все равно на стройке у них радиогвалт, звездного шепота не услышишь.

А я сказал, что и у монтажников бывают тихие часы. После смены можно выйти в свободный полет. Так что лучше, чтобы Ченчи победил, он сразу сможет услышать что-нибудь, а мне еще учиться надо. Ченчи же сказал, что лучше победить мне, он все равно пробьется в космос, а я могу и не выдержать характер. Пускай примут меня в монтажники, я буду поджидать его, а на Плутон мы уже полетим вместе. А я сказал... а он сказал... и к утру мы решили вести борьбу по-честному, но с остервенением, так, чтобы завоевать и первое и второе место.

Как нарочно, организаторы выбрали такие виды спорта, чтобы действительно мы боролись в прямом смысле слова: лицом к лицу. Какие-то соображения у них были о готовности к непредвиденному в космосе, проверке стойкости, находчивости при встрече с каверзами природы. Пять игр предложили нам — на ковре, на земле, на воде, в небе и в космосе... Да, и в космосе. И все лицом к лицу — не в борьбе с граммами, метрами и секундами, лицом к лицу с соперником. Вот он, Ченчи, ты его кладешь на лопатки.

И конечно, я его положил на лопатки. Неравная борьба была, я и тяжелее и сильнее. Чтобы шансы уравнять, надо было бы устроить что-нибудь во вкусе гладиаторов: один — с мечом, другой — с сетью. Возможно, юркий Ченчи запутал бы меня, неторопливого. Я даже предложил тренеру такой вариант, но он сказал, что в космосе нужна и сила. Я подавил и придавил Ченчи, получил очко за силу.

Затем последовало испытание юркости. На волнах мы играли в пятнашки. Обычная детская игра: на подошвах иисуски, в руках краскомет, кто кого забрызгает краской. Вся сложность из-за волн. Пляшешь на волне, с гребня на гребень перепрыгиваешь, равновесие держишь, а тут еще и целиться надо, и от прицела увертываться. Конечно, тут я проиграл моему шустрому другу. Опомниться не успел, как он раскрасил меня с ног до головы. Даже обиделся я: друг все-таки, а так старался опозорить.

После этого был лесной кросс с ориентировкой. Надо было и выбрать дорогу, и прибежать быстрее. Я очень рассчитывал отыгаться потому, что дистанция была порядочная, километров пять по горным склонам и все вверх-вниз, вверх-вниз; я полагал, что Ченчи выдохнется. Но он пришел намного раньше, встретил меня у финиша с насмешливо-торжествующей улыбкой, похвалялся: этакую дорогу нашел! Но не объяснил которую. Вероятно, он пошел на смертельный риск, срезал серпантин, спустился



в пропасть, хватаясь за лианы. Нам запретили это, нас даже предупреждали, чтобы на лианы не надеяться. Можно было опротестовать, но я не стал. Друг же, хотя и соперник.

Еще были крылья. Но в воздухе-то я был хозяином, конечно. Не Ченчи с его коротенькими ручками равняться со мной. И получился у нас счет ровный — 2:2. В самом деле, могли бы и не стараться, могли поделить очки пополам.

Но впереди было еще последнее, все решающее соревнование — космический слалом.

Во многих отношениях решающее. Своего рода экскурсия в будущую жизнь: выезд на спортивную базу космонавтов. Стационарная орбита, высота тридцать пять тысяч километров, всего три дня на акклиматизацию — и сразу же соревнование: три схватки с соперниками по четверке.

Я даже ворчал:

— Что это за срок — три дня на акклиматизацию, соревнование без тренировки?

Тренер сказал:

— Это испытание гибкости человека, умения приспособливаться к новизне. — И еще дал совет на прощание: — Юш, запомни, не надо спешить. В космослаломе нужна точность и плавность. Не спеши! Потренируй себя на точность, время придет.

Я передал эти слова Ченчи. Он что-то хмыкнул невнятное, кажется, в том смысле, что не банальными ходами выигрывают партию.

Слалом был решающим и потому, что положение в нашей четверке сложилось очень острое. Мы вели борьбу с остервенением, но и противники наши — с остервенением. Сейчас я даже имен их не помню, лица вспоминаю с трудом. Помню, что был в нашей четверке американец, плотный и флегматичный, то ли ленивый, то ли равнодушный, то ли он притворялся равнодушным, все твердил, что ему важна не победа, а игра, и еще японец — долговязый длиннорукий акселерат, почти два метра ростом. Вот этот длиннорукий и набрал восемь очков, практически был близок к успеху, у меня же было шесть очков, а у американца и Ченчи — по пяти. Так что каждая встреча играла роль.

Так или иначе, хотя в космонавты я не был пока принят, но в космос попал. Выдали мне полный набор путевых космических приключений. Перегрузка была не слишком большая, пассажирская, но с непривычки лежал я в изумлении с открытым ртом, не мог понять, почему воздух застрял в горле, не выдыхается и не вдыхается. Потом лоб приклеивал к иллюминатору, изумлялся на цветной глобус величиной с половину неба — родную планету. Россия-то была во тьме; Паго-Паго я пытался разглядеть. Да где там! Исчезла соринка в океанской синеве. Далее — Южная Америка: Перу, Кордильеры, Амазонка, сельва — продернули материк за считанные минуты. Потом невесомость была. Не очень понравилось мне, потому что оказалось, что я «кошка» на космическом жаргоне. Термин

возник еще в прошлом веке, когда выяснилось, что в отличие от собак, наземных животных, рассчитывающих на зрение, кошки — великие мастера равновесия, любители ходить по крышам, трубам и веткам — худо переносят невесомость, где отказывает их надежный вестибулярный аппарат. Вот и меня малость подташнивало, но чуточку, а Ченчи основательно — он позеленел, всю дорогу до базы не выходил из туалета... По-моему, и на базе валялся полдня, хотя там уже было подобие тяжести — не полный вес, десятипроцентный, но все-таки отличали мы пол от потолка.

А я не уходил с наружной галереи. Все любовался и не мог налюбоваться родимой планетой, рассматривал многоцветный глобус и в бинокль, и в телескоп, и невооруженным глазом, угадывал очертания материков под густыми завитками циклонов, выискивал световые пятнышки городов. Вот и сейчас стоит перед глазами, когда описываю. Все краски помню, дайте светопульт, изображу.

День дали нам, чтобы перевести дух, а на другой приступили к тренировке; да и тренировкой это не назовешь, ознакомление. Вывели в свободное пространство, вручили реактивный пистолет, повторили раз десять, пока в голове не засело: «Рука вытянута, пали с вытянутой руки, только вытянутая рука обеспечит правильное направление. Вытянутой рукой, вытянутой, не коси, не коси! Рука над головой — тормоз; рука за спину — ускорение, рука направо — поворот налево; рука налево — поворот направо. Ты отталкиваешься, отталкиваешься, отталкиваешься! Как на лыжах, как на лодке, как на крыльях. Рука налево — поворот направо!»

За полдня освоили мы пистолет. Сначала на привязи упражнялись: гоняли нас по кругу, как лошадей на корте. Потом отвязали, проводили на слалом. Тут же его, возле базы, раскинули. Стандартная дорожка: шесть колец и спирали — две коленчатых, две трубы прямых и две трехмерные улитки, — копия первого упражнения крылатой акробатики, только там кольца пошире, в размах крыльев. Покрутился я час-другой и понял всю резонность советов нашего тренера. Действительно, кольца можно и даже нужно было проходить в темпе, можно было разгоняться и в прямой трубе, но для колен и извивов улитки необходима была аккуратность и только аккуратность. Я и отработывал ее, сживался с пистолетом, чтобы стал он продолжением руки, чтобы привык я дулом его, как бы ладонью, отталкиваться от прозрачной черноты.

Получалось.

И потому еще получалось, что раздобыл я один секрет. Постоянный работник базы поделился — разговорились мы с ним на наружной галерее. Тоже суперглобусом любовался, вздыхая о зеленых лужайках. И заметил он, что меня подташнивает, посоветовал подручные средства: глоточек одуряющего, чтобы мозжечок приглушить, и три капли каротина, обостряющего зрение. Еще фонарик дал усиленный, чтобы ярче высвечивались кольца. В общем, весь рецепт: глаза напрягай, глаза, ориентируйся на зрение, не прислушивайся к телу!

Я тут же побежал к Ченчи — всегда мы делились друг с другом, — но он глянул на меня волком и отвернулся, словно мы уже не друзья и даже не соперники, а дуэлянты, захлебывающиеся от ненависти. И спать он ушел в другую комнату, и на тренировках все держался в отдалении. Я — в спирали, он — в улитке; я — в улитку, он — в спираль. Может быть, какой-нибудь секрет тайл, не знаю. Я даже обиделся немного, решил: навязываться не буду. Врозь так врозь. И пусть, как это принято говорить, победит достойнейший!

День и еще день дали нам на освоение. И притерпелся я, даже приохотился к космосу. Пустота не угнетала больше. Собирался поутру как на работу, как на свой мотокран в Паго-Паго. Там халат с нарукавниками, тут скафандр. Там молнию застегиваешь и тут застегиваешь, герметичность проверяешь. Вышел из шлюза и оторвался от фала, словно в воду нырнул. В воду, в воздух, в вакуум — невелика разница. Рука за спину, прямым ходом на снаряды. Заблудиться невозможно: сверкают на черном фоне солнцем вычерченные кольца, спирали, хитроумные улитки.

Почему-то не волновался я на старте. Как будет, так и будет: достойнейший победит. Если Ченчи победит по справедливости, ему космос нужнее. А если не победит, сам виноват: мудрил, дулся, советов не слушал. К тому же не последняя у нас схватка: еще с японцем, еще с американцем.

Правда, перед самым стартом узнали мы, что ситуация обострилась до крайности. Долговязый наш Судзуки (вот вспомнилось: Судзуки его имя) обошел американца, набрал девять очков, обеспечил себе выход в финал. Значит, на троих нам осталось только одно место. Тут нельзя было терять очки ни в коем случае.

Внимание! На старт!

Тело вытянуто, условно лежащее положение, правая рука нацелена на кольцо, левая заведена за спину, палец — на кнопке. Жду в напряжении.

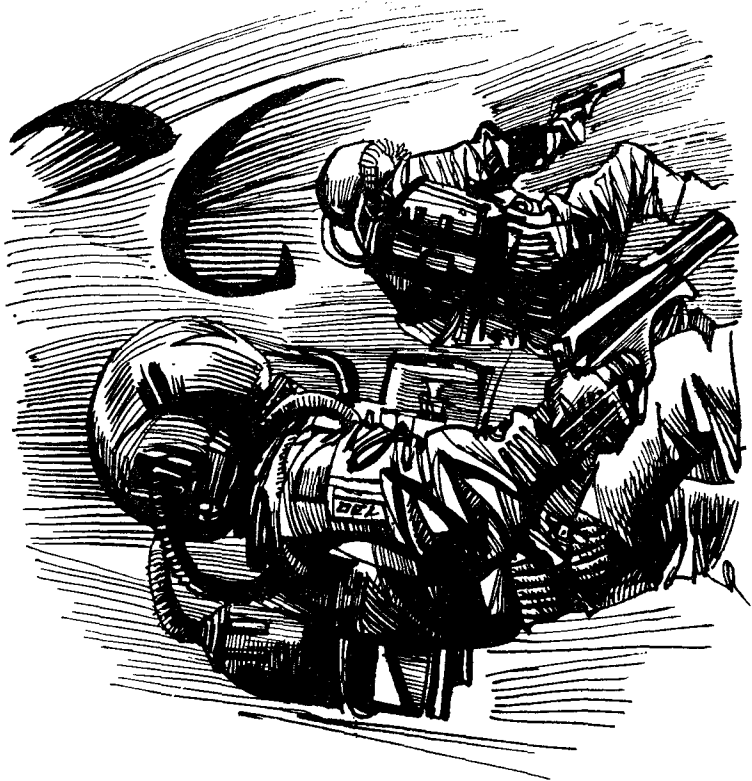
Марш!

Вынеслись! Жму на кнопку, жму, жму, нагнетаю скорость. Первое кольцо приближается, расширяется, надвигается, надевается на меня. Но правее выходит что-то кругловатое. Понимаю: Ченчи впереди. У него свой козырь — он легче, а пистолеты стандартные, малую массу разгоняют лучше. Тут ничего не поделаешь, единственная моя надежда на аккуратность. Заранее надо обдумывать, куда целить, когда тормозить, поворачивать. «Тише едешь — дальше будешь» — закон для спиральной улитки. А для колец другой: гони в хвост и в гриву!

И кольца Ченчи проскочил раньше меня... Но чуточку вкось. Второе плечом задел. Я же сзади шел, хорошо его видел. Задел, и пришлось выравниваться, зигзагами Ченчи пошел, чуть не проскочил мимо третьего кольца. Не так уж много выиграл на прямой.

Тогда я совсем успокоился. Понял, что Ченчи обязательно запутается в улитке.

И кольцо прошел он нечисто, и в трубу прицелился плохо, все время задевал проволоку. Возможно, старался дорогу мне загородить, косо держался и меня заставлял притормаживать. Может быть, именно этот прием подсказали ему на базе, но другу моему мастерства не хватало, он и сам стенки царапал. В первом же колене ударился на повороте, всю скорость растерял. Однако я не сумел его обойти, его поперек развернуло. И во второе колено он нырнул все-таки раньше меня, и в улитку тоже. Но там подряд шли сплошные кривые и сопряжения кривых, в одной плоскости и в другой, перпендикуляры и полные обороты. Тут уж я намеренно заставил себя отстать, «шепотом» шел, готовый к неожиданному развороту. И вот вижу: впереди, даже не впереди, а рядом — вспышки, вспышки, вспышки. Засел мой Ченчи, влетел в проволоку с разгона, застрял, как муха в паутине, и бьется, бьется, в панику вдался, уже запутался, толкает себя наугад — направо, налево, вверх — и все глубже влезает в спираль. А я тихонечко, торжественно выплываю на простор. В каком-нибудь полуметре от него проплываю, почти вплотную, скафандр к скафандру. И вижу его лицо, страшное лицо: все мускулы напряжены, рот раскрыт, губы поджаты, зубы оскалены, словно зубами цепляется за пустоту, а глаза выпучены, зрачки расширены — сплошные зрачки от верх-



него века до нижнего — и отчаяние в зрачках, паническое отчаяние.

И тогда... тогда, вытянув руку наискось, я выпалил куда попало. Выпалил, завертело меня и уткнуло головой в сетку. А я все палил и палил, глубже забивал себя.

Мгновенное решение было. Ничего я не успел взвесить, ничего не обдумал. И не помнил о великой всегалактической задаче Ченчи, и о дружбе не помнил, и о клятвах товарищества не помнил. Не мог смотреть в эти отчаянные глаза. Пусть будет как будет. Я ему мешать не стану.

Все равно проиграл он: и японцу проиграл, и американцу. По той же причине: спешил, суетился, обогнать хотел — и запутывался.

И я проиграл. Как-то остыл. Не старался.

За битого двух небитых дают. Небитый, победивший, гордо шествует вперед. Битый задумывается: на той ли он дороге?

Вот и я задумался: на той ли я дороге?

Работаю в космической отрасли, где девяносто девять обслуживающих на одного летающего. Я и есть обслуга: я — моторист, кантующий ящики. Могу и дальше кантовать ящики, это нужное и полезное дело, потому что верх должен быть наверху, а низ — внизу. Но мне не нравится, как скантовалась моя судьба. Я рвался вверх, а остался внизу, при ящиках.

Я остался потому, что побеждает достойнейший. Нас было десять желающих, я оказался седьмым. Мог бы стать и восьмым, если бы не отчаянные глаза Ченчи. На будущий год буду восьмым или девятым, может быть, и десятым, если повезет, если вложу все силы души в тренировку.

Тренировка мне приятна. Тренировка — это игра мускулов, это радость тела, приятное ощущение проделанной работы. Но... и здесь не обходится без «но». Есть еще радость ума, и она почему-то мне кажется более достойной. Понял, объяснил, додумался, открыл, предложил, изобрел!.. В нашу умственную эпоху радости ума общественно полезны. Радости тела эгоистичны. Какая польза окружающим от того, что я пробежал стометровку за десять секунд с десятиными? Беговая дорожка — всего лишь дорожка, куда-то прибегаешь по ней. И куда же я могу прибежать, если... если... если?.. В монтажники, в голубые, в строители околосемных космодромов, обсерваторий, заводов, энергостанций? Серебряный скафандр мне даже и не светит. Это нужно еще и еще тужиться годы, чтобы из достойных выбиваться в достойнейшие. Но я и не выбьюсь. Потому что я «кошка», потому что меня подташнивает в невесомости. Подташнивает!

В сущности, я и монтажник был бы никудышный. В лучшем случае — моторист по искусственной гравитации на базе. Опять обслуга! Тянет и тянет меня на береговую работу. Увы, непригоден я к тому даже, чтобы сваривать балки в космосе.

А если непригоден для космоса, могу сваривать те же балки на Земле. И необязательно в космограде, где это занятие второстепенное, обслуживающее. Есть на Земле места, где строительство — основа.

Так я рассуждал. Основную работу хотел делать, не подсобную.

И расстался я с Паго-Паго. Ушел на земное строительство.

Ченчи же держался за свою мечту. Подавал и в голубые, и в серебряные через год, и через год, и снова. И все проваливался: браковали его по состоянию здоровья. Тогда, обнародовавши свою секретную теорию, стал он добиваться командировки в космос для связи со звездожителями. Добился, к моему удивлению. В наше время уважают фанатиков науки, предоставляют им возможность чудить за счет общества. Ченчи прожил два месяца на спутнике. Слег. Не выдержал двухмесячной тошноты. Отлежался на твердой Земле, сделал себе операцию — приглушил вестибулярный аппарат. Добился отправки на Плутон. Что-то услышал, то ли услышал, то ли вообразил — проверить было невозможно: кроме него, не слышал никто. Специальная комиссия вычитывала и сличала его протоколы, пока не обнаружила противоречия. По-видимому, Ченчи что-то чудилось, но он забывал, что именно почудилось в прошлые разы. Получилось, что звездожители сами себя опровергают. Все это я узнал уже от третьих лиц. Наша дружба с Ченчи распалась, как только искренность исчезла из нее. И сам он меня обманывал и почему-то не поверил, что я нарочно поддался ему в улитке. Даже обиделся. Ему не хотелось быть обязанным мне, а я не был достаточно тактичен, жаждал услышать благодарность за свое «великое» благородство... бесполезную благодарность за бесполезное благородство. И Ченчи начал избегать меня, а потом я уехал из Паго-Паго в Сибирь. Встречаться не довелось, а вызывать человека на браслет без дела не хотелось. Еще в школе приучали нас не звонить попусту, не покушаться на чужое время без необходимости.

* * *

Итак, ушел я из космической отрасли в строительную. Там и работал до сего дня. Жил на удобной, уютной, благоустроенной Земле, не в космической пустыне; строил удобные, уютные, благоустроенные города в Западной Сибири и у Аральского моря, на Балхаше, на Байкале, в Монголии. Учился. В строительстве учатся все желающие. Конкурса нет, на строителей спрос повсюду. Выучился, работал, продвигался. Ценили, уважали, награждали, советовались со мной, продвигали. Чувствую, что потрудился с толком, была отдача. Но все-таки осталась в сердце

заноза. Чего-то недобрал в жизни, что-то упустил существенное. Не довелось мне щеголять в серебряном мундире с сотней в петлице, питаться кофе с зеленым луком, задышаться из-за труб, заросших чужепланетной слизью, и прижиматься к ракете, думая, что она уносит тебя в космос. Не довелось! Не добрал!

Но ведь конституция некосмическая. «Кошка»!

Так что, пожалуй, в следующей молодости попрошу я космическую конституцию, как у отца. Ему же не мешали «вестибюли» на слаломе в невесомости.

С тем и отправился я в Центр Омоложения.

Глава 3-А

Пришел к дорогому моему куратору и заявил напористо:

— Я прошу справедливости, больше ничего. Отец подвел меня, не передал своих отличных генов. Какие-то бабки или деды всучили мне никчемную «кошачью» наследственность. Я хочу быть нормальным, просто нормальным, каждый имеет право быть нормальным... На этот раз чуточку выше нормы. В прошлый раз ниже, а теперь выше, так будет по справедливости. Даже согласен дать торжественное обещание в третьей молодости не рваться в космос, уж если там нет места для всех желающих. Но один раз мечта должна быть выполнена. Потом я уступлю, обещаю уступить.

Я волновался, размахивал руками, повышал голос — наверное, в глубине души чувствовал сомнительность своего желания быть выше нормы. Эгвар же молчал, сонно помаргивая глазками, возможно, даже напустил на себя сонный вид, чтобы сбить мой напор.

— Дайте мне ваши записки, пожалуйста, я почитаю и подумаю. Очень прошу, предоставьте мне время, денька три на размышление. Я человек медлительного ума, — сказал он. И добавил с легкой улыбкой: — В следующей молодости попрошу себе скоропалительную сообразительность. Неудобно же пациентов задерживать.

Меня передразнивал, что ли?

А три дня спустя — опять классические три дня! — мне было сказано:

— Значит, вы хотите быть похожим на собственного отца. Вероятно, и примерку пожелаете, как в прошлый раз с артистом? Угадал, правильно? В таком случае можно и не откладывать. Мы связались с вашим отцом заблаго-

временно и получили разрешение подключить вас к блокам его памяти. Он не возражал... хотя и удивился. Сказал: «Мне кажется, я ничего не скрывал от сына».

— В самом деле, не скрывал,— подтвердил я, немного устыдившись своей бесцеремонности.— Может, не стоит подключаться?

— Решайте сами,— мягко сказал Эгвар.— Но считается, что каждый человек оценивает факты по-своему. Отец часто рассказывал вам о событиях своей жизни, но вы то же самое увидите другими глазами.

И вот опять я сижу в кресле вроде зубоучебного, колющий шлем у меня на голове, к каждой иголке — цветные нитки проводов и световодов. Череп, оклеенный фольгой, попросил я убрать подальше, загородить хотя бы. Знал, что отец жив, омоложен, а все же неприятно было смотреть на копию его черепа. С Терновым не был так щепетилен.

И опять обрывки, обрывки воспоминаний — как осколки, пересыпающиеся в калейдоскопе. Пытаюсь их склеить, что-то понять, голова трещит от усилий, пока не начинает вырисовываться что-то членораздельное.

— Космос! — твержу я, направляя ассоциации отцовской памяти.— О космосе расскажи. О космосе что запомнилось? Самое важное.

К удивлению, при слове «космос» у отца прежде всего всплывали картины прибытия на Землю. Действительно, говаривал он мне в свое время, что в путешествии самое приятное — это горячая ванна после возвращения.

Но вспоминал он по-своему возвращение, не так, как я. После первого моего неудачного дебюта мне доводилось еще побывать в космосе, чтобы осматривать с высоты сначала Центральную Азию, а потом Австралию. Конечно, тогда я летал на пассажирском корабле — и без невесомости и без тошноты. Мог спокойно проводить целые часы у обзорного окна, неустанно рассматривать величественный глобус — растущий, расползающийся, напирющий, все заслоняющий. Глобус, заслоняющий небо,— вот мое возвращение. Для отца же возвращение — это подготовка к посадке. Хотя частенько летел он как пассажир, как бы пассажир, но на космических кораблях никто не считает чужим серебряного, его привлекали к подготовке, а подготовка к посадке — это прежде всего проверка. Да, сажает планетолет земные диспетчеры, наземная автоматика, но управляет-то она аппаратурой корабля, ее и надо опробовать согласно инструкции по списку: блок № 1, блок

№ 2, блок № 3... Агрегаты, аппараты, приборы, грузы, контейнеры А1, А2, А3... усыпляюще-монотонно, но с неослабным вниманием. Порядок, порядок, порядок, порядок... но вдруг! И прежде всего вспомнил отец тот рейс, где, перепроверя проверяющих, он обнаружил, что в каком-то баке не центрировано топливо, нагрузка на правый бок больше. В пределах нормы перекося, но риск все-таки. Однако перекачивать было уже поздно, и перекося в пределах нормы, и риск невелик; все обойдется, если ноги выдвинутся безупречно... И почему бы им не выдвинуться безупречно? Ноги тоже проверены, не заедают. Риск невелик, а все-таки риск. В итоге, когда все другие стопроцентные пассажиры сидели в креслах с блаженными улыбками, предвкушая объятия с родными на космодроме, отец, закрыв глаза, напряженно прислушивался, не качается ли корабль, одинаково ли ревет пламя справа и слева. Конечно, тут ничего не поделаешь, что будет, то будет. А все же человеку хочется знать, что у него впереди: букеты цветов или носилки «скорой помощи». И вот толчок. Справа. Качнуло. А как же левые ноги? Второй толчок. Замирающий гул. Тишина. Равновесие. Фухх! Отлегло!

Потом головы, головы, головы, пестрые платья, яркие плакаты: «Привет покорителям Ганимеда!», «Привет оседлавшим Каллисто!». (Стало быть, это была экспедиция на спутники Юпитера.) Немножко кружится голова, отвык от земного яркого освещения, от щедрых красок, от зелени, от многолюдия. Глаза режет, хочется спрятаться в тень, но в голове всплывает: «Надо быть вежливым, эти люди послали его на Ганимед и Каллисто, его благополучное возвращение — итог их усилий, венец их усилий». И отец машет, машет обеими руками, старается улыбаться, не морщиться от солнца и головной боли, улыбается и среди всех, всех, всех радостных лиц ищет одно-единственное, юное, розовое, кругленькое с блестящими — счастливыми! — глазами.

Мама!

Вот уж я никогда не видел ее такой молоденькой. Для меня мама всегда «большая», взрослая, немолодая. Это защита, прибежище, утешение, исцеление и источник подарков, кушаний, само собой разумеется, но еда для детей не радость, а обязанность. Мама, кроме того, командир, мама — закон, мама — карающий шлепок; в общем, это нечто могучее. А для отца это «моя девчоночка»; видя ее, он ощущает щемящую нежность. Ему хочется взять эту



маленькую на руки, головочку положить на свое серебряное плечо, успокоить, укачать.

Сколько же ей лет было тогда? Двадцать шесть? Двадцать семь, не больше.

Потом он входит в переднюю. Первая мысль: «Наконец-то дома!» Вторая: «Какой кавардак! Завтра же наведу порядок!» И действительно, с утра начинает наводить. Комнаты пустеют, квартира становится непривычно просторной. Вещи разбредаются по углам, шкафам и полочкам. Все стенки обрастают полочками с закрытыми ящиками. Отец мастерит их, напевая, что-то свинчивает, склеивает, спаивает, прилаживает. Мама смотрит с неодобрением, потом приносит солидный фолиант с иллюстрациями — «Каталог заказов», — говорит наставительно и убедительно:

— Слушай, ты же не в пустыне, не на забытом всеми

богами Ганимеде. Здесь культура, мастера, склады. Выбери любой шкаф, тебе доставят через час.

Но папа отмахивается ворча:

— Не безрукий, сделаю, как мне удобнее.

И сколько обиды, когда самодельную, аккуратненькую, собственноручно раскрашенную тумбочку — три рабочих дня потрачено — мама заменяет невыразительной, заводской!

— И ребенка вырастишь белоручкой, — упрекает папа.

У мамы готовый ответ:

— Ребенок — член общества. Смысл общества в разделении труда.

Папа молчит. Он не согласен, но не хочет спорить. Он думает: «Может быть, я и в самом деле оброс мохом в космической глуши. Там свои порядки, на Земле свои, земные».

— Если некуда время девать, погуляй с Юшиком, — говорит мама, оставляя за собой последнее слово.

Помню я эти прогулки — величайший праздник детской жизни.

Ребенку остро необходима новизна. Его жизненная задача — ориентироваться в этом мире. Нужно увидеть как можно больше, как можно больше фактов, предметов, не вдаваясь в глубину. Название, назначение, короткая характеристика: хороший или плохой, добрый или злой и опасный. И скорее — дальше-дальше-дальше, к следующему предмету, человеку, явлению, событию. Не все взрослые понимают эту тягу за горизонт, ворчат: «Ребенок не умеет сосредоточиться, бросает игрушки, поиграл разок, надоело». Да так и следует. Зачем же сосредоточиваться на одной игрушке? Мир осмотреть надо сначала, весь мир, игрушечный и настоящий.

Как я сейчас понимаю, у папы сохранилась эта ребяческая жажда новинок, тем более что на Земле он чувствовал себя приезжим, все ему было любопытно, все хотелось обследовать. Бросится в глаза вывеска — сразу предлагает: «Давай завернем!» Давай завернем на выставку цветов, на выставку собак, на аттракцион, на стадион, на ипподром, в зверинец, в музей древностей, в музей будущего, просто за угол завернем, посмотрим, куда приведет эта улица. Как она называется? Счастливая? Ну-ка, изучим Счастливую улицу!

Идем и едем куда глаза глядят. Счастливая улица выводит на озеро.

— Юшик, ты катался когда-нибудь на лодке? Пошли,

я научу тебя грести. Никогда не греб, что ты? Это же позор для мужчины!

И папа снисходительно улыбается, глядя, как я зарываю весло.

Но тут приходит сигнал радиопищалки:

— Юшик, где вы там с папой? Марш-марш, домой немедленно! Обедать пора.

Папа включает свой браслет:

— Ольга, прилетай лучше к нам. Мы на озере. Здесь чистый воздух и тонны аппетита. Я вижу кафе на острове. Если не прибудешь тотчас же, мы с сыном кутнем по-холостячки.

— В кафе? Ты с ума сошел. У Юшика режим, у него диета. Ты накормишь ребенка черт знает чем.

— Ольга, послушай...

— Я слышу, что ребенок хрипит. Ты простудишь его окончательно.

И тут я вмешиваюсь:

— Папа, не спорь. Маму надо слушаться.

— Слушаться? Всем? Мне тоже?

— Обязательно! Мама — самая главная.

Я-то сам забыл этот разговор, но в ту пору я был убежден, что маму надо всегда слушаться. И без особых эмоций изрек эту аксиому. Однако на папу мое наставление произвело впечатление. Запомнилась ему эта сценка: голубая лодка на голубом озере, стенка камышей у островка и на фоне камышей — малыш с наставительно-нахмуренным лобиком.

— Мне тоже слушаться?

Тогда я не понимал, только сейчас понял, что папа очень не любил подчиняться. Дисциплину он признавал, приказы выполнял безукоризненно, порядок уважал... но предпочитал сам устанавливать.

Вслед за сценкой на озере в его памяти всплыли уродцы.

Свободного времени на Земле у него было предостаточно, и, обстроив все стены полочками, папа взялся за прислугу. Напрасно мама протягивала ему радиокнигу, твердя, что мы не в пустыне живем, кругом люди, специалисты, в любой момент можно вызвать мастера по ремонту кухонных агрегатов или мастера по ремонту садовых агрегатов. (Впрочем, сама она никогда не вызывала, время жалела на вызов, предпочитала схватить тряпку, вытереть пыль собственноручно.) Папа отмахивался от радиокниги, ворчал, что и сам он не безрукий, не привык дожидаться

мастеров на Ганимеде, справится лучше любого робототехника.

В результате наш дом и сад густо населили комнатные, кухонные, садовые, трубные и прочие роботы, моющие, копающие, клюющие, подающие, проверяющие и объявляющие громко на разные голоса о том, что они готовы приступить, приступили к работе, выполнили работу, или разрядились, или испортились, невыполнив. А так как папа был глубоко уверен, что природу превзойти нельзя, роботы его и были похожи на животных. По стенам ползали у нас механические ящерицы, личинок из-под коры выковыривали механические дятлы, трубы прочищали механические змейки, канавы копали механические кроты. Были и всякие невиданные звери: гвоздилка чердачная, хамелеон клеезыкий и прочие, будто бы обитавшие на Ио, Ганимеде, Титане, Тритоне и прочих спутниках, где отцу довелось побывать. Очень выразительные были звери, помню их, и у каждого было свое имя и кровожадные похождения, которые кончались тем, что папа выслеживал зверя и уничтожал его. Я с упоением слушал эти истории, но к чудищам боялся прикоснуться, а ложась спать, просил маму не тушить свет и не уходить. Все мне воображалось, что уродцы самовольно оживают ночью и ходят за стенкой, заглядывают в щелку под дверь или по карнизу пробираются к окну, вот вскочат, вот схватят меня... Особенно боялся я змееныша двухголового, предназначенного всего лишь для прочистки труб и снабженного двумя головами, чтобы не надо было разворачиваться: ползи вперед, ползи назад. Уж этот ползучий наверняка протиснется под дверь. В общем, я начал кричать во сне, мама устроила мне допрос, выпытала, чего я боюсь, и решительно выкинула папино творчество в мусоропровод.

— Культурные люди на Земле читают книги в свободное время,— объявила мама.— В космосе у себя плоды уродцев, а здесь незачем пыль собирать.

Папа уступил. Как и я, он считал, что мужчина обязан уступать, потому что женщина слабее, ей труднее приспособиться к непривычным условиям, к «другому стереотипу», как говорят психологи.

Так на что же время тратить? Гулять с сыном нельзя — у него режим и диета, монтировать уродцев нельзя — ребенка пугаешь. А романы читать папа не любил, не уважал романы, считал, что писатели слишком мудрят с чувствами. Но это я слышал от него сам в пору моей горестной любви.

Я же сам был влюблен и все романы о любви читал с упоением, даже самые сентиментальные.

— Мудрят! — отмахивался отец. — Вот история о том, что муж захотел взять жену силой, всю жизнь она ему не могла этого простить. Ерунда какая! Стоило писать три тома о бабском капризе. Если не хотела любить, зачем замуж пошла? Ломается? Ну так оставь ее, свет велик. Лети в космос, поезжай в другой город хотя бы. И жену его надо было в космос заслать. Узнала бы почему фунт лиха, забыла бы капризы.

Или же:

— Мать меня в театр затащила. Целый вечер смотрел нудную историю, как одну любили двое. Ей нравился сильный, но она предпочла слабодушного, чтобы его подержать. Ерунда какая! Выходить надо за сильного, род человеческий не портить, не разжигать хлипкими генами. А слабака отправить в космос; выжить захотел бы — закалился бы, позабыл, как за юбку держаться. Ерунда какая! И на что тратят ленту?

Я эти разговоры услышал позже, как почтительный сын не спорил, хотя и не всегда соглашался. Но мама знала истину твердо и отклонений не терпела.

Романы отец не любил, но с упоением читал отчеты об экспедициях, не пропускал все видеопередачи с планет и спутников. Как раз в те годы обследовали астероиды, один за другим, отец заказывал и просматривал все копии съемок. В раннем детстве и я пытался смотреть, сидя у него на коленях, но долго не выдерживал: камни и камни, камни и камни, сколько же можно глядеть на камни? А когда же звери?

Вот из-за этих камней и произошел разрыв у них с мамой. Но это уже не по моим воспоминаниям, по отцовским.

Как раз отцу дали видеоотчет об экспедиции на Цербер, от Цербера тогда ожидали что-то необыкновенное. Отец сидел у экрана, очень хотелось ему не торопясь рассмотреть все подробности. Немножко надеялся он на свою внимательность. Заметил же нецентровку топлива, перепроверя проверяющих. Может, и тут разглядит что-то упущенное. И вот как раз в тот момент, когда какие-то намеки начали вырисовываться, мама позвала отца к столу. Гости пришли, мамины подруги, три дамы, неудобно заставлять их ждать.

Я помню этих подруг, я их называл тетями: тетя Цзи, тетя Роза и тетя Помпея. Тетю Цзи я любил больше

других, потому что она всегда приходила с подарками, приносила мне выразительные китайские игрушки, маленькие, но с множеством деталей, их рассматривать можно было подолгу, не «раз-раз», взглянул — и все понятно. Тетю Розу я любил гораздо меньше, хотя она не забывала принести подарки, сладости чаще всего, но за это она обнимала меня, притискивая к обширной мягкой груди, а я уже вступал в тот возраст, когда будущему мужчине претят сантименты. Это неопасная возрастная болезнь, со временем она проходит, даже превращается в противоположность. Тетя же Помпея для меня была никакой тетей, поскольку она на ребенка не обращала внимания, ничего не дарила и забывала поздороваться. И я не здоровался, за что и получал выговор.

Для папы тети эти выглядели иначе, я не без труда узнал их в его воспоминаниях. Для папы это были три женщины, которых мама привела, чтобы похвалиться своим замечательным серебряным мужем, представителем героической профессии, не из самых знаменитых, но причастных, похвалиться и показать, как она этим героем командует, довоспитывает его, исправляя недочеты. Подруги же не могли удержаться, чтобы не постараться привлечь к себе внимание. И привлекали каждая по-своему: Цзи — подчеркнутой скромностью, потупленными глазками и особенной заботливостью, все подкладывала мужчине кусочки повкуснее; Роза — шумной болтовней и наивными расспросами, как бы в голос кричала: «Ах, я такая простушка! Ах, я ничего не понимаю! Ах, я так нуждаюсь в твердой мужской руке! Скорее, скорее на помощь!..» Помпея же, наоборот, держалась высокомерно, высказывалась коротко и резко, с апломбом, старалась показать свою независимость и даже превосходство над подругами.

Папа понимал, что все эти женщины пришли на него посмотреть и себя показать, но неприлично же откровенно заявить: «Мы пришли себя демонстрировать». Разговор шел об искусстве, о модной видеоновинке «Непокорная Прядь». Позже я и сам смотрел эту постановку, Сильва была от нее в восторге. Под Непокорной Прядью автор понимал некую своевольную девушку. Непокорность же ее заключалась в том, что она не хотела покориться ни одному мужчине. В нее влюблялись самые замечательные — могучие, героические, талантливые, красивые, — но она считала, что потеряет свое «я» рядом с выдающимся мужем, и всем отказывала. А в последнем акте собирались все действующие лица; отвергнутые поклонники требовали,

чтобы она выбрала кого-нибудь одного, хотя бы даже и по жребию; и отвергнутые поклонниками женщины требовали, чтобы она выбрала кого-нибудь одного, пугали ее одинокой старостью. Но она, встряхивая непокорной прядью, обращалась за советом к публике. И тут завязывался спор, это бывало интересно, потому что мнения встречались неожиданные. И вот сегодня четыре женщины, считая и маму, с жаром спорили, было ли у этой Пряди сердце или только голое рацио, и может ли любовь родиться от рацио, или же из жалости, или только от преклонения и восхищения. Роза умильно ахала: «Ах, какая девушка! Ах, какая сила характера!» Цзи одобряла Непокорную молча, со скромной улыбкой; мама — с некоторыми оговорками, маме не нравилось обращение к публике, всенародное обсуждение чувств. Первую же скрипку играла тетя Помпея, она была не только потребительницей, сама была причастна к волнующему искусству, ведала светотехникой на съемках, могла со знанием дела рассуждать о крупном и среднем плане, открытой, скрытой камере и рирпроекции, о теплой карминной световой гамме и холодной высокочастотной, сменяющихся, пока артистка оглядывает одного за другим своих поклонников, бесподобной мимикой выражая отношение к каждому, перед тем как произнести бесподобные слова: «Сограждане, мои дети — сограждане ваших детей. С какими вы хотите жить бок о бок? Видите достойный прообраз?»

Роза ахала, Цзи сочувствовала с опущенными ресницами, мама оценивала вдумчиво, Помпея декламировала, а папа слушал это все, потягивая холодный сок через соломинку, и думал про себя: «В космос бы эту Прядь, кобылку холеную. Избаловалась на изнеженной Земле, воображает себя целью мироздания».

Простите меня, но папа так думал, такими словами. Ничего не поделаешь, когда копаешься в чужих мыслях, можно натолкнуться и на грубость.

Посидев полчаса за столом, он встал, извинился, хотел было вернуться к видеоотчету о минералах Цербера.

Гости бурно протестовали:

— Нет, нет, не уходите. Мы не пустим. Вы не высказали своего мнения. Что думают в космосе о «Непокорной Пряди»?

— Да мы же в космосе не смотрим новых видео. Нам все доставляют с опозданием.

— Ну что вы, как можно. Посмотрите, посмотрите обязательно. Посмотрите и скажите свое мнение. Я принесу вам кассету сегодня же,— вызвалась Помпея.

— Знаете, я как-то равнодушен к искусству,— признался папа.

— Как можно? Как можно?

И тут мама вмешалась. Хотела исправить положение, но все испортила:

— Он прибедняется. Кокетничает своим космическим невежеством. На самом деле мы смотрели «Прядь» позавчера.

— Ах, вы смотрели? Ах, вы не хотите сказать свое мнение? Считаете, что мы недостойные собеседники, не пойдем вас?

Тогда папа вскипел:

— Хорошо, я скажу... Я скажу все, что думаю. Думаю, что есть дело на свете и есть болтовня. Мы в космосе заняты делом: мы готовим новые земли для потомков, а вы на изнеженной тепличной старой Земле, нашими прадедами благоустроенной, избаловались донельзя; четыре часочка отработали кое-как, не знаете, куда девать прочие. Вот и забавляетесь: любит — не любит, всерьез — не всерьез, из жалости — не из жалости, от сердца, от ума. У какой-то девчонки капризы, претензии, о капризах целая пьеса, неподобный монолог о капризах, примадонна неподобно изображает капризы, цветовая гамма неподобно оттеняет капризную мимику, часовые дискуссии о капризах, а где-то в дальних мирах люди строят и строят, годами, сутками строят. И там хорошие женщины, если любят, помогают любимым, работают рядом, а не обсуждают фанатерии взбалмошной лентяйки.

Гости ушли с обиженными лицами. Мама была возмущена, мама требовала, чтобы отец извинился. Мама стояла перед ним, уперев руки в бока, грозно глядела снизу вверх, вопрошала с гневной укоризной:

— И тебе не стыдно?

Моя жена — та ластилась, когда назревал конфликт, даже если я виноват был, ласкалась, чтобы снять напряжение, сначала успокаивала, потом уже делала выговор. Но прямолинейная моя мама презирала хитрые подходы. Если сердилась — значит, сердилась, если стыдила — значит, стыдила.

— Стыдно бравировать некультурностью,— говорила она.— Конечно, вы там на дальних планетах упускаете новинки, пульс нашего искусства. Можно оправдать тебя,

но надо навестывать, а не кичиться невежеством. Ты был груб. Стыдно должно быть, стыдно!

Ох, сколько раз в жизни слышал я это уничтожающее «стыдно»! Стыдно, нашкодил, проштрафился, рад бы сквозь землю провалиться, не поддается под ногами. Папе тоже захотелось провалиться. Он схватился за дверь.

— Больше не буду,— рывкнул он глумливо.

Мама не уловила интонации. И ластиться не потянулась. Лицо ее осталось строгим, выражало моральное осуждение. В детском саду не полагалось прощать после готовенького «больше не буду». Надо было еще посмотреть, как на деле исправляется виноватый.

А папа был в ярости. Папа хлопнул дверью. В ближайшей же переговорной он вызвал на экран Космическое Управление, сказал, что он устал отдыхать, просит направить его срочно куда угодно, но подальше: на Титан, на Тритон, на Плутон, на любую заплутоновую комету.

Ему сказали, что пары составлены, подождать надо месяц-другой.

— Я согласен в одиночку.

— В одиночку не положено, сами знаете. Если случится беда — ногу сломали, заболели,— должен же кто-то SOS передать. Может быть, поедете с женой?

— С женой? Ни за что, ни в коем случае! Один хочу!

— С Гитарой согласны?

В памяти отца всплыло круглое веснушчатое лицо, наклоненное над старинной гитарой, унылое треньканье, повторяется и повторяется простенькая фраза, неумело подбирающаяся по слуху. И ощущение тоскливой скуки: этакое слушать год или два!

— Гитара свободен?

— Ну кто же его возьмет в напарники? Неумелый. Руки-крюки!

— Ничего, я сам все налажу. Давайте Гитару. Руки-крюки, но SOS послать сможет.

И месяц спустя отец улетел с тем Гитарой; в тот раз, кажется, на Рею — пятый спутник Сатурна.

Казалось бы, с полнейшей откровенностью рассказали мне воспоминания отца о давнишнем его разрыве с мамой, а все же осталось у меня недоумение. Главного я не понимал.

Любил отец маму? Любил. Относился к ней с нежностью, на руках таскал, как ребенка хотел убаюкивать. Будучи мужчиной, считал, что слабой женщине надо ус-

тупать. И уступал, даже подчинялся. К сожалению, мама с ее неумолимой педагогичностью и твердой верой в однозначность истины, в то, что хорошее для нее для всех хорошо и обязательно, нетактично нажимала на отца. И раздражение копилось у него, и в космос он категорически не захотел лететь с мамой. Это-то понятно. Но почему же обязательно подаваться в космос? Так просто было бы позвонить в городской совет, заказать отдельный домик или квартиру по своему вкусу. Нет, отца тянуло в космос, и даже с нудным напарником. Почему?

Мне это было важно понять. Ведь я же хотел быть похожим на отца, просил сделать меня достаточно сильным, чтобы пройти в космонавты беспрепятственно. Но если космос только убежище от женских наставлений, мне такое убежище ни к чему. Со своей женой я жил мирно и благополучно. Скорее, она от меня убежала в молодость. У меня нет оснований бежать куда глаза глядят. И вот я хочу разобраться, бежал ли отец куда глаза глядят или куда сердце тянуло? Чем привлек его космос? Ведь первый полет он совершил еще будучи холостяком. Мама выходила замуж уже за серебряного.

Эгвар намекнул мне насчет славы героя. Верно, у нас с ним шла речь о «восхищенных глазах». Но папа был домоседом, от публичных выступлений отказывался, предпочитал ковыряться со своими механическими уродцами. И к восхищенным глазкам маминых подруг отнесся неодобрительно. Осудил и осадил «холеных кобылок». Нет, не ради аплодисментов стремился он в космос.

К удивлению, память отца, так обстоятельно изложившая мне историю ухода в космос, о самом космосе рассказывала скупо. Думается, таковы свойства памяти вообще. Ведь и глаз наш, рассматривая новый предмет, новое лицо например, как бы обводит его границы, рисует очертания, выделяя яркие пятна — брови, нос, а по светлomu лбу и щекам скользит, не задерживаясь. И мышлению нашему понятнее рисование, чем цвет. Недаром у многих людей даже и сны черно-белые. Да и живопись сама с трудом уходила от жестких контуров к воздушным переживаниям. Да, глазами видим мы цветовые пятна, но осмысливаем контуры.

Но это я отклонился в сторону. Диктофонная разговорчивость.

Так вот, я хотел сказать, что мыслим мы контурами и память у нас контурная, отмечает границы событий, повороты судьбы, перемены мест.

Переход от земной жизни к космической запомнился отцу, а невыразительные будни Реи ушли на задний план. Вообще для планетчиков самое яркое — отпуск на Земле. А что удивительного? Спроси меня, земного жителя, что я могу рассказать о сороковом или сорок пятом годах моей жизни? Поднатужусь и вспомню: в Мексику летал, на древности майя, или на Таймыр, на оленях катался, в кратере Попигай побывал, в метеоритном музее. Месяц отпуска! А остальные одиннадцать? Работал. Проектировал. Что именно? Начну вспоминать — спутаю.

Это я сравниваю свое восприятие и отцовское. Пока не вижу принципиального различия. Оба мыслим контурами, границами, промежуточные плоскости пропускаем.

Пришлось направлять отцовскую память.

— Космос, космос! Рея! Житье на Рее припомни!

И что же я увидел?

Комнату прежде всего. Стандартное космическое жилье, доставляли его в неразобранном виде, прямо выгружали с корабля жилой вагончик. На одной стене табло управления, цветные знаки, циферблаты и звонки тревожных сигналов. Под ним рабочий стол, точнее, секретер со множеством ящичков. Другой стол, и тоже с ящичками, — хозяйственный, обеденный. Между ними вертящийся стул. Крутнулся — пишешь, крутнулся — закусываешь. (Умилился я, глядя на этот стул. Отец и на Земле завел такой же, я с восторгом вертелся на нем до головокружения.) У задней стенки за занавеской спальня вагонного типа — койки в два этажа. На нижней сидит веснушчатый круглолицый и, наклонив голову, прислушивается к струнам, подобрался ли мотив.

Взя-ал бы я ба-андуру да сыграл что знал,
Че-е-рез ту-у банду-уру бандуристом стал.

— Может быть, хватит? — говорит отец с раздражением.

— Сейчас. Вот подберу. Получается уже.

— Слушай, дружище, имею я право на отдых?

— Сейчас...

Отец закипает. Но закипать нельзя, когда год живешь вдвоем, с глазу на глаз. Дисциплина побеждает. Отец крепится, стискивает кулаки.

— Я пошел на Тулу. Слышишь? За Тулу...

А что такое Тула? Какая там Тула на Рее?

Кратер показывает мне отцовская память: обыкновен-

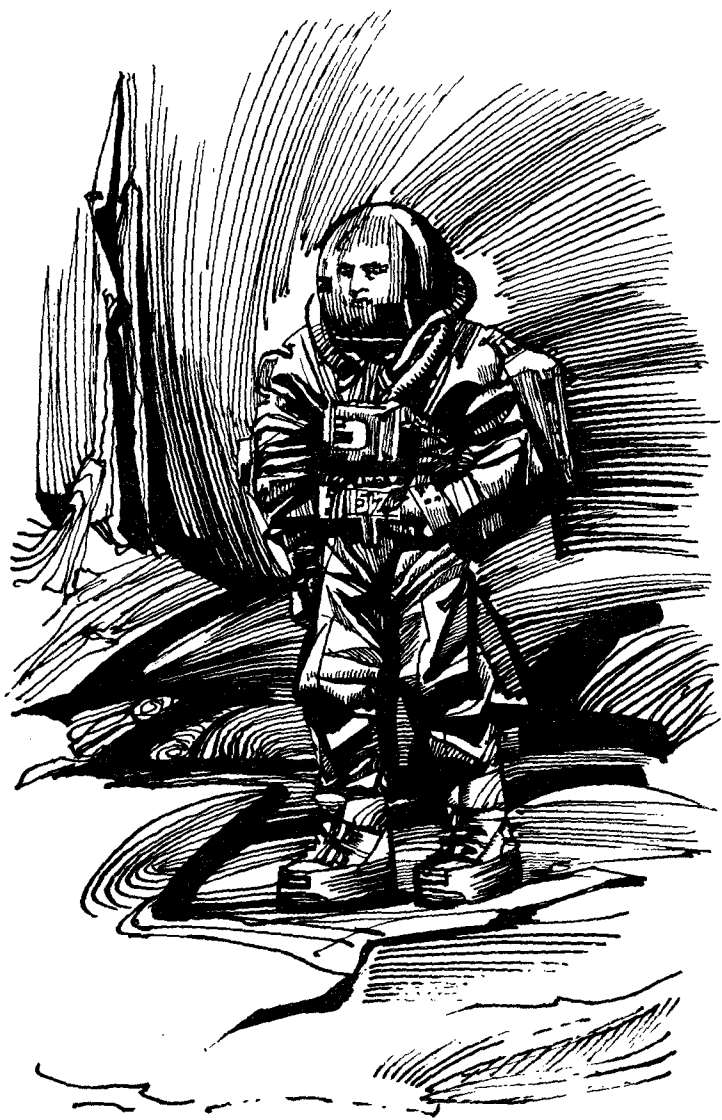
ную метеоритную воронку с осыпавшимися краями. Оказывается — но это я уже позже узнал, — на далеких небесных телах, где нет ничего примечательного, кроме скал, уступов и метеоритных кратеров, дежурные планетчики, чтобы не тратить клетки мозга на придумывание названий, ближайшие холмы именуют в честь земных гор, пропасти — по земным рекам, а воронки — по городам. Так удобно и запоминается легко: к югу от станции — южные города, после Тулы — Орел, Курск, Белгород, к северу — Ярославль, Вологда и так далее. Привычно, голову загружать не надо.

При слове «Тула» в памяти отца возникло ощущение изнеможения. Тула — первый кратер от станции, а также и последний на обратном пути. Конец похода, но до дома еще километров семь, семь километров унылой равнины, черной, с проседью инея. Острые осколки, нагибаться за ними не стоит: обычный состав, метеоритное железо, оливин, пироксены... Нагибаться не стоит и не хочется. Осталось семь километров, и за плечами тяжелый рюкзак с образцами. Проклятая добросовестность — все на ногах и на ногах, устал как собака, а впереди еще семь километров. И присесть нельзя. Солнце уже у горизонта, яркое, для глаз колющее, но холодное и карликовое, совсем не-серьезное солнце, с вишню величиной. Но как зайдет, будешь спотыкаться в черной тьме, лобовым прожектором шарить, куда нацелить ногу. Тяжесть на Рее невелика, теоретически прыгать можно метров на десять. Но герметический скафандр... и груз образцов еще! Не прыжки получаются — полупрыжки, удлинненные шаги. Сколько придется на семь километров? Тысячи две, а может, и три. Ну, давай, давай! Тысячу отпрыгаю — присяду. А считать, из практики известно, лучше от конца к началу: 999, 998, 997, 996... Не сколько прошел, а сколько осталось. Так приятнее, нагляднее приближение к дому... 990, 989, 988... Неужели когда-нибудь будет ноль?

Вот такие воспоминания вызвала Тула — последняя остановка по возвращении из похода, когда силы исчерпаны.

О Курске воспоминание было приятнее: плитчатый камень, извлеченный из осыпи, — черно-синие полосы с золотистыми прослойками. Неведомый минерал! Ольгинитом хотелось назвать в честь жены. Все же в справочник вошло другое имя: реехромит.

Часто всплывал в памяти Сатурн, Сатурн без колец; спутники смотрят на кольца с ребра. Серо-зеленый, цвета



плесени, громадный шар с завитками застывших циклонов, мохнатый какой-то, махровый... скорее, мохом обросший. А сквозь мох зловеще просвечивают красные глазки — один побольше, один поменьше, как бы подмигивают, прищурившись. Зловещая картина. Впрочем, это мне, постороннему, она кажется зловещей. А у отца удовлетворение: «Наконец-то! Значит, есть-таки раскаленные недра у планеты. Сомневались, спорили, и вот неопровержимый факт: извержение! И какое! Сквозь атмосферу просвечивает. Не зря сидели на Рее, потратили три года жизни».

Так все время выплывали чрезвычайные события. Три года сидели, ждали... Дождались! Важное отпечаталось, промежуточное стерлось. Обрывки воспоминаний выдавал мне отец. Из всех кратеров — курский, где нашелся ольгинит; из всех походов — тот, где треснул скафандр; при слове «склад» — пожар, пламя в клубах пены огнетушителя.

И за столом в нашем доме было то же. О чем вели разговор? О приключениях: верхом на ракете отправился на Луну, задыхался из-за наростов в трубах. Но такое приключение один раз в жизни. Не ради него же стал планетчиком.

Не с Земли бежал, не за славой и не ради редких приключений. Для чего же?

Из «Звездного архива» Эгвар выписал для меня дневник отца. Все планетчики обязаны вести журнал на манер корабельного. И отец вел, отмечая задания и их выполнение, наблюдения астрономические, маршруты топографические, находки геологические, дела хозяйственные, ремонт аппаратуры и сооружений, а особенно скрупулезно работу в оранжерее: посадка, пересадка, прививка, подкормка. И восклицательными знаками приветствовал появление проклюнувшихся ростков: первый лук на Рее, рейская петрушка, рейские кабачки, рейская свекла.

Восклицательными знаками отмечал. Не чужд эмоциям был мой рациональный отец. Не сухарь!

Но такими же эмоциональными восклицательными знаками отмечались и неделовые заметки: «Треть срока прошла! Медлительно тянется время!», «Половина срока — вторая половина легче!». А к концу журнала уже шли ежедневные восклицания: «До смены двадцать три дня!», «До смены двадцать два дня!», «До смены двадцать один день — три недели!!!».

Что же получается? Выходит, что, живя в космосе, отец мечтал о Земле. Так зачем же он рвался в космос, зачем

сбежал из дома в самом начале годовичного отпуска? Что-то недоговаривала память, что-то недоговаривал журнал.

Снова и снова надевал я на голову шлем, подслушивающий мысли, снова и снова вчитывался в дневниковые записи, снова и снова обдумывал свои собственные воспоминания.

Вот что дошло до меня в конце концов.

Самостоятельность («самость») была главной чертой отца.

Он все хотел делать сам. Сам вел наблюдения, своими ногами мерил неисхоженные просторы, сам составлял лекции, сам конструировал роботы, сам ремонтировал их, сам клеил скафандры и подошвы к ботинкам, сам кулинаруил, комбинируя консервы. Сам, сам, сам... И космос в высшей степени давал возможности для этой самости. На планетах отец был лицом к лицу с природой: «Я и простор, Я и пустота, Я и мороз, Я и огонь. Я — я — я! И на мне ответственность, и во мне сила, и на меня надежда!»

На Земле же не было самости. Люди вокруг, великое множество других «Я», и каждому надо уступать понемножку. Есть мама с твердыми взглядами на «хорошо — плохо», «надо — не надо». Есть сынок — существо несамостоятельное, требующее диеты и режима, его режиму подчиняются самостоятельные родители. Есть дамы — гости, из вежливости надо считаться с их вкусами.

Люди вокруг на Земле: не Я, а МЫ. Разделение труда, и в самости нет нужды. Не нужны выносливые ноги — вызываешь роlikоход. Не нужно твое умение чинить роботы: есть механики по кухонным, есть механики по садовым. Не нужны путешествия: включаешь видео и, сидя в домашнем халате, отправляешься на полюс, в тропики, на дно океана, на вершины гор, на ту же Рею.

Земля обесценивала самостоятельность отца.

Он не рвался потреблять. Ему хотелось создавать, творить, как господь бог. Но что творил он на Земле? Двухголовых змеенышей, уродцев жалких, которые только пугали изнеженного сыночка. На планетах же он с увлечением создавал теплицы — зародыши будущих садов. В садах тех была душа отца. У безжизненного, бесплодного космоса он отвоевывал квадратные метры для зелени, для космического лука, петрушки, кабачков, свеклы и огурцов. Космическую яблоню мечтал вывести, космические ягодники и сады, чтобы в тех космических садах были детские сады, чтобы паслись там на малине и крыжовнике стайки горластых космических уроженцев, похожих на его сына,

чтобы водили эти стайки космические воспитательницы, похожие на нашу маму.

Однако, надо полагать, сам отец не захотел бы остаться в тех рукотворных садах. С возделанных планет он ушел бы на бесплодные, незасеянные, чтобы снова и снова шагать по их скрипучей пыли и острым осколкам, именовать метеоритные воронки городами и думать о превращении их в города, пустыню озеленять для людей, но уходить от людей в пустыню.

Мать говорила мне, теперь я припоминаю, что у отца в натуре что-то архаическое. Его тяга в космос как бы бегство в прошлое — в XX век, в XIX, даже в XVII, когда, погрузив свои семьи и скарб в корабли, на плоты или на скрипучие фургоны с высокими колесами, люди уходили в дикость, убегая от гнета или культуры. Но ведь и те переселенцы, уходя от культуры, несли ту же культуру в дикие прерии и леса. Уходили от культуры, чтобы распространять культуру.

Может быть, в том и суть истории человечества: идти в пустыню, чтобы сделать ее не пустыней?

И я спросил себя: сумею ли я продолжать отцовское дело (не будем напыщенно именовать его подвигом)? Сумею ли уйти в космос, чтобы сажать на планетах сады?

И сказал себе: да, сумею! Я терпеливый, я исполнительный, я дисциплинированный, чувство долга у меня есть. Я смогу вышагивать десятки километров, нагрузившись камнями, буду педантично вести дневники наблюдений, научусь ремонтировать скафандры, стулья и подметки, варить супы из консервов и жаркое из порошка. Сумею даже слушать треньканье гитары три года подряд и не злиться на напарника. Сумею! Я терпеливый, я уступчивый. Может быть, даже научусь для отдыха свинчивать, склеивать и сваривать змеенышей из планочек и пластиночек. Научусь! Но вот чего я не обещаю: не обещаю испытывать от всего этого наслаждения. Нет у меня отцовской тяги к безлюдному простору. Я человек толпы, я человек хоровода. Жизнь прожил в окружении гомонящих ребятишек, плечистых спортсменов, хорошеньких девушек, нарядных женщин за столом. Люблю лица на экранчике браслета, даже те, что попали ко мне по ошибке, люблю людные улицы и душевные беседы на льду тоже. Я вытерплю одиночество, если понадобится, если меня пошлют на Тритон и Плутон. Вытерплю! Но ведь меня никто не посылает туда. Сейчас я выбираю вторую молодость себе по вкусу. Я выбираю. Намечаю свой будущий характер. И видимо, не

стоит хвататься за противоположный, обрекая себя на противоречия между новыми стремлениями и старыми воспоминаниями.

Между прочим, отец не поменял характер. И в новой молодости остался космопроходцем.

Ну и пусть. Каждому свое. Ему — небо, мне — Земля.

Даже и не пошел я для личной встречи к куратору. По браслету сказал, что не хочу быть таким, как отец.

— И не торопитесь, подумайте еще, — сказал он.

А я чем занимаюсь? Думаю.

Глава 4

Итак, из-за Ченчи, из-за кошачьей своей натуры или просто из-за средних (посредственных, говоря откровеннее) возможностей отказался я от космической отрасли, заново должен был выбирать. И опять все дороги открыты, и опять нет единственной, самой заманчивой.

Выбрала за меня, в сущности, школа. Выпустили же меня мотористом, следовательно, полагалось мне работать мотористом, пока себя не найду. Не позориться же бездельничая, травку спиной утюжить, ожидая, что снизойдет настроение поработать. Обязан трудиться по способности — двадцать часов в неделю отдай, не греши!

Выбрала школа, а Паго-Паго уточнил специальность. Я — моторист на малом кране, мое дело — кантовать, укладывать мешки, ящики, контейнеры, блоки, строительные блоки в частности. И тут как раз радиоинформация: требуются строители в Западную Сибирь. Люди приедут поднимать новую целину, им нужно жилье. Ну что ж, какие могут быть возражения? Я северянин, мне претит липкая жара тропиков, я соскучился по прохладному лету, по морозцу, лыжне. Пусть будет Сибири!

И стал я строить дома. И понравилось мне это дело. Оно осязаемое, зримое в отличие от портовой работы. Там груз привезли, груз увезли — бережешь пустоту на площадке, а здесь оставляешь сооружение — видимые результаты труда. Вот пришел ты на первозданный пустырь, взрезанный канавами. Перед тобой мокрые кочки, тощие пеньки вчерашнего осинника и противная липкая черная грязь непросохшего торфа. И ты, строитель, словно господь бог на второй день творения, должен отделить землю от воды, осушить, утрамбовать, уложить дорожные плиты и блоки фундамента, стены подвести под крышу, украсить,

раскрасить, превратить топь в нарядный город. Идет сотворение города на твоих глазах, не волшебное, по мановению ока, а постепенное, что даже лучше волшебного. Ты выращиваешь дом, ты прорисовываешь его, кладешь штрих за штрихом; положил — и отошел полюбоваться, что успел нарастить за смену. Смену сдал, пришел на другой день, а сменщики добавили еще штрих-другой. Ряд за рядом, этаж за этажом. Продвигается дело. Радость движения ощущаешь.

В общем, пришлось по душе мне строительное дело, решил я учиться на строителя. И в самом деле, если не учиться, куда же время девать? Рабочая неделя — двадцать часов. Выспался, выкупался, почитал, посидел у экрана, дальше что?

Учился я заочно, не бросая работу. Всем рекомендую заочное обучение. Развивает цепкую самостоятельность. Дана задача, ищи решение, сам ищи, шевели извилинами! Ведь педагога нет рядом, нет возможности при первом же затруднении руку поднять: «Извините, повторите, не понял, прослушал». Вызывать на браслет запрещено. Если разрешить, у педагога жизни не будет, с утра до позднего вечера на запястье тупицы, долби и долби им, непонятливым. Можно слетать в Омск на консультацию, но это живые часы: часа полтора туда, часа полтора обратно, собраться, разобраться, других непонятливых переждать, вот и день пропал. Так не лучше ли поднатужиться, додуматься самому?

И додумывался я. И сдавал экзамены. И получил диплом. Даже досрочно: за четыре года кончил, не за пять.

Годик еще поработал в тайге, потом перебрался южнее — в степи, в зону полей и садов, восточнее Волги. И не только ради тепла перебрался. В садах обычно работают семьи, стало быть, предпочтительнее односемейные домики. С семейством имеешь дело, не с бесчисленными квартирантами многоэтажных сот, толкуешь с персональными заказчиками, считаешься с их личными вкусами, увлечениями, капризами, даже фанабериями, не боюсь такого слова. Этому нужен подвал, а тому бельведер, этому оранжерея, а тому даже обсерватория — он переменные звезды наблюдать хочет. На работе все одинаково — хлебоборобы, а в свободное время — индивидуальности. Скажи мне, как ты отдыхаешь, и я скажу тебе, кто ты. И как же радовались эти индивидуальности, получая желанную квартиру-мечту с надстройками, пристройками, балкончиками и крылечками по личному вкусу. Я взял за правило не

начинать проект, не познакомившись с семьей заказчика. И схемы придерживался подвижной, на случай: если семья прибавится или увлечения сменятся. И как же приятно было слышать: «Спасибо, друг, хороший ты сделал дом».

А когда благодарят, когда ценят, и работа ладится. В своей нише оказался в Заволжье, не то что в Паго-Паго — нежелательный кандидат в космические монтажники.

Три года провел я в степях и был доволен, и мной были довольны, повышали, стал я старшим архитектором, был самым молодым среди старших. Но потом все же ушел я с проектирования на планировку.

Для постороннего уха проект и план — нечто близкое, почти одно и то же, на самом деле планировка — совсем другая работа. В ней свой интерес: главное — многогранность. Планировщику надо все вместить в голову: рельеф, почву, климат и микроклимат, осадки, гидрографию — реки, ручьи и подземные воды, экономику будущего района — промышленность, сельское хозяйство, транспортные связи, внешние и внутрирайонные, подсчитать население, в нем градообразующий фактор (работники производства), а также и неградообразующий (жены, дети, повара, парикмахеры, школьные учителя, спортивные тренеры, ремонтные роботы и роботы, ремонтирующие роботов). Ничего не забыть, все расставить на местности так, чтобы всем было удобно — работникам, детям, поварам, учителям и роботам, — удобно-удобно-удобно, а сверх того еще и красиво.

Масштабно! Увлекательно! Но без особенной охоты перешел я на планировку. Безлюдно! Владелец домика в саду — персона, личность, с которой имеешь дело. А десять тысяч жителей района — это десять тысяч усредненных единиц. Они как пассажиры на самолете. Грузоподъемность такая-то, средний вес «единицы» — шестьдесят кило, следовательно, самолет поднимает столько-то. Для самолета пассажиры — это безличный груз, подлежащий доставке. Для районного архитектора нет индивидуумов, есть десять тысяч, подлежащих расселению. Не имеет он возможности знакомиться с каждым.

Так что не рвался я в планировку. Но были причины для перехода. Две. И обе личные.

Первая: скромные мои способности. Рисовальщик я приличный, но не художник. Рисовать люблю и могу, в школе рисовал с охотой, хотя светоживопись мне не давалась. Но архитектор должен быть не просто рисовальщиком, еще и броским художником — рекламистом. Да,

я вижу дом мысленно, выстроил его в своей голове, как оно полагается по Марксу, выстроил со всеми наличниками, балясинами, пилястрами, фризами, карнизами. Вижу. Но я еще должен подать его заказчику, обязан быть хитрым поваром, который так украсил блюдо, чтобы слюнки потекли, прежде чем довелось попробовать. Я вижу в своей голове, я понимаю, что аппетитное будет жилье, но нужно еще заказчика убедить... а краски не ложатся. Приходится помощникам поручать: «Марк, Юсуф, Закия, Ласа, изобразите позаманчивее, так, этак, как вы умеете!»

Они-то умеют, а я не умею. Нехорошо, если старший не может показать младшим.

И тут еще примешивались семейные обстоятельства.

Женился я. Среди младших оказалась в нашей мастерской милейшая девушка, пышечка-толстущечка, чернобровая, с черными усиками над уголками губ, говорливая такая, ручеек журчащий. И на меня все посматривала ласково. Недаром Ласой назвали, Ласочка, ласковая моя. На дню раз десять подходила консультироваться, на массажах подсаживалась. Понял я, что нравлюсь ей, сделал предложение, говоря по-старинному, и было принято оно благосклонно.

Любил ли я ее? Любил, конечно, но не так, как Сильву, без юношеской растерянности, без головокружения, без отчаяния со скрежетом зубным. Любил как жену, самого близкого на свете человека, как дочку любил, нежно и снисходительно, как товарища, соратника во всех делах житейских, как свою половину, то есть как самого себя, даже больше — как половину слабую, требующую больше внимания.

У Ласы не все сложилось благополучно в жизни. Хотя она была моложе меня года на два, но уже успела побывать замужем, и неудачно. Не сладилось там, не знаю что, не пытался подробности, по ее вине или по вине мужа не сладилось. И были роды, неправильные... и Ласе запретили иметь детей. Большая травма! Хотя Ласа хорохорилась, но на всю жизнь осталось у нее ощущение ущерба. Женщина без ребенка, не выполнила предназначение!

Может быть, оттого отчасти она так торопилась во вторую молодость.

Темперамент и неизрасходованную материнскую энергию Ласа вкладывала во всяческие затеи. Ни дня без затей! Вдруг ей взбрело в голову слетать на денек в Париж, Пекин или на Северный полюс, завести розарий в саду, заменить розы плавательным бассейном, отпуск провести в подвод-

ном колоколе, научиться играть на арфе, переселиться на Памир. И я, хотя эти рывки не в моей натуре, почти всегда соглашался, даже потакал, потому что понимал ее мятушуюся натуру и потому что жалел. Помнил: сильный мужчина должен уступать слабой половинке, даже подавляя свое самолюбие, место уступить талантливой помощнице, уйти самому на районную планировку.

Ласа моя была самостоятельной личностью, и если первое время она шумно восхищалась мной: «Ах, какие замечательные идеи у нашего старшего! Ах, как он все продумал!» — в дальнейшем проступило подспудное: «И я так могу, и даже превзойду его, давно бы превзошла, если бы не хлопотливая женская жизнь». И так как Ласа действительно рисовала лучше меня и действительно соображала быстрее, и так как дома она привыкла командовать сто сорок восемь часов в неделю, на оставшиеся двадцать рабочих часов ей трудно было перестроиться: не возражать мужу, не спорить с ним, не поучать и не давать указаний. В результате у всех в мастерской и у меня лично сложилось впечатление, что я напрасно возглавляю группу жилья, не свое место занимаю, загораживаю дорогу талантливой женщине.

Я согласился и перешел на планировку. Освободил место старшего для Ласы.

К сожалению, она не справилась. У каждого из нас свои грехи: у меня — недостаток способностей, у Ласы — избыток. У нее чересчур много идей, одна лучше другой. Но в проектировании, возможно и в любом деле, идеальных решений не бывает. Проект — это компромисс между природой и людьми, мечтами и материалами, квартирой и улицей, зеленью и асфальтом. На какой-то пропорции надо остановиться и довести решение до конца. Ласе никогда не удавалось довести. При первом же осложнении ее обуревало желание все порвать, выбросить и начать сначала.

Так что не удержалась она в старших... и даже в архитектуре не удержалась. Все-таки возни с детьми ей не доставало; она пошла в школу преподавать рисование, потом общую эстетику. Вот это оказалось ей по нраву — все виды искусства: живопись, зодчество, музыка, театр, кино, стерео, видео, поэзия, мебель, платье — одно, другое, третье, экскурсии, выставки, музеи, оценки, дискуссии...

Но все равно чужие дети не заменили своих. И как только объявили всеобщее омоложение, с заменой внешности и физиологии по желанию, Ласанька моя среди

первых кинулась записываться. Ей еще и пятидесяти не было, но она с такой страстью доказывала, что она несчастный, разнесчастнейший человек, никто не смеет заставлять ее доживать срок в прежней оболочке... Добилась!

Так что нет сейчас на свете моей милой, вечно взволнованной толстушки. Существует под тем же именем смуглая горбоносая испанка с гребнем во взбитой прическе, вечно взволнованная мать двоих (уже двоих!) не моих ребятишек. Мы с ней встречаемся изредка. По старой памяти она мне дает указания, я даже выполняю их иногда. Горевал ли я, ставши как бы соломенным вдовцом? Да — и нет! Да, потерял я свою половинку... но ведь в сущности я давно уже потерял ту румяную чернобровочку с черными усиками над уголками губ. Теряем мы любимых девушек, даже в брак вступая, взамен получаем матрон. Сами себя теряем постепенно — это закон природы. Где тот наивный малый, который носился над облаками, воображая, что открывает острова для любимой? Нет его, повзрослел, погрузнел, поседел, остыл. И где та любимая, краснокрылая капризная девочка Сильва? Ходит по земле седая и неопрятная бабушка Сия, озабоченная расстроенным желудочком объевшегося внука. С Ласой же произошло обратное: исчезла крикливая и толстая эстетичка, учительница старших классов, превратилась в счастливую молодую маму. И прекрасно, приветствовать надо такие превращения! Правда, муж ее остался без спутницы жизни на старости лет, но что поделаешь: жизнь состоит из утрат. Попутно и молодость я утратил, вообще жизнь растратил по малости. Где тот орленок, рвавшийся за облака? Сидит с удочкой над прорубью неподвижный старик, домкратом от льдины не оторвешь.

А на что растратил жизнь? На упомянутую планировку.

И рассказать о ней можно одной фразой: продвигался вверх... и на восток — от Волги к пустыне Гоби.

Продвигался я на восток потому, что, проработавши не один год между Волгой и Уралом, стал я, естественно, специалистом по поселениям степной зоны («зоны недостаточного увлажнения»). Зона обширная, просторная и для строительства удобная — равнина, дороги прокладывать легко, планировать легко. А городов требуется много, все новые — новые заводы, новые институты, новые училища, новые туристские базы, новые курорты, а теперь, в связи с массовым омоложением, — просто новое жилье. Ведь омоложенные с восторгом возвращаются к юной люб-

ви, а у юных детишки появляются обязательно. Взрыв демографический!

Так долго рассказывал я о трудном выборе профессии и так коротко о профессии. Впрочем, повсюду так. Любовь тоже выбор, о любви разговор был долгий и волнующий, о семейной жизни написано гораздо проще: прожили четверть века, в общем, удачно, главная беда — детей не было. Вот и все.

Психика у нас такая, что ли, к трудностям чувствительная? Впрочем, это естественно и даже рационально. Трудности устранять надо, они требуют повышенного внимания. А если все благополучно, все идет своим чередом, к чему слова тратить?

Итак, продвигался я на восток... и вверх вместе с тем. Подразумеваю: рос на работе. Мне поручали все более крупные и трудные районы, сначала на десять тысяч жителей, потом на пятьдесят, на сто тысяч жителей под конец, всю долину реки Керулен. Почему доверяли мне большую работу? Опыт набрал. И старался. Никогда не ограничивался двадцатью часами в неделю. И не от усердия, не могу поставить себе в особую заслугу. Просто не устраивала меня безличность планирования — сто тысяч пассажиров планеты со средним весом шестьдесят кило, шесть тысяч тонн человечины. Скучал я над бумажными листами и свободное время посвящал разговорам с людьми, поддерживал знакомство, запрашивался на знакомство: дескать, я планирую ваш район, что же вы, папы и мамы, старожилы и переселенцы, хотите построить, устроить, оставить, переставить? Конечно, сто тысяч я обойти не могу, но тысячу-другую опрашивал. Не работой — удовольствием считал я эти беседы.

И люди были довольны. И хвалили. И возмнил я о себе малость. И когда объявили конкурс на планировку Гондваны, решил я на соревнование.

Поколебался, но решил. К тому же возраст подстегивал. Под шестьдесят уже, силы скоро пойдут под уклон, откладывать не приходится, некуда. А масштабные планировки когда еще будут? Самая большая — в Гондване. Подзадержались с этим материком, неудобно было браться за него, но вот и до него дошла очередь. А если упущу, чего еще дожидаться? Генерального плана Луны? Но на Луне сейчас три тысячи человек, разрозненные базы. До общей планировки ой как далеко!

Здесь я, биограф Юша Ольгина, вынужден просить у читателей извинения: я не смог установить, что это за материк, Гондванда. Вообще, когда описываешь будущее, трудно быть документально безупречным. Ведь какие у нас возможности, у современников, для проникновения в будущее. Догадки, пожелания, предложения, соображения, воображение, логические приемы, даже расчеты, но все это эвристика, которую не ценят серьезные ученые. Есть, правда, еще в одном-единственном НИИ опытный темп-фон — телефон для связи с будущими веками. Но желающих так много, нам, авторам, очень редко — после долгих хлопот — удается раздобыть разрешение на бланке с тремя печатями на короткий запрос (минут на десять, на двадцать) в чрезвычайных обстоятельствах. И что-то пытаешься разобрать в шуме помех, электронных и временных, кто-то влезает из отдаленного будущего, кто-то болтает о пустяках в промежуточных десятилетиях. Так что я и не сумел уточнить, что же называли Гондвандой в XXII веке. Вообще-то Гондваной (не Гондвандой) именовали предполагаемый затонувший материк, который некогда соединял Индию, Южную Африку, Австралию, а может быть, даже и Южную Америку. Но он затонул еще во времена сумчатых и лемурув. Может быть, в XXII веке восстановили его или создали архипелаг плавучих островов на его месте? Нет, не похоже! В дальнейшем речь идет о малонаселенной степной стране. К тому же неясно, почему не Гондвана, а Гондванда? Кто-то из моих друзей предположил, что так стали называть Антарктиду, освобожденную ото льда. Но такое освобождение подняло бы уровень океана на десятки метров, затонули бы многие столицы; в тексте ничего не говорится об этом. Паго-Паго тоже затонул бы, между прочим. Другой мой приятель припомнил, что некогда, во времена Гулливера, Австралию называли Ван-Дименовой Землей. Не отсюда ли конец слова «ванда»? Но что означает начало — «гонд»? Какие-то острова еще присоединили к Австралии? Короче, я сдаюсь, я развожу руками. Признаюсь, что не знаю, где находилась эта волнующая Юша Гондванда. Ясно только, что это была обширная страна, ее считали материком, малонаселенная и засушливая. А Юш Ольгин как раз и был специалистом по планировке в таких зонах.

Еще раз прошу извинения, и пусть он сам рассказывает о себе.

Добрых полгода я изучал условия конкурса. Разбудите меня, я спресонок прочту лекцию о населении, растительности, климате, осадках, господствующих ветрах и пожароопасных лесах Гондванды. Но сейчас не о географии речь. Сначала надо было разобраться в себе самом. Зачем ввязался я в тот конкурс на склоне лет. Стоило ли?

Но и тогда, и сейчас думаю я, что любой человек несчастлив без движения, без продвижения. Человеку скучно повторять себя, он должен расти вверх, вширь, вглубь, куда-нибудь расти. Не обязательно обгонять других, но себя превзойти обязательно. Скучно и стыдно стоять на месте. Мне лично неприятно, когда хвалят мои аральские планировки. Мне чудится скрытый упрек: «Что же ты, голубчик, пятишься? В молодости мог, а сейчас ослаб?»

Конечно, решил я на рывок непомерный: последний район на Керулуне был у меня на сто тысяч жителей, а Новая Гондванда собиралась принять сто миллионов, в дальнейшем еще больше. Разница в три порядка. Совершенно другой уровень, другой подход. Ничего не поделаешь — демографический взрыв!

Уровень другой, другой подход, выше собственной головы надо прыгнуть в тысячу раз. Само собой не получится. Не просто стараться, напрягаться надо, все силы ума напрячь.

И напрягался я, и старался.

Старался и напрягался — содержание целого года жизни.

Содержание года работы всего нашего бюро, всей проектной конторы, где я был мастером.

Но все же настал момент, когда в выставочном дворце столицы Гондванды, в зале, отведенном для нашего проекта, расставил я модели и макеты, экраны развесил по стенам, полюбовался, кое-что повернул к свету, кое-что отвернул, чтобы лучше смотрелось, вздохнул и направился в соседние залы, поглядеть, что напридумали соперники.

Основных-то я знал давно. Всё опытные планировщики, все, как и я, работали в сухих степях — в Африке, в Мексике, на Ближнем Востоке, на Дальнем. Я их знал, они меня знали, встречались мы на конференциях, приглашали друг друга для консультации, советовались, советов не слушали, гнули каждый свою линию. В общем, представлял я, что они предложат, и не ошибся в догадках.

Из Марокко прилетел Бебер, крутолобый, чернобородый, сердитый на вид, с насупленными бровями, немец родом, или голландец, или швейцарец, не помню точно, да и кто с этим считается в наше время, когда все доклады делаются на эсперанто. Знал он невероятно много, подавлял всех нас цифрами, датами и цитатами, латинскими и греческими преимущественно. Говорил медлительно, внятно, частенько повторял фразы дважды. Как бы стыдил невнимательных и непонятливых, внушал, что в его речи каждое слово имеет вес. И весомые слова припечатывал решительным «Сик!». Так, дескать, а иначе никак! Только так, и прошу запомнить!

Говорил же он обычно о том, что архитектура прежде всего искусство, художество и сильно оно художественной выразительностью, должно волновать, брать за живое, душу задевать. Это и есть единственный критерий, главная проверка художественности: задевает или не задевает, не профана, конечно, а мастера — знатока? Говорили еще, что души тонких ценителей отзываются на высокое искусство, а самое высочайшее — вершина вершин — это искусство античное, древнегреческое и римское, тогда были выработаны каноны и найдены идеальные формы. Поэтому самонаивнейшее для архитектора — знать наизусть и чувствовать ордера по Палладио, вжиться в золотое сечение, изучать пропорции храмов эпохи Перикла и не стесняться использовать увражи старых мастеров, потому что у красоты есть свои законы, они были найдены античными зодчими, а всякие новации — только отклонение от идеала.

«Не стыдно повторять хорошее,— твердил Бебер,— стыдно навязывать свое плохое... навязывать свое плохое. Сик!»

Само собой разумеется, в его проекте в типовых городках в центре был холм, своего рода Акрополь, на подходе — Пропилеи, наверху — городской совет или клуб с внешней колоннадой, очень похожий на афинский Парфенон (колонны ионические, на фризе — триглифы, бычьи черепа на метопах). Все очень грамотно, проработано, прорисовано, классично. Я повздыхал с завистью — не черной,— я бы не мог так войти в дух классики. И подумал, по правде говоря, что не отказался бы пожить в этих гондвандийских Афинах. Рай для архитектурной школы. С детства впитываешь классическую красоту.

С Дэн Ши мы часто встречались в последние годы. Работали же поблизости: я — во Внешней Монголии, в

Гоби, а он — в Ордосе, в Монголии Внутренней. Районы соприкасались, приходилось согласовывать дороги, посадки, сообща что-то строить.

Дэн Ши был мал ростом, почти тщедушен; все у него было невелико — глаза щелочками, редкие усики, редкая бородка, даже и голова небольшая, — но сколько же цифр, сведений, формул, фактов и теорий умещалось в этом небольшом черепе! Память необыкновеннейшая! Дэн Ши знал все о новейшей технике, знал глубоко и прочно, помнил твердо, цифры приводил наизусть, ни разу не заглядывал в справочники. Зная технику, уважал и науку, уважал установленные законы. Возмущался, уличая собеседника в невежестве, а невежеством считал всякое отклонение от правил, всякое несогласие с правилами — «самонадеянную самостоятельность, непозволительное дилетантское оригинальничанье».

Можно представить себе, как возмущал его Альба. Впрочем, об Альбе потом, не обо всех сразу. Альба тоже участвовал в конкурсе, приехал в Гондванду вместе с нами со всеми.

Пожалуй, на архитектурных вкусах Дэн Ши лежала тень прошлого, воспоминания о скудных временах, когда надо было срочно дать крышу над головой всем поголовно. Разные страны в разное время проходили эту «крышную» эпоху в архитектуре, многолюдная и бедная родина Дэн Ши позже тех, которых называли в XX веке развитыми. И дух той эпохи не окончательно выветрился. Вообще дух выветривается долго; мастера проповедуют ученикам рациональность в архитектуре, ученики, привыкшие к рациональности, сами становятся учителями, пишут учебники, по ним учатся ученики учеников и учат своих учеников. Рациональности. А рациональное рационально — кто будет возражать против экономичности и удобства?

«Архитектор должен быть грамотным», — твердил Дэн Ши. (Подразумевал: «Должен считать и рассчитывать».) «Архитектор должен быть архитектором», — убеждал нас Дэн Ши. Мы соглашались, мы сами это изрекали, но понимали каждый по-своему. Дэн Ши считал, что «быть архитектором» — это значит быстро представить проект для быстрого и дешевого строительства. Старинное слово «дешевый» в наше безденежное время означает минимум материалов, энергии, рабочих рук, механизмов и рабочих часов. В конечном итоге все же пересчитывается на время.

И Дэн Ши сделал проект типового дешевого городка. Он был тесноват, но компактен, обходился без внутриго-

родского транспорта, пешком можно было дойти в любое место за десять минут. Городок быстростроимый. Организация была продумана на зависть, хоть сейчас ставь кварталы на конвейер. Ансамбли же Дэн Ши не стал разрабатывать, только отвел для них место: вот городская площадь, здесь будет городской совет, здесь Дворец культуры. Позже, на досуге, сидя под надежной крышей в теплой и сухой комнате, жители сами решат, какими сооружениями они украсят свой городок.

Свой зал Дэн Ши завесил планами, схемами и таблицами. Перспектив совсем немного — две или три.

— Смотреть нечего, — шепнул мне Бебер.

А я ответил:

— Если в Гондване решили начинать стройку завтра с утра, предпочтут Дэн Ши, как ни обидно.

— Но это не по условиям конкурса, — возразил Бебер хмуро. — Конкурс был на архитектурный проект, не на организацию работ.

И с тем мы перешли в зал третий, смотреть проект Альбы.

Альба, в противовес своему имени, был жгучим брюнетом с волнистыми кудрями до плеч, высокий, стройный, любимец женщин наверное. Но больше всего на свете он любил спорить, даже больше, чем проектировать. Голова у него ломилась от идей, иной раз мне казалось, он нарочно придумывает что-нибудь несусветное, лишь бы поспорить досыта. И с Бебером и Дэн Ши они схватывались на каждой конференции, ни в чем не могли согласиться, ибо, будучи современниками, они жили тем не менее в разных веках. Бебер — в устоявшемся, отполированном времени, покрытом золотистой патиной почета прошлом. Дэн Ши — в настоящем: хлопотливо-торопливом, перегруженном сегодняшними неотложными заботами, сиюминутными затруднениями. Альба же — в радужном будущем, даже не в нашем веке и не в следующем, а в том, который придет после следующего.

«Мы строим для будущего, — любил повторять Альба. — В наших городах поселятся люди будущего с их невероятно дерзкими идеями. Мы вдохновлять их должны своей архитектурой».

Вдохновения ради он разукрасил свои мексиканские стройки самыми фантастическими сооружениями — шарообразными, грибообразными, Т-образными, похожими на вешалку, на решетку, на башню из детских кубиков, на спиральную пружину. Смотришь на его проекты, только

головой поматываешь: «Ну и ну! И это держится? И не рухнет?»

Однажды рухнуло. Был у Альбы такой случай на Гвадалахаре. Но кажется, там и вулкан был виноват, не только архитектура.

Конечно, и для Гондванды Альба придумал нечто особенное — искусственные горные хребты. Природа обделила этот материк высокими горами, нет здесь склонов, на которых оседали бы снега, копились ледники, как у нас на Памире и Тянь-Шане, нет здесь kloкочущих потоков, вытекающих из-под льда. Но если природных гор нет, Альба предложил технические, надувные, этакий брезентовый плащ на каркасе. Когда требуется дождь, его надувают, влага оседает на склонах, стекает в канавы. Накопилось достаточно — воздух из горы выпускают, надувают другую или аккумуляторы заряжают.

— Бред! — шепнул мне Бебер. — Всерьез никто не примет. И зачем приглашают Альбу? Опять затеет спор ради спора.

— Может быть, надеются истину выявить в споре, — ответил я.

Альба предложил не только горы, но и дома пневматические. Опять вздыхал я: мне в голову не пришло. Мы в Монголии не применяем архитектурную пневматику, для зимы она не годится, но в мягком климате Гондванды очень даже удобна. В городах надо только фундаменты наметить и подвести к ним трубы. А дальше фундаментовладельцы действуют сами. Выбрали квартиру по каталогу, привезли, накачали — и живи! Не понравилось — спусти, сложи, отвези ненужный дом, поставь на тот же фундамент другой. Тесно? Добавь еще один к задней стенке.

— Временное жилье. Полевой стан для сезонников, — ворчал Бебер. — Не город — перекасти-поле. Ни намек на архитектуру.

От Альбы мы перешли в зал Гасана — аравийского планировщика. В свое время я познакомился с ним заочно по его книге «Архитектура — это природа». Прочел в предисловии рассуждение о том, что человек — часть природы, что связь его с природой неразрывна, вне природы человек расчеловечивается, губя природу, губит себя, что жилище должно не отгораживать человека от природы, а связывать его с окружающей средой. Главное в доме не стены, не спальные ниши, а окна, террасы, балконы, двор и сад — выход в пространство. «Архитектура — это организация естественного пространства» — так утверждал Гасан.

Еще в той книге очень много говорилось о двориках, садовых скамейках, беседках, гротах, клумбах, аллеях, а больше всего о тени, о проектировании тени в городах, о сравнительной целебности тени виноградников, орехов, бананов и пальм, так что у меня заочно сложилось представление о Гасане как об очень полном, маслянисто-смуглом, восточном сибарите, дремлющем над кальяном. На деле же Гасан оказался худым, мускулистым спортсменом, любителем верховой езды. Лично для себя в природе он искал простор, безлюдье, пустоту, первозданную пустыню. Просторы, чтобы мчаться во весь опор с арканом за антилопами, сохраненными ради охоты. Просторы — для настоящего мужчины, для ленивцев — ухоженные садики. Чем-то напоминал он моего отца. Тот же мотив: для вас — благоустройство и уют, для меня — нехоженная дикость.

О сбережении дикости и беспокоился Гасан в своем проекте. Планировал парки, сады, заповедники, о пустыне думал больше, чем о городах. Но и лозунг нашел подходящий. Над своими подрамниками вывесил плакат: «Гондванда была и будет Гондвандой».

— Если в жюри сидят кенгуру — победа будет за Гасаном, — съязвил Бебер.

Я же подумал, что он прав отчасти: все зависит от установки жюри. Если самое главное — сохранить гондвандийское в Гондванде, жюри предпочтет Гасана. Если хотят соревноваться с музейной Европой, победит Бебер. Если торопятся, стремятся выиграть время, поскорей устроить переселенцев, тогда примут за основу план Дэн Ши. Если же, как оно и полагается, пекутся об удобном жилье для работника, тогда все шансы у меня. Я-то больше всех думал об удобствах.

Так что есть у меня шансы, есть! А прочее от меня не зависит. Каков настрой у жюри, заранее установку не знаешь.

Ну вот обошли мы впятером пять наших залов, вежливо отметили достоинства, про себя запомнили недостатки, критиковать не стали, мы не участники обсуждения. И кто-то из нас, Альба кажется, предложил:

— Давайте посмотрим молодых.

Молодых соперников мы не очень опасались. Знали: у молодых зазор, идеи, талант... но опыта нет, глаз не наметан. Есть профессии, где опыт не играет решающей роли; бывали гениальные юные поэты, математики, музыканты, гениальные молодые эмоционалы, сказал бы я. Не пре



помню гениальных молодых теоретиков — философов, или психологов, или даже врачей. Обобщение требует опыта, опыт — времени.

Планировка — это обобщение.

Так что пошли мы к молодым, настроившись на снисходительность.

Что предполагали, то и увидели. Был блеск, был юмор, задор и напор, были идеи, краски яркие. Шли мы из зала в зал, улыбались добродушно: молодо-зелено!

Шли, шли и дошли до зала Нкрумы.

И замолчали. Раз обошли, другой.

— Мдамм,— сказал я. (Ничего выразительнее не придумал.)

Альба пожал плечами:

— Банально! Старо!

— Безграмотно,— проворчал Бебер.

— Это не Гондванда,— заметил Гасан.

— И не по условиям конкурса,— заключил Дэн Ши.

Я же ничего не добавил к нечленораздельному «мдамм». Потому что понял, что премию дадут именно этому неведомому Нкруме. Дадут потому, что он один сделал все, что мы пятеро, вместе взятые, но только гораздо интереснее; дадут, несмотря на неопытность, банальность, безграмотность, отклонение от условий (огрехи найдутся у каждого); дадут потому, что талант.

— Провалился! — сказал я себе.— Можно улетать.

Но все равно надеялся. Надеялся, как студент, запутавшийся на экзамене. Да, он разволновался, ошибся, забыл... Но: «Спросите еще что-нибудь! Я же так старался». Если педагог опытный, сам сдавал когда-то, должен же он понимать, что на самом деле я старательный, я прилежный. Ну вот он задумался (ага, колеблется!), берет ручку, взвешивает, сейчас поставит отметку... Неужели минус?

Я надеялся, как начинающий поэт, впервые решившийся поместить стихи в «Альманахе начинающих». Да, он молод, неопытен, несамостоятелен, сам знает свои недостатки. Но не одни же сплошные недостатки, есть же и достоинства. Стихи так хорошо звучали, когда он читал их вслух на вечеринке, девушки аплодировали, одна особенно, просили еще и еще почитать. Значит, что-то в них есть, что-то такое, этакое, привлекательное. Может быть, иногда он небрежен, иногда суховат, рассудочен, идет от ума. Но девушки почувствовали же сердцем. И другие простые читатели (читательницы) почувствуют, прочтут, оценят...

Надеялся я, как отвергнутый влюбленный. «Нет! — сказали ему категорически.— Нет, не люблю, не нужен!» А он не хочет верить безжалостному «Нет!» и перебирает прежние благосклонные взгляды и ласковые улыбки, может, и не ласковые, вежливые только, твердит себе, что женщины по натуре своей изменчивы, капризны, склонны играть, испытывая прочность чувства, даже подогрывать напускной холодностью. Может быть, она отказала под влиянием настроения, не то имела в виду, не те слова подобрала, а завтра не те слова скажет сопернику. Он уйдет, а я останусь, и она увидит, где настоящее чувство.

Надеялся я... но это уже книжный пример из прошлого, не житейский... как преступник, выслушивающий приговор.

Да, он знает, что нарушил закон, много вреда принес, его накажут, и основательно. Но вот присяжные перешептываются, и у судьи лицо совсем нестрогое, а защитник так убедительно объяснял особые обстоятельства: тяжелое детство было у преступившего, и скверные товарищи, и слабый характер, и болезненность, и окружающие просмотрели, проявили равнодушие, не помогли, не поддержали своевременно...

Да-да, не помогли, не поддержали беднягу!

Суд идет!

Именем закона...

Неужели не скажут в конце: «Принимая во внимание то и то... от стражи освободить!»

Да, понимал я, что архитектура у Бебера проработана лучше, что у Дэн Ши продуманнее организация производства, Альба потрясает выдумкой, Гасан лучше сохраняет природу, но ведь природа для людей, а не люди для природы, в конце концов. А Нкрума хотя и талант, но сырой, совсем сырой, необработанный. И кто-то должен же заметить, что к людям всего внимательнее... Кто?

Юш Ольгин, проявивший...

Нарочно сел я в сторонке, чтобы не видели знакомые мое волнение.

И было сказано:

— ...принимая во внимание все упомянутое, жюри считает, что разработку проекта следует поручить...

Пауза.

Екнуло сердце. У меня... и не у одного меня.

— ...поручить архитектурной мастерской Вадувау во главе с мастером Нкрумой.

Потом были еще отмечены особо архитектурные достоинства Бебера и организация строительства у Дэн Ши.

Юш Ольгин не был упомянут. Не удостоился.

* * *

Я тяжело воспринял поражение, воспринял как окончательный жизненный провал. И не утешали меня разумные доводы разумных друзей о том, что первый блин комом, на ошибках учатся и за битого двух небитых дают, что в следующий раз, учтя все промахи, недоделки и тому подобное...

Я-то понимал, что следующего раза не будет. У меня завершается шестой десяток, я доживаю, я пошел под

уклон. Через считанные годы заслуженный отдых, а в считанные годы не будет конкурсных проектов такого масштаба. Не так много континентов на Земле. Что еще осталось? Антарктида. Да не будут ее отеплять, сто лет пишут, что отепление Антарктиды — катастрофа для природы Земли. А я уж так настроился командовать материком, ну не командовать, это я преувеличиваю, но мог бы сидеть рядом с величайшими умами планеты, обсуждать с ними изменение климата, изменение демографии, изменение экономики материков, судьбу человечества обсуждал бы. Вставал бы, прося слова: «С точки зрения интересов архитектурного облика...» И получилось бы, что я, Юш Ольгин, влияю на облик мира... ну, не всего мира, Центральной Гондванды, но все же след оставляю на Земле. Заметный след и на много десятилетий.

Сорвалось!

И не в самолюбии суть. Личность мою оценили на конкурсе. Огненными буквами выписали: «Мене. Текел. Фарес» («Измерено. Взвешено. Определено»). Это твой рост, товарищ Юш Ольгин, это твой потолок. Ты добросовестный планировщик районного ранга и не более того. Аймак в Гоби, еще один аймак, еще один... Аймак, но не материк. Архитектурный облик района, но не континента. Жизненная задача твоя — чьи-то наметки привязывать к конкретным холмам и долинам.

Именно так и понял мое жизненное назначение победоносный Нкрума. Он предложил мне принять участие в его проекте, написал, даже лично явился уговаривать. По-знакомились мы. Красавец мужчина двухметрового роста, скульптурные плечи, выпуклый лоб под курчавыми волосами, лицо черное, а профиль арабский, эфиопский. Но я отказался работать с ним. Не видел смысла. Мои схемы и методы — не секрет, их можно использовать, а добавлять мне нечего, весь я выложился за год. Его идеи разрабатывать? Не тянуло. Всю жизнь разрабатывал чужие идеи. Оригинальности мне захотелось, самостоятельности. Но не вышло. Возомнил, вознесся, и поставили меня на место. Поставили, там и буду стоять.

Позже узнал я, что в отличие от меня Бебер и Дэн Ши сами предложили сотрудничество Нкруме. Но тут отклонил он, и правильно сделал. И Бебер и Дэн Ши полагали, что успех победителя случаен, они же, люди опытные, будут наставлять молодого метра, талантливого, но неумелого. Станут внушать ему, что в архитектуре главное — архитектура (Бебер), а для строительства главное — строитель-

ство (Дэн Ши). Нкрума понял, что не сотрудничество будет, а перетягивание каната.

А я и не собирался перетягивать. Не считал нужным. Да не видел, куда тянуть. В свою сторону? А где моя сторона? И лучше она, чем у Нкрумы?

* * *

О последующих годах мне рассказывать нечего, непримечательные были годы. Я продолжал работать на своем уровне, в пределах своего потолка, не пытался пробить его макушкой. Аймак, еще аймак, еще соседний аймак. Вдоль и поперек исходил, изъездил, излетал я Гоби. Меня ценили, со мной считались, мое мнение спрашивали. Но я частенько отмалчивался, потому что потерял уверенность в себе, не мог забыть, что рост мой вымерен и потолок оказался у самой макушки. А это очень грустно — упираться головой в потолок. Чтобы быть счастливым, человек должен расти — вверх, вширь, вглубь, — но расти непременно, делать больше, делать лучше, делать иначе, делать по-новому, только не повторять. Понимаю я теперь Тернова, почему ему хотелось сыграть Эйнштейна. Да потому, что знатоки сцены уверяли, что это не его роль.

Жизнь — движение, остановка — начало тления. Остановившийся начинает тут же пятиться. И, зная, что я остановился (или остановлен), я невольно прислушивался к себе, что именно я уже утратил. Забыл цифру — память теряю, плохо объяснил — соображаю хуже. Пришли советовать, да полно, нужны ли мои советы? Почтение к возрасту демонстрируют, обижать не хотят старика. Вот и комплименты говорят по поводу опыта. Искренние или подчеркнутые штампы уважения. А выйдут за дверь, рукой махнут.

Да, самолюбие у меня. Но не только самолюбие, еще и добросовестность. Помню я, что склонен возомнить, к материковому масштабу возносился. Так, может быть, и в районном масштабе возомнил, кичусь опытом, стою на месте? Стою, место занимаю, освобождать пора. И снова и снова тщился я подражать Нкруме. Не получалось. Вижу сам: потею, высиживаю, высчитываю варианты, а он их набрасывает походя.

Потому что талант!

А я не талант.

Так вот, дорогой мой Эгвар, для вас все это пишется, для вас я рассуждаю. Я хочу быть талантом, таким, как Нкрума. Хочу схватывать на лету, не высиживать идеи, а ловить их и разбрасывать щедро. Хочу потрясать работоспособностью, успевать в сто раз больше нормальных людей. Хочу восхищать бывалых опытных Юшей Ольгиных, вызывать зависть (хорошую) Дэн Ши и не очень хорошую Беберов. Хочу возвращать Гасанов из прошлого, а всяких Альба ставить на твердую землю сегодняшнего дня. Хочу создавать облик материков, а не районов. Хочу быть талантом, и признанным.

Считаю, что каждый имеет право на талант.

Пусть это впишут в основной закон нашей планеты. И прошу приступить.

Г л а в а 4-А

Добродушное лицо моего куратора появилось на браслете через неделю.

— Наберитесь терпения,— сказал он.— Некоторая задержка получается. Ваш теперешний образец молод, у него природная первая молодость еще не прошла, он не обновлялся ни разу и не проходил мыслезапись, как ваш отец или артист Тернов. Мы попросили его записаться, объяснили, что это нужно для вашей будущей жизни. Он дал согласие, но не сейчас, хочет отложить месяца на два. Какое-то срочное обсуждение у него предстоит. Я пытался поторопить, ссылаясь на то, что неделикатно было бы задерживать ваше омоложение. Тогда он обещал специально для вас наговорить ленту — изложить собственное мнение о себе. Итак, что он сам о себе думает, вы сможете узнать в ближайшее время, а что на самом деле чувствует — месяца через два. Лента прибыла. По-моему, там есть материал для размышления. Если не возражаете, я запакую ее и pošлю пневмо.

И вот, удобно расположившись в домашнем кресле для легкого чтения, я слушаю монолог Нкрумы. Голос молодой, звонкий, уверенный, привычка распоряжаться ощущается в этом голосе. Нкрума не очень тверд, видимо, в эсперанто, поэтому строит самые простые предложения, слова произносит старательно и с паузами — возможно, подыскивает

точный термин. Впрочем, это общее впечатление. К тексту отношения не имеет.

Уважаемый мастер Ольгин!

Я рад, что могу быть полезным для вас. Если смогу. Усилия приложу. Куратор Центра Омоложения сказал, что вы считаете меня очень талантливым человеком. За высокую оценку спасибо. Я чрезвычайно ценю ваше мнение. Всегда внимательно изучал ваши проекты, считаю вас одним из своих учителей.

У меня действительно хорошие способности. Заслуга не моя, такие гены я получил от родителей. Учение давалось мне легко: я схватывал на лету и запоминал с первого раза. Учителя гордились мной, хотя гордиться не было оснований: им легкий материал достался во мне. И я сам гордился, совершенно неоправданно, свысока поглядывая на одноклассников, вбивавших в память то, что я вдыхал, перелистывая. Боюсь, что я бывал нетактичен, даже недобр, кичился своей сообразительностью, колол глаза тугодумам. Но ведь и педагоги непедagogично расхваливали меня, ставили в пример не только ленивым, но и малоспособным. И напрасно! Неспособные не могли мне подражать, а прилежным я и сам не был... хватал знания походя.

Как полагается, меня прикрепляли для помощи к отстающим. Боюсь, что это принесло им мало пользы. Помню напряженные глаза милых моих соучениц, наморщенные черные лобики под косичками-шнурочками. Милые девочки, начисто лишенные пространственного воображения, ну ничего-ничегошеньки не понимали они в плоскостях, координатах и в проекциях на плоскости. Я же со своей стороны не понимал, как можно не видеть то, что бросается в глаза, злился на бедных девочек, презирал их и высмеивал. Возможно, они были бездарными ученицами... но ведь и я был бездарным наставником.

Дошло до меня это уже в старшем классе.

У нас в Африке традиционное уважение к диспутам ученых, ораторов, поэтов. Школьников тоже готовят к диспутам, два раза в год устраивают встречи команд. Команду выставила и наша школа, меня — первого из первых — назначили капитаном. И короче, провалились мы. Имел удовольствие я услышать, что последнее место заняла школа номер... капитан команды Нкрума.

— Ну не виноват же я, что у нас школа такая бездарная, — плакался я в кабинете директора. — Почему меня

позорят, меня называют последним? Почему вы способных ребят не нашли, не подобрали?

И услышал:

— Правильно позорили. Никчемный капитан. Знал, что команда слабая, не готовил, свое умение не передал.

— Как я могу передать? У меня само собой получается.

— А если у тебя само собой не получится? Как будешь выходить из трудного положения? Значит, нет настоящего умения. И чужих слабостей не знаешь, и своих собственных. Ты в себе разберись, что у тебя получается и как. Разберешься, тогда и других учить сможешь.

Спасибо директору, заставил он меня заниматься и самоанализом. В самом деле, что у меня получается и как?

Много я думал об этом в школе, позже в студенческие годы и в архитектурной мастерской тоже. Отлилось в короткое: два у меня достоинства — я сразу вижу все и сразу же вижу главное.

Другие, кто послабее, видят мир плоско, как бы с одной стороны, и нередко на этой первой стороне застревают, направо-налево не заглядывают, о тылах и изнанке не помнят вообще. Видят только фасад и выносят оценку по простейшему принципу: хорошо — плохо. Если хорошо, дальше не идут, вцепились и отстаивают, прославляют, продвигают хорошее, лучшего не ищут. Древний подход, биологический. Унаследован от звериных наших предков. Им надо было мгновенно ориентироваться: враг перед глазами или лакомство? Хватать или спастись?

И если стоит дилемма хватать или спастись, черно-белый подход этот достаточен. Но для созидания такой примитив непригоден. Созидание не укладывается в «крошить» или «лепить». Крошить-то можно все одинаково вдребезги, но лепится каждое тело по-своему.

О лепке говорю потому, что всегда меня тянуло к скульптуре. Живопись мне представляется плоской, искусственной, а рисунок — неполноценной, предварительной работой. Но это дело вкуса. Я не виды искусства оцениваю, я себя анализирую, свои склонности. Лично я склонен к объемному видению. Для зодчества же основное — объем и взаимосвязь. Все влияет на все, ни убавить, ни прибавить. Мало того: убавляя, прибавляешь. Если стесал правое плечо, левое вырастает само собой. Человеку с объемным видением такое понимание дается подсознательно, а плоско видящему надо помнить об объеме, думать об объеме, не забывать об объемности. Так, ребенок о каждой букве

думает, прежде чем сложить из нее слово, мы же, взрослые, скользим по строкам, слизывая смысл на ходу.

Вот мне, объемно видящему, и поручили обучать объемному видению сначала соучеников, так называемых отстающих, потом сотоварищей, потом помощников в мастерской.

Впрочем, тут я забегаю вперед. Тогда в школе я сформулировал только основу: «Я вижу объемно, другие — плоско». И пуще возгордился: такой уж я особенный!

Объемное видение привело меня в архитектуру, искусство пяти фасадов, а оттуда в планировку, где объемы надо еще увязывать со всем на свете — с природой и экономикой. Но планировка — коллективный труд. Тут ты не в мастерской, не наедине с дисплеем. И как же я был ошарашен, когда из всех, из всех вновь принятых, я один не получил самостоятельную группу. Я дулся, я обижался, я злился, я ничего не понимал и считал, что меня не поняли. Я же видел, что другие работают проще, плоско. Хотел все бросить, бежать прочь...

И тут меня вызвал шеф, мастер Нкаму, вы знаете его, конечно. Уже тогда был стариком, с седым ежиком над бледно-коричневым лбом, сморщенный, сутулый. Не знаю, почему не омолаживался. Кажется, срок пропустил, промедлил. И повторил он, как мой школьный директор:

— Нкрума, вам надо задуматься над собой всерьез. У вас от рождения особенный дар: вы видите мир объемно. Вам дано чутье, и вы позволяете себе не думать. Вы видите чужие ошибки, но не привыкли их выражать словами, поэтому никого не умеете поправить. Это еще полбеды, можно бы оставить вас и младшим в мастерской, но вы и младшим будете прескверным, потому что у вас чутье, вы не привыкли себя проверять и упустили то-то, и то-то, и то-то...

Он перечислил все мои грехи, у меня глаза на лоб полезли от их обилия.

— И позвольте мне, чутья не имеющему, — продолжал он, — позвольте рассказать, как мы, простые люди, решаем задачи, планировочные в частности. Мы рассуждаем... как в самой-самой первоначальной математике. Дана задача, даны условия задачи. Как будете решать? И не торопитесь хвататься за калькулятор. Я знаю, что вы умеете умножать и делить. Считать будете позже, считать придется достаточно много, и даже не вам, и не только то, что бросилось в глаза в первую секунду. Я знаю, что вы умеете играть

пальчиками на калькуляторе. Но сначала прочтите раз, и два, и три, пока не запомнили ВСЕ условия, не усвоили ВСЮ задачу. Определите главную цель. И не воображайте себя первым и единственным создателем на планете. Такие цели, такие задачи ставились и решались. Как? Информацию накопили? Знаете метод первый, второй, третий, двадцать третий? Какой из них самый подходящий? Применили, результат получили? Попробуем другой метод... и еще один. Какие решения лучше? А наоборот нельзя ли? И что там видно на обратной стороне, что прорастает на изнанке? Сравнили? Выбрали? Устранили помехи? А теперь проверка.

Тот урок Нкаму я затвердил на всю жизнь. Повторяю себе, повторяю помощникам: задача — условия — метод — методы — выбор — изнанка.

И обязательно проверка. Сейчас тоже проверяю себя. Прослушал текст. Чувствую: декларативно, без примеров неубедительно. Но пример нам искать недолго. Расскажу, как я приступал к проекту «Зеленая Гондванда». Условия вы знаете, можете сравнить свои рассуждения с моими. Если найдете различие, вероятно, где-то рядом причина моего успеха. Если же не найдете, тогда вся моя заслуга в том, что я моложе, выносливее, успел больше. Кроме того, я у вас же учился, у вашего поколения стоял на плечах, я знал, что вы придумали в своей жизни, а вы обо мне не знали.

Итак, условия задачи.

Дана Гондванда, точнее, будет дана озелененная Гондванда — просторная степь с садовыми оазисами, где предстоит расселить сотню или сотни миллионов жителей, преимущественно в небольших городах. Требуется спроектировать типовой город...

Не пересказываю раздел первый брошюры о конкурсе, вы ее знаете сами.

Типовой город — рациональный, удобный, здоровый и красивый. К четырем этим определениям сводится раздел второй — сорок восемь страниц убористого текста.

Какое из четырех прилагательных главное?

К счастью, я не первый человек на Земле, не первый архитектор, ни во времени, ни по качеству. Есть опытные мастера, некоторые из них — мои соперники. Кто именно? Я постарался разузнать; узнав имена, угадал, что вы предложите. Не так уж трудно было. Не первый год вы работаете, у вас свой стиль, свой подход, свое отношение. Я же вас изучал, мне вы подставили свои плечи.

Итак, какое из прилагательных главным сочтете вы, мастера?

Я знал проекты Дэн Ши и знал, что главное для него — рациональность. У Дэна неистребим дух скудного XX века. Была бы крыша над головой, много-много прочных крыш для миллиарда сухих и теплых комнат без всяких излишеств, без украшения, но построенных быстро, без проволоки, так чтобы не мучить новоселов палатками. «Встретим переселенца с ключом от квартиры» — вот лозунг Дэна. Всех нас он потрясает строительным конвейером. Жюри будет ясно: это надежные руки. Если строительство поручить Дэну, переселенцев можно приглашать хоть сегодня.

Я знал ваши проекты, мастер Ольгин, и догадался, что вы сочтете наиглавнейшим — удобство. Вы очень точно уловили дух XXI века — тенденцию слияния квартиры с мастерской. Слияние органичное, поскольку свободного времени у нас больше, чем служебного, и поскольку современные селекторы позволяют проводить совещания, не созывая участников. Но если сослуживец твой на экране, нет разницы, где висит экран: в служебном кабинете или в спальне. И если управляешь машинами по радио, простенькими сельскохозяйственными тракторами и комбайнами, неважно, где находится пульт: в специальной мастерской или у тебя на чердаке. Мне нетрудно было догадаться, что в проекте Дэн Ши будет множество стандартных домиков, таких полевых вагончиков, переставленных с колес на фундамент, а у вас просторные нестандартные квартиры для землеробов-астрономов, землеробов-музыкантов, землеробов-художников, химиков, философов.

Угадал я? Сами знаете, что угадал.

И угадал я, что мастер Бебер, проповедник архитектуры для архитектуры, предложит великолепнейшие ансамбли в высоком классическом стиле. И угадал также, не вижу в том никакой заслуги, что Альба придумает что-нибудь потрясающее. Что именно, предвидеть я не мог, я сам не склонен к сенсационности, но Альба в увлечении собственными идеями кричит о них на всех перекрестках. Возможно, не очень надеется на воплощение, хочет хотя бы идею заронить. Надувные горы меня не вдохновили, по-моему, это из области научной фантастики, но кое-что Альба мне подсказал, признаюсь об этом позже.

И конечно же, угадал я направление проекта Гасана. Всю жизнь во всех изданиях он твердил: «Природа! При-

рода! Природа!» Человек не расстается с природой, природа входит в двери и окна, ценность жилья в тесной связи с природой! Не сомневался я, что в проекте Гасана больше всего будет природы, дома на заднем плане. Даже угадал девиз его проекта «Гондванда была и будет Гондвандой».

Но разве пустыня останется пустыней, если ее оросят?

Ну вот, сформулировал, мастера, я ваши точки зрения, сложил их мысленно рядком в своей голове, задумался о ваших достоинствах и спросил себя: чем смогу превзойти вас я, жалкий начинающий? Есть ли у вас слабости? Хотя одна?

И нашел. Обычную. Стандартную. Частую. Самую распространенную.

Однобокость.

Не называю ее плоскостным мышлением, не того ранга вы люди. Но у каждого из вас своя сильная сторона, вы на нее надеетесь, нажимаете, развиваете, выпячиваете, делаете главной в своем проекте.

И в результате вы, мастер Ольгин, проектируете удобный город, Дэн Ши — рациональный, Бебер — красивый, Гасан — здоровый, а мастер Альба — новый. Тогда как нужен новый, здоровый, красивый, рациональный и удобный.

Чем же я могу взять? Всесторонностью.

Сейчас припоминаю, что первым мастер Бебер навел меня на идею универсальности. Первым навел, ибо из всех вас он самый односторонний.

Я знаю, что мой соперник — великий знаток античной архитектуры, высочайшей вершины зодчества. Высший знаток высшей вершины! Как превзойти такого?

Но полно, в самом ли деле высшей вершиной был храм, построенный Фидием на холме над Афинами? А если был, почему же потомки не повторяли его во всех городах всех стран и материков? Чего ради сооружали они готические стрелы и нарядные русские луковки, витые мавританские колонны, загнутые крыши пагод? Зачем творили несовершенное после самого совершенного? От глупости, от тупости, от невежества, от заблуждения, от падения мастерства и вкусов?

Кельнский собор, Нотр Дам де Пари, храм Василия Блаженного, Тадж Махал в Агре, Альгамбра! Это — падение вкуса?

Да нет же, нет, не падение! Новые времена, новые вкусы, новые взгляды, в каждой стране, в каждую эпоху свои.

Но если так, с какой же стати навязывать всем переселенцам из всех стран вкус мастера Бебера?

Пусть греки порадуются в каком-то городке Акрополю, а немцы — готике, а турки — минаретам, а китайцы — пагоде.

Для каждого народа — город с родной архитектурой. Ненавязчивый эталон красоты. Разнообразие.

Многообразие!

Отсюда пошло все прочее. Пикам вашего мастерства, одиноким пикам на плоской равнине, решил я противопоставить живописное разнообразие. Типовая разностильность. Связь с природой, но не обязательно гондвандийской. За городом — Гондванда, в городе — ботаническая родина. Центральный ансамбль — архитектурное прошлое переселенцев: Акрополь, Ситэ, Ангкор, пирамида, а для новизны, для будущего, не резиновые горы, но центр за-втрашной техники, музей следующего века. Главная улица от городского центра — к музею, от сегодняшнего дня — в послезавтрашний. Молодежь тянется к будущему. Там и спорт, там клубы, танцы... там и наука.

Все это сложилось сразу, не мгновенно, но в один вечер, за несколько часов. Одно к одному, как бы в пазы входило, заранее подготовленные. Главное, стержень нашелся — единство разнообразия. В каждом городке — архитектурный центр, но стили разные; в каждом городе — ботанический сад, растения разные; везде полигон XXII века, на каждом полигоне — свои чудеса. Все это мелькало в голове, хороводилось: башни, купола, шпили, маковки. Такой силуэт, такой, еще и такой! Хотелось включить десяток дисплеев, тут же наброски делать. Лицо горит, кровь стучит в висках, грудь ширится. Кажется, будто хмельного выпил, будто на гору взошел, вершину попираешь, будто девушка, глаза опустив, сказала долгожданное: «Да, люблю!»

Не разрешил я себе схватиться за перо, заставил себя лечь в постель, хотя спать не хотелось совсем. Заставил лечь, потому что не доверял вдохновению. Когда несет по течению, не очень разбираешь, что там мелькает в кустах на берегу. Впереди радуга, радуга, только и видишь радугу. Но утром на свежую голову начинаешь понимать, что радуга освещала только радужное. Мысли склонны перескакивать препятствия, им прямая дорога не обязательна. Прыжок в сторону — и несутся по другим рельсам.

Но и на свежую голову проверил я свой подход. Решил: стоит положить в основу.

Однако!

На основе той предстоит работа. А многообразие многотрудно. Емко. Трудоемко. Вы, мастера, представляете на конкурс один типовой ансамбль, а я — много. Сколько? Штук шесть, по меньшей мере. Например: античный, готический, мавританский, русский, индийский, китайский. Вы проектируете один типовой домик, я — шесть. У Альбы — одна резиновая гора, у меня — шесть полигонов будущего. Ну, не шесть, но три-четыре нужно.

Итак, шестикратная работа. Ну, с шестью замыслами я справлюсь. Главное, мыслю быстро. Сразу вижу изъяны. Но ведь все еще нужно просчитать и изобразить. Нужны дельные помощники. Подсказать-то я им подскажу, важно, чтобы понимали и выполняли образцово.

Еще важно, чтобы не мешал никто.

Мешать могут, из практики знаю, и подчиненные. Тут неразрешимое противоречие. Желательно, чтобы помощники были самостоятельны. Поручил — сделали, принесли. И желательно, чтобы они были не чересчур самостоятельны, не своевольничали бы, чтобы не приходилось мне тратить часы, спорить до пены на губах, доказывая, что мой проект надо делать по-моему. Нашел я выход из положения. У нас разрешается брать младших с повышенным испытательным сроком — четырехмесячным. Тут тройная выгода: во-первых, есть возможность из многих отобрать самых полезных, самых старательных и самостоятельных; во-вторых, кроме старательных и самостоятельных, работает на тебя двойной комплект — постоянные и стажеры. Есть еще и третья выгода: отвергнутые не зря сидели свои четыре месяца, старались, что-то предлагали, вложили, все это в мастерской остается.

Но больше опасался я, что мешать будут сверху, и в особенности самые благожелательные.

Начальнику своему и учителю мастеру Нкаму понес я идею с самого же начала. Ждал оценки, как школьник в глаза заглядывал: что же скажет мой мудрый наставник?

Вижу, улыбается. Вижу, кивает головой одобрительно. И соглашается на просьбы. Согласен избавить от текущих заказов. Согласен насчет стажеров. Как же иначе? Победа на конкурсе — честь для мастерской. Честь для всей нашей страны. Столько веков унижали нашу расу, хочется же преодолеть комплекс неполноценности. Вот мы какие — и на всемирном конкурсе побеждаем!

Но насторожился я. Слышу: в советах Нкаму про-

скальзывает «мы». И даже «я»! «Я взял бы на себя... Я смог бы... Мне интереснее было бы...»

Казалось бы, естественно: Нкаму — мастер, Нкаму — учитель, Нкаму — глава мастерской. Его мастерская работает на конкурс — как обойтись без его участия? И что же получится? Идея моя, но при его участии, проект мой и уже не мой, под его руководством, его подпись первая. К тому же не такой человек Нкаму, чтобы ограничиться подписью. Он будет активно вмешиваться, работать, руководить. Могу уступить ему руководство? Я знаю, что Нкаму тугодум, осторожный, холодный и, как все пожилые, холоднокровные тугодумы, склонен к проверенным, испытанным решениям. Новшества он воспринимает с подозрением, непривычное будет долго взвешивать, выверять, откладывать. Но как победить на конкурсе без новинок? На конкурсе выделиться надо, заставить себя заметить. Увы, с дорогим моим Нкаму придется спорить о каждой запятой. Младшему можно указывать, младшему можно приказывать, старшему же придется доказывать, тратя часы на вежливый спор и уступая время от времени из вежливости. Нельзя же не соглашаться ни с одним замечанием умудренного опытом, уважаемого мастера. А уступать — это значит отступать, если не в главном, то в деталях. Но Нкаму — умный же человек, он поймет, что я отвергаю его советы, детальками жертвую для утешения. И будет у него копиться обида, накапливаться раздражение и недовольство. Стараясь быть объективным, он заставит себя согласиться со мной раз, два, а потом подсознательно проявит упрямство, не суть отстаивая, а свой авторитет. Так что ничего я не выиграю дипломатией, буду тратить время на пустую торговлю из-за престижа.

И я решил рубить сплеча.

— Мастер, — сказал я, — конкурсы — это извечная надежда молодых. Только на конкурсе могут заметить новичка. Я прошу разрешения выделить из мастерской независимую молодежную группу.

Бедняга, он даже посерел. Как-то съежился, постарел сразу. Губу прикусил, голову опустил, помолчал, беря себя в руки, выговорил наконец:

— Вероятно, вы правы, Нкрума. Составляйте список.

И голос сел у него. Так мне жалко было старика, захотелось извиниться, взять свои слова назад. Но подумал я тут же: «Придем мы, придем к тому же разрыву, только постепенно, в течение года накапливая недовольство. Постепенная обида слаще, что ли? И самое главное: не для

того же делаются проекты, чтобы утолить самолюбие каждого архитектора. Проекты делаются для жителей. Уступлю я Нкаму, ему будет легче, жителям похуже. Выбирать приходится в этой жизни».

— Железный ты человек,— сказала мне в тот вечер жена.— Так-таки и не пожалел старика? Ничего не шевельнулось в груди?

Никогда не мог понять до конца женщин. Жена меня очень любит, очень! Любит и уважает. Не раз слышал от друзей, что за глаза она меня превозносит, даже вслух называет гением, это уж чересчур. Но в глаза говорит только о недостатках. Даже выискивает недостатки, придирается к мелочам. То ли ей нужно, чтобы я был безупречным, как солнце, то ли, наоборот, я давя ее своим превосходством, хочется найти пятна на этом семейном светиле, что-то свое, независимое, противопоставить.

Что я ответил? То же, что и думал. Предпочитаю рубить сплеча, а не тянуть резину. Повторил, что проекты делаются не для архитекторов, а для жителей. Учителю легче — жителям хуже.

На своем стоял.

Ну а потом была работа, работа и работа. Младшие считали и чертили, а я направлял. Направлял, подправлял, перечеркивал. Все использовал: и вдохновение первой минуты, и дотошную последовательную проверку, и выверенные решения старых мастеров, и незрелые попытки стажеров, и накатанные приемы опытных помощников.

Как вы знаете, мы успели. Привезли в Канберру листы и подрамники.

Расставил я свои, посмотрел ваши. И сказал себе: «Не обольщайся, не обольщайся, Нкрума, не успокаивайся!» Есть у тебя козыри, но есть и недостатки, не может не быть. Первый: обратная сторона козыря. У тебя шире всех, но шире не значит глубже. Хуже того: твоя широта наведет на подозрение, что глубины у тебя нет. Значит, надо бы обратить внимание жюри, что и соперники твои не без греха: взяли узко, плоско, мелко, что они однобоки, однобоки, однобоки, упустили одно, другое, третье... пятое... пятисотое.

Возможно, мастер Ольгин, вы придерживаетесь других убеждений, считаете, что жюри виднее; там собраны самые мудрые, самые опытные, принципиальные и беспристрастные. Совершенно верно — собраны лучшие люди, но все же люди, со своими личными вкусами, пристрастиями,



взглядами на главное и сверхглавное. Ведь и вы все, мои уважаемые соперники, лучшие планировщики степной зоны, имеете свое мнение о сверхглавном. Для Альбы — новизна, для Гасана — сохранение природы, для Бебера — почтенная классика... не буду повторяться. Так вот и мне надо было подсказать жюри, что ваше мнение, мягко говоря, неполное...

Как же я мог подсказывать? Ведь общаться-то мне с ними не полагалось. Однако в пояснительной записке, излагая задачи, поставленные в проекте, я мог написать, что мы — африканские архитекторы — противники голого рационализма, лишаяющего архитектуру эстетической ценности,

намекая на прежние проекты Дэн Ши;

что мы в такой же степени противники тоскливого однообразия, скучной приверженности одному-единственному стилю,

имея в виду Бебера;

что мы строим города для современного человека и, отдавая дань традициям, не имеем права оставлять его наедине с природой, игнорируя все достижения цивилизации

(камень в огород Гасана),

и что мы, с другой стороны, строя города для современного человека, не считаем возможным гадать, что понадобится его детям и внукам, а отцов и дедов всю жизнь держать во временном, кое-как оборудованном жилье, тоже наедине с природой в сущности.

Это против Альбы с его резиновым жильем у подножия резиновых гор.

И так далее...

(Могут только догадываться, какие шпильки были заготовлены против меня. Нкрума не решился все-таки обижать меня в глаза, спрятался за невнятным «и так далее».)

С жюри мне не полагалось общаться, не полагалось критиковать соперников публично, но мог же я говорить о планировке вообще. Гондвандийские архитекторы попросили меня прочесть им доклад об опыте работы в африканском сахеле. Кое-что я мог подсказать и тут. Я уже знал лозунг, брошенный Гасаном: «Гондванда была и будет Гондвандой». И знал, что это красивые слова, ничего более. Материк пустынный и материк со стомилионным населением — не одно и то же. Что же касается архитектуры, у Гондванды не было собственных традиций, стиль был импортный, вывезенный из Европы, разбавленный американскими небоскребами. Но девизу Гасана надо было противопоставить другой, не менее броский. Я придумал: «Новый материк — любимое детище планеты». Девиз понравился, его подхватили, я увидел мои слова в газете. Говорят, их повторяли и на жюри при обсуждении.

Вот такие маленькие гирьки подбрасывал я на весы архитектурного правосудия.

Жена моя — домашний судья — хмурилась по поводу всех этих усилий. Ее послушать — и пояснительную записку не пиши. Выставил проект — и отойди в сторону, жди, скрестив руки, какой тебе вынесут приговор. Но если так рассуждать, тогда и перспективы рисовать не надо.

Сделай план, дай колонки цифр — умные люди разберутся. Нет уж, тут я не согласен категорически. Себя надо подавать в наивыгоднейшем свете, подчеркивать достоинства, пальцем на них указывать. Между прочим, и женщины все, моя жена тоже, два часа в день посвящают своей внешности: кожу лица разглаживают, платья примеривают, парики, прически, шляпки, туфельки; узит, толстит, бледнит, красит! Не стесняются выгодно подавать достоинства, недостатки тушевать.

Думается мне, что в этом нашем домашнем споре проявилось устаревшее отношение к конкурсу. Действительно, раньше, в XX веке, победитель конкурса награждался деньгами. Некрасиво было добиваться денег окольными путями. Но у нас же не о деньгах речь. Мы хотим получить увлекательную работу по проектированию материка. Мы уверены, что мы самые достойные. Словно школьники, мы тянем руки: «Можно, я отвечу?» Заметьте наши руки, услышьте наши предложения, позвольте нам потрудиться, мы считаем, что лучше всех ответим. И сравниваются тут проекты, а не проектанты, поэтому спортивный подход неуместен, ни возраст, ни вес не играют роли, тяжелый или полутяжелый. Мы не борцы, мы артели. Лично я уверен, что наша африканская артель — самая работоспособная, и не намерен молчать, потупив глазки, как деревенская невеста на смотринах. Конкурс — это витрина, витрина будущего жилья в данном случае. Выставлены на выбор квартиры, скверы, силуэты, городские площадки, развязки, стоянки, озера и музеи. Потребителю безразлично, сколько времени вы потратили на изготовление крыльев. Ему нужно, чтобы крылья были самые лучшие.

И, как вы знаете, мои крылья признали лучшими.

Да, я был счастлив, я был горд, не ходил, а парил, несебя, словно боялся расплескать. На улицах нашего Вадувау на меня показывали кивками, за спиной шептались: «Это он, он самый». Земляки ликовали, моя победа радовала их еще больше, чем меня. Меня наперебой приглашали в гости, в клубы, в школы и на телевидение. Вдруг все заинтересовались архитектурной планировкой. Слушали, не очень понимая и совсем не понимая, но с почтительным вниманием. Я говорил уже, что здесь проявлялось великое наше угнетение. Вы знаете, как называлась моя родина прежде? Невольничий берег! Веками нас угнетали, ущемляли, притесняли, обращали в рабство, за людей не считали. И вот мы показали, мы — бывшие невольники! Нкрума показал — один из наших.

День-два наслаждался я фимиамом, потом всеобщее внимание надоело мне, потом начало раздражать. Скучна была роль музейного экземпляра на просмотрение. Да, я всегда был высокого мнения о себе, знал, что могу, м о г у, МОГУ! Но не о славе же я старался. Слава — это форма признания, а признание — всего лишь ступенька к большим делам. Жюри признало, что я МОГУ, что мне можно поручить архитектуру материка. Теперь я должен оправдать надежды, я хочу их оправдать. И, дорогие земляки, отойдите вы с вашими рукоплесканиями, я надел нарукавники, не мешайте мне оправдывать надежды!

На том, мастер Юш, разрешите мне окончить отчет о самом себе. Сейчас я весь в работе. Я коплю идеи, я сижу у пульта и набрасываю силуэты. Я строю... не здания, пока что... я строю организацию проектирования, как шахматист, на пять ходов вперед проигрываю комбинацию обсуждений: я предложу — меня спросят — я отвечу — мне напомнят — но это я уже продумал — мне выскажут сомнения — я сниму их — что возразят еще? Ничего! Моя взяла: еще два хода — и мат! Я хочу заранее предвидеть, кто мне будет мешать снизу, упрямо протаскивая свои поправки, и кто будет мешать сверху, препятствовать, откладывая, отказывать...

Но если мне откажут, тогда у меня приготовлено...

Так что простите мне, дорогой учитель, что я откладываю приезд в ваш Центр Омоложения. Для вас я обязательно найду время через месяц-другой, открою все свои извилины и буду рад, если мои мозговые записи помогут вам победить в следующей молодости. Вы заслужили победу, надеюсь, что вы ее получите.

Э п и л о г

И вот снова, в который раз, сижу я в Центре Омоложения, тону в кресле вдумчивого спокойствия, гляжу на пейзажи мирной сосредоточенности и на вдумчиво-спокойно-мирно-сосредоточенное лицо моего премудрого куратора.

— Продолжайте, — говорит он. — Спешить нам некуда, вы человек здоровый, нет острой необходимости немедленно класть вас на омоложение. Мне кажется, в письме этого молодого архитектора есть материал для размышлений. Подумайте!

Подумайте! А чем я занимался все эти дни? Думал!

Думал я больше о чувствах победителя. Очень вкусно описал Нкрума, как он идет по родному городу, до краев налитый торжеством, себя боится расплескать, как на него показывают детям. Гордятся, что этот, свой, утвердил в мире наше достоинство. У меня такого не было в жизни. Были успехи, были похвалы и награды, но профессиональные, местного значения. И даже жене моей не всегда удавалось объяснить, за что же меня похвалили, какие у меня находки в планировочном решении. Даже она, архитектор, не очень разбиралась в планировке.

И очень понимал я трехступенчатое «могу, могу, МОГУ!». Эх, не довелось дойти до сплошных заглавных букв! Застрял между «могу и могу».

Но не понравилось мне, решительно не понравилось поведение Нкрумы на конкурсе, суетливое, сказал бы я, поведение. Откуда такое недоверие (высокомерное, другого слова не найду)? Почему он считал, что ученые-эксперты не поймут его без подсказки? Я же понял. Как вошел в зал, сразу подумал: «Этот победит».

Да, вспоминаю, в какой-то из книг прошлого века вычитал я, что «каждый должен быть коммивояжером своего таланта». Считаю, что это выдохшаяся мудрость, пережиток прошлого. Коммивояжер продавал затхлый, залежалый, посредственный товар, всучить — была его работа. Посредственный талант нуждается в рекламе, подлинный всем бросается в глаза. Нет, такое я заимствовать не буду. Совсем необязательное качество. Думаю, и у Нкрумы оно от сложного сочетания самомнения и неуверенности. От самомнения сомневается, что его способны понять, от неуверенности сомневается, что сумел показать. Нет уж, я не стану суетиться. Проект на выставке, смотрите сами!

Не о том размышления. Эта слабость устраняется просто.

Резануло меня, и резануло резко объяснение Нкрумы со своим учителем-руководителем Нкаму. Старый мастер, думающий мастер, Нкрума обязан ему, у него учился видеть объемно, мыслить последовательно, методично отсекал лишнее. Все, что сверх природного, у Нкрумы от учителя. И этому доброму учителю Нкрума в лицо кидает: «Хочу обойтись без вас». Так и стоит у меня перед глазами опавшая фигура с седым ежиком над коричневым лбом, постаревшее, поседевшее, сморщенное лицо. Такой удар!

Пускай старый мастер медлителен, неповоротлив, консервативен отчасти. (Так ли консервативен? Нкруму направлял же, идею оценил сразу.) Пускай мешал бы иногда, даже часто мешал бы, но разве нельзя было обойтись как-то мягче, осторожнее, из благодарности к старому учителю, из уважения к сединам хотя бы, не жалеть час-другой на споры, терпеливо убеждать, переубеждать, даже уступать время от времени, через два раза на третий.

Но с другой стороны, прав Нкрума: уступки те за счет качества.

За счет будущих жителей в конечном итоге.

И уступки нам — соперникам по конкурсу. Его шансы уменьшаются, наши прибавляются. И мог бы в результате одержать верх менее совершенный проект.

По мнению Нкрумы, вежливая проволочка ни к чему не привела бы. Даже если бы старик не сопротивлялся, все равно он ворчал бы: «Меня не ценят, со мной не считаются, отстраняют, пренебрегают». И копил бы обиду. Что хуже: крепко обидеть один раз или обижать порционно целый год?

Нкрума предпочел не растягивать.

Для пользы дела.

Но стоит перед глазами жалкое, сморщенное, побледневшее, посеревшее лицо с седым ежиком над коричневым лбом.

Стоит перед глазами потому, что помню я, как мы все выглядели, когда председатель жюри огласил решение. Помню сжатые губы и прищуренные глаза Бебера. Они выражали презрительное недоумение: «Что за люди подобрались здесь в жюри? Никакого понимания высокого искусства, профанам угождают». У Дэн Ши лицо было злое, почти злое, ему чудился заговор против него лично. Дескать, «знаем мы этих экспертов, все они сговорились, разыграли комедию, конкурс объявили для видимости, заставили нас, дураков, трудиться целый год». Альба ершил пышные волосы, напустил на себя бесшабашный вид, явно петушился: «Я еще покажу себя, не в Гондване, так в Америке, не в Америке, так на Луне. Идеи не занимать, голова пухнет от идей. Найдется чем удивить, еще удивлю мир». Гасан же демонстрировал восточную выдержку. «Этот конкурс для меня был игрой, — выражало его лицо. — Хотел сделать вам подарок, вы его не приняли, вам же хуже. А теперь доука свалена с плеч, уеду в свои края охотиться. Охота — вот настоящее дело для мужчины!»

Как выглядел я, не знаю, в зеркало не смотрел, но

помню, что ощущал усталость. Бессилен, выжат, высосан, выброшен на свалку. А в голове крутилось: «Так и думал, так и думал, так и думал с самого начала. Стар и бездарен. Возомнил, получил по носу. Теперь досиживай в своей конторе до заслуженного отдыха».

Так что же получается? Талант плодит горе. Несчастные вокруг него.

Не только соперники несчастны, но и старый учитель — мастер предыдущего поколения. И средние помощники, стажеры, старательные, не совсем бездарные, которые что-то вложили в проект, а потом получили отказ после многомесячных усилий: «Не потянули, ребята!» Может быть, и правильно отодвинули их, а все равно горько.

Горечь сеял вокруг себя Нкрума.

Горечь сеял, но завоевал славу и для себя и для своих земляков. Но что такое слава? Слава — это признание (правильно говорит Нкрума), признание твоего редкостного умения делать нужное дело. Если писатель знаменит, это означает, что книги его очень нужны. Артист знаменит — его игра радует зрителей во всех странах. И если знаменит футболист (многие осудили бы меня за такое сопоставление), значит, его мастерство радует и волнует зрителей. Оказывается, слава — это умение радовать, это разрешение радовать, поручение радовать.

Радовать потребителей, огорчать соперников.

Радость тысячам и миллионам, горе десяткам и сотням. Такая арифметика у таланта.

Выдающиеся радуют человечество, но обижают чело-
веков, теснят, отодвигают, отстраняют за непригодностью, понижают, унижают.

Разве хорошо?

И главное, радость-то сеется далеким, а горе-то рядом. Нехорошо!

Но тысячам и миллионам необходима та радость от талантов.

Может быть, может быть, и так, но я лично люблю вручать подарки. Не волнуют меня невидимые зрители, восторженно хлопающие на дальних трибунах, тем более читатели, где-то когда-то в библиотеке листающие мое сочинение. Я Дед Мороз по призванию. Мне нравится вручать подарки, видеть загоревшиеся глаза и благодарную улыбку, своими ушами слышать: «Спасибо, спасибо, вы угадали мое сокровенное желание». Нравится угадывать сокровенные желания этой девушки, этой бабушки, даже этого могучего мужчины, хотя он и сам в состоянии себя

одаривать. За свои старания я хочу получать натуральную оплату радостными улыбками... а не заочным признанием где-то когда-нибудь в обмен за кислые мины окружающих.

Кислые мины меня почему-то тревожат больше.

Так что, дорогой мой Эгвар, простите меня за напрасные хлопоты, но я обдумал и принял решение. Я не хочу быть талантливым на уровне Нкрумы. Понимаю, нужны и такие люди, но мне не по душе их непримиримый напор. Я не люблю обижать. Таким родился, таким и останусь. Не хочу быть выдающимся. Был средним и буду средним во второй своей молодости.

— Ничего не будем менять? — спросил Эгвар. И голову на плечо склонил с видом сомневающимся.

— Не могу зарекаться на целую жизнь. Может быть, что-нибудь новое встречу, пойму, передумаю. Пока менять не буду.

— Совсем ничего?

Мне показалось, что нужно извиниться.

— Вы не считайте, что время зря потрачено, — сказал я. — Для меня очень полезно было продумать прошлое. Я даже жалею, что ждал шестидесяти. Отныне каждые десять лет буду писать самому себе отчет. Напишу, оглянусь, оглянусь, так ли жил, так ли живу? Может быть, и обстановку сменю. Нужно время от времени жизнь начинать заново.

Эгвар переместил голову с правого плеча на левое:

— Тогда у меня есть предложение... или совет, если хотите. Вы вспоминали и описывали прошлое, я изучал вас очень внимательно. Наверное, сейчас мог написать реферат по юш-ведению, ольгино-ведению, как прикажете назвать такую науку. И я согласен с вами, что архитектура вовсе не ваша стихия. Да и выбрали вы ее случайно, пассивно, судя по вашему отчету. Рисовали не слишком хорошо, перешли на планировку, не проявили себя особенно, сейчас согласны отказаться, перейти на сцену, в космос, еще куда-нибудь.

— Таланта не было, — вздохнул я.

— А на самом деле есть у вас талант, — неожиданно объявил Эгвар. — Есть, но вы его не поняли. Я-то сразу заметил, у меня наметанный взгляд. В самом начале заметил, когда, заполняя анкету, вы сразу же отклонились в сторону, целые страницы отвели подробному рассказу о пожилых рыбаках. Вам же в молодость переходить, при

чем тут рыболовы? И о чужих проектах вы рассказывали больше, чем о своем, об отце или о девушке Сильве больше, чем о себе. Через мой кабинет проходит много народу, я имею возможность сравнивать. Уверяю, есть у вас свой талант, талант особого сочувствия к людям. Вы умеете сопереживать, умеете входить в чужую душу. И, представьте себе, есть профессия, где это очень нужно.

Моя! Наша!

Короче, я советую вам после омоложения поступить на работу в наш Центр... переучившись конечно, грамотность требуется тоже. К вам будут приходить люди, много людей, мужчины и женщины, пожилые, усталые, нередко разочарованные, чаще недовольные... ибо человеку не свойственно тупое довольство, всегда хочется неиспробованного. Вы будете выслушивать их сочувственно, копаться в их сердцах и мозгах сочувственно, терпеливо выискивать лучшее даже там, где хорошего мало, давать разумные советы, добрые советы и под конец вручать ценнейший подарок:

Молодость! Новую жизнь!

Вот такая перспектива у вас на ближайшие сорок лет. Если я ошибаюсь, через сорок лет можно будет переиграть.

* * *

И, знаете ли, меня это устраивает.

ИТАНТЫ

(Таланты по требованию)

Научно-фантастический рассказ

Шеф сказал:

— Гурий, тебе особое задание. Итанты нынче в чести, мы на острие эпохи. К нам идут толпы молодых людей, не очень представляя, на что они идут. Надо рассказать им все, спокойно и объективно, без восклицательных знаков.

Я воспротивился:

— Почему именно я? Есть Линкольн, есть Ли Сын, есть Венера, у нее одной разговорчивости на четверых. Пришлите к ней корреспондента, она за один вечер продиктует целую книгу.

— Гурий, не пойдет,— сказал шеф твердо.— Я всех вас знаю не первый день. Венера наговорит с три короба, нужного и ненужного, Линкольн и Ли Сын будут отнекиваться: «Ах, работа везде работа! Ах, ничего особенного! Ах, каждый на нашем месте!..» Мне не нужны каждые, нужны понимающие, что в этой жизни за все надо платить: час за час, за час блага час труда. Так вот, будь добр, возьми диктофон и представь себе, что ты рассказываешь свою биографию мне... или даже не мне — врачу, не скрывая ничего, ни радостного, ни горестного, ни болезненного, все с самого начала, точно, спокойно, объективно и откровенно.

— С самого начала? — переспросил я.— И о вашей племяннице?

Шеф поперхнулся.

— Ладно, говори и о ней,— решил он.— Только переименуй. Назови как-нибудь иначе: Машей, Дашей, Сашей, Пашей — как угодно.

* * *

Ну что ж, не собирался я писать автобиографию, но если нужно для дела... Если нужно точно, объективно, спокойно и откровенно...

Пиши, диктофон!

Глава 1

Все-таки случай играет роль в нашей жизни. Когда та странная девочка появилась в классе, не знал я, что решилась моя судьба.

Она пришла к нам в середине года, где-то в декабре, а может быть, в январе, не помню точно. Запомнилось бледное лицо на фоне очень яркой, суриком окрашенной двери, прямые светлые волосы, короткая стрижка без выдумки, взгляд нерешительный и настороженный. Новенькая замешкалась в двери; математичка ее вдавила в класс своей пышной грудью. Наши девочки вздернули носики: не соперница. Что я подумал? Ничего не подумал тогда. Или подумал, что невыразительная эта новенькая, бескрасочная, никакая. Портрет ее не стоит писать.

В ту пору я собирался стать художником, даже великим художником. Перышка не выпускал из рук, на всех уроках рисовал карикатуры на товарищей. Это было не первое мое увлечение, до того я мечтал стать путешественником. Со вздохом отказался от этой идеи, когда узнал, что все острова, мысы, бухты, речки и ручьи давным-давно нанесены на карту, еще в XIX веке засняты спутниками. Путешествовать обожают все дети поголовно. Недавно одна юная четырехлетняя красотка сказала мне, что больше всего на свете она любит есть мороженое и смотреть в окно из автомашины. Естественно: она новичок на этой планете, ей нужно оглядеть всю как можно скорее. Я тоже в четыре года любил приплюснуть нос к окошку. К четырнадцати меня начала раздражать скорость. Автобус или поезд мчатся как угорелые (в самом деле, угорелые от горячего), несутся мимо прелестнейшие полянки, овражки, озерки, болотца, рощицы,— так хочется посмаковать каждый

уютный уголок! Куда там! Пронесся, остался далеко позади.

Так что я предпочитал ходить пешком, желательно по глухим тропинкам, ведущим неведомо куда, радовался, открыв какой-нибудь рудимент дикой природы: укромный овражек, безымянную полянку или заросший ряской прудик, заслоненный кронами, наверняка не видный из космоса, и огорчался, когда за первым же поворотом оказывалась надпись: «Завод синтетического мяса. Очень просим вас не заходить на территорию, чтобы не мешать работе генетиков», или же, что еще хуже: «Здесь будет построен завод спортивных крыльев. Очень просим вас не заходить на территорию, чтобы не мешать работе строителей».

Таяли реликты дикой природы, превращались в территории. В прошлом тысячелетии шел этот процесс, продолжается в нашем.

И не сразу, постепенно, возникла у меня в голове величественная идея. Я — именно я — отстою дикую природу, сохраню ее для потомков. Как сохраню? На бумаге. Рисовать мне нравилось, я часто рисовал, чтобы почувствовать как следует пейзаж, скалу, дерево, кочки, цветочки. Пешеход скользит глазом, почти как пассажир у окна: «Ах, дуб? Ах, какой раскидистый дуб!» — и пошел дальше. Рисующий же должен разглядеть каждую ветку, каждую морщинку на стволе, вдосталь насладиться могучностью и раскидистостью. Вот я и нарисую, и сохраню, обойду все берега, все леса, все горы, все страны, составлю тысячу альбомов «Живописная наша планета». А потомки, набравшись когда-нибудь мудрости и пожелавши снова превратить территорию в природу, восстановят по моим рисункам все берега, все леса...

Осталось немного: стать взрослым и стать художником.

Но придет время, и я — взрослый художник — выйду из дома для кругосветного обзора. Я даже составил маршрут: из города — на север, на Верхнюю Волгу, Селигер, Ильмень, Ладогу, по берегу моря вокруг всей Европы с заходом в большие реки, по рекам поднимусь в горы, потом... Очень приятно было разрисовывать географический атлас.

Впрочем, все это разговор в сторону. Художником я так и не стал. Но собирался. Перышка не выпускал из рук. И это очень мешало мне внимательно слушать объяснения математички. Школа-то у нас была обычная, без



специального уклона, главным предметом, как и полагается в старших классах, было жизневедение — общее знакомство с делами человеческими, чтобы мы могли сознательно выбрать работу. Проходили мы и геотехнологию — проектирование гор и морей, и генотехнологию — проектирование растений и животных, и гомотехнологию — для выращивания утерянных рук, ног и глаз, и астротехнологию — космическое строительство. Но все эти технологии проходились бегом; наша математичка, глубоко уверенная в превосходстве своей науки, внушала нам, что всякая наука начинается с числа. И исчисление было главным предметом в нашем классе. А вот мне — любителю формы и цвета — числа казались на редкость бессмысленными. Что такое x и y ? Все — и ничто. Не нарисуешь, не пощупаешь, ни вкуса, ни аромата. Так что не внимал я и не хотел внимать. И на каждом уроке начинались переживания:

— Гурий, к доске. Гурий, я понимаю, что тебе тяжело, это мучительная задача (так она произносила $\frac{1}{2}$ через три «ч»). Но надо напрячь умственные способности. Прояви характер.

— Что-то не напрягается, — легко сдавался я. — Мучительная задача.

— Но прояви же характер, Гурий. Ты же мужчина. Есть у тебя мужской характер?

Я кряхтел и краснел. Не мог же я объявить, что у меня нет мужского характера.

И тут выскакивала любимица математички — рыжая Стелла.

— Можно, я попробую, Дель Финна (Делия Финовна на самом деле)?

Ох уж эта рыжая Стелла, белокожая и веснушчатая, первая ученица и первый математик класса! Как она у нас верховодила, как распоряжалась! И все слушались ее, и все мальчишки были влюблены, потому что у мальчишек в этом возрасте стадное чувство. Один вздыхает, и все прочие заражаются. А я? Мне Стелла решительно не нравилась, я ее считал нескромной и деспотичной, но почему-то всегда замечал, когда она входит в класс. Спиной стоял, но чувствовал.

Стелла верховодила, а вместе с ней ее подружки. Наш класс был девчоночий. Это бывает, хотя в школах всегда распределяют поровну: десять мальчиков и десять девочек. Но вот в нашем классе девочки были дружны, едины, а мальчики разрозненны. Кто увлекался спортом, кто тех-

ником, я единственный рисовал и бродил по лесам в одиночку, а со мной никто не хотел бродить, презирали пеший способ передвижения. И все мы разбегались по домам после уроков, а девочки держались вместе — вся десятка.

И вот появилась одиннадцатая, нечетная.

— Познакомьтесь, — сказала математичка, подталкивая новенькую. — Это Маша, ваша новая подруга. Примите ее гостеприимно.

Стелла тут же распорядилась:

— Маша, вот свободное место рядом с тем мальчиком, его зовут Буба. Садись, не бойся, он безобидный.

Стелла знала, конечно, что румяный толстяк Буба влюблен в нее надежно и ненадежно. Усадила ненужную девочку к ненужному мальчику.

А с кем я сидел тогда? Не помню. Один, вероятно. Так удобнее было рисовать на уроках.

Новенькая так и не вписалась в класс. Вообще вела себя странновато. Обычно сидела сгорбившись возле своего Бубы, с затравленным видом пойманного зайчонка. Когда вызывали к доске, бледнела, покрывалась красными пятнами и бормотала что-то невнятное, а чаще тупо молчала, кривила рот жалостливо, и такой глупый вид был у нее, такой потерянный. Я даже жестоко подумал однажды: «Неужели кто-нибудь влюбится в такую дуреху?»

Но на каких-то уроках она вдруг оживала, задавала кучу вопросов из категории детских «Почему?», наивных и мудрых, из тех, на которые нет ответа и потому не принято спрашивать. А однажды на уроке географии Маша поразила всех, нарисовав на память карту Африки со всеми республиками. Впрочем, назвать их она не сумела, перепутала Замбию и Зимбабве.

Все это было весной. А потом были каникулы, и мы с родителями летали в Индонезию. Вот где я нарисовался-то досыта. Конечно, привезли мы и киноленты, и стереослайды, но вся эта роскошная техника для меня не заменяет рисования. Рисуя, смакуешь красоту, всматриваешься, вчитываешься в каждый листок-лепесток. Ездок — это грубый едок, пожиратель ландшафтов, а художник — гурман, дегустатор красоты. Он не глотает, а пробует, не насыщается — наслаждается.

К сожалению, должен признаться, что дегустатором я оказался эгоистичным. Сам наслаждался, другим наслаждения не доставил. Видеть-то видел, изобразить не сумел. Художники острят: «Живопись — дело простейшее.

Нужно только нужную краску положить на нужное место». Именно это у меня не получалось: не ложились краски куда следует.

Так или иначе, каникулы миновали, вернулись мы в класс. Еще в коридоре услышал звонкий голос Стеллы. (Вздрыгнул я.) А незаметную Машу не заметил. Потом уже, когда к доске вызвали, обнаружил: сидит на задней парте рядом с Бубой. Еще в голове мелькнуло: «Порозовела за лето, не такая уж бескровная». Впрочем, все свежеют за лето.

И все. И Стелла ее заглушила. А кипятилась Стелла по поводу очередного матча математиков, назначенного на первое октября.

Я на том матче не был, меня эти волнения не касались. Но знал, само собой разумеется, что наша команда заняла четвертое место, уступив только спецшколам. Почетно, но не блестяще. И вся загвоздка была в какой-то одной задаче, которую не смогла решить даже Стелла.

Вот на ближайшем уроке наша Дель Финна объясняет:

— Я понимаю, что это была мучительнейшая задача, но преодолеть ее надо было. Ну, девочки, кто из вас самый храбрый, кто решится помуччиться у доски?

К девочкам обращается. Про мальчиков и не вспоминает.

Все смотрят на Стеллу, все мнутя, а Стелла не понимает глаз, ей тоже не хочется стоять у доски с глупым видом, ловить наводящую подсказку.

И тут поднимает руку Маша, бело-розовая тихоня. Выходит и... решает.

Математичка смотрит на нее с недоумением и подозрением. Про себя, наверное, думает, что не велик труд найти среди знакомых опытного математика. Дает Маше другую задачу.

Маша решает.

Третью — еще труднее.

Решает.

— Ну что же, — цедит математичка с сомнением. — Я вижу, ты не теряла времени даром. Это похвально. Но совсем непохвально, что ты не приняла участия в классном мероприятии. Могла бы поддержать школу, а ты уклонилась. Не по-товарищески, девочка, так у нас не принято поступать. Подумай на досуге.

Как улей перед вылетом матки, гудел наш класс на перемене. И всех перекрывал возмущенный голос Стеллы:

— Да, именно не по-товарищески, хорошие люди так

не поступают. «Я сама подготовлюсь, я себя покажу, а на класс наплевать». Ну и пускай. Мы ей неинтересны, а она неинтересна нам. Не будем с ней разговаривать. И ребята пусть не разговаривают. Слышите, мальчики? А ты, Буба, садись рядом со мной, сразу же перебирайся на этой перемене.

Сейчас-то, много лет спустя, вспоминая ту школьную трагедию, думаю я, что не товарищество защищала принципиальная Стелла. То есть, конечно, возмущалась она искренне, но подсознательно отстаивала не принципы, а свое лидерство. Да, на этот раз ее превзошли, но случайно и только потому, что она хорошая, а соперница плохая. И подружки тут же поддержали Стеллу, тем самым и себя зачисляя в разряд хороших, неизмеримо превосходящих аморальную чужачку.

Да-с, не легко вытравляется из сознания жажда превосходства.

А может быть, это была форма инстинктивного кокетства: «Смотрите, мальчики, какие мы хорошие в отличие от Маши!»

— И ребята пусть не разговаривают с ней,— распорядилась Стелла.

Так вот, я не послушался. Спорить не стал, а Стеллу не поддержал. В ту пору я уважал людей с собственным мнением и сам старался иметь свое. Никто в классе не бродил по лесам с этюдником, а я бродил, это нравилось мне. Сверстники мои курили, чтобы показать свою взрослую независимость, а я не курил, мне табачный дым казался невкусным. И у меня лично не было оснований обижаться на Машу-тихоню. Не хотела участвовать в матче — ее дело. Я сам не участвовал. У каждого свое мнение.

Но не могу поручиться, что я рассуждал бы так же, если бы Стелла меня, а не толстяка Бубу посадила на свою парту. Боюсь, что тогда я не так дорожил бы самостоятельной принципиальностью.

Так или иначе, но когда Маща спросила у Бубы, что задано на завтра, а Буба отвернулся, надув щеки, я подошел к недоуменно озиравшейся девочке и громко продиктовал ей параграфы.

Стелла пыталась назавтра сделать мне выговор. Я ее послал подальше со всей мальчишеской грубостью.

Даже удивительно, сколько я написал об этой напористой девице! А она никакой, ну совершенно никакой роли

не сыграла в моей жизни. И после школы мы не видались. Знаю, что математику она забросила, вышла замуж за подводного агронома, живет где-то на Тихом океане, кальмаров разводит, китов доит и кормит.

А вот с Машей у нас пошла дружба с того самого дня, может быть сначала и вынужденная с ее стороны, потому что другие девочки с ней не разговаривали недели две. Я консультировал мою «невыразительную», иногда мы вместе делали задания: я чертил за нее, а она мне решала геометрию с тригонометрией. До дому я ее провожал, пешком шли, в угоду мне Маша не надевала авторолики. И странное дело: все больше нравилась мне эта бывшая невыразительная, и так ласково она смотрела мне в глаза! Когда я чертил, она стояла сзади — я дыхание ее ощущал на затылке — и осторожно кончиками пальцев приглаживала мои вихры. Вот и сейчас помню это нежное прикосновение. И она мне подарила первый поцелуй, сама поцеловала на крылечке. Несся я домой тогда одуревший, головой поматывал, в себя прийти не мог. И все губу пальцами ощупывал: тут поцеловала!

Как это получается? Полгода не замечал — и вдруг любовь?

Ненастоящая любовь?

Часто в жизни я слышал рассуждения о любви ненастоящей и настоящей, не знаю между ними четкой границы. Один добрый друг объяснял мне так: если девушка кажется тебе в мыслях красивее, чем наяву, значит, это не любовь, а воображение. Не знаю, не знаю. Мне Маша иной раз казалась некрасивой, бледной, болезненной, болезной, но тогда я испытывал еще больше нежности. Такая хрупкая, такая слабенькая, так хочется ее приголубить, успокоить, на руки взять, к сердцу прижать.

«Ты очень добрый», — уверяла она. Я возражал со всей мальчишеской суровостью. Доброта казалась мне недостаточно мужественной. Не добряк я — я крепкий, я жалею заморышей, я им помогаю. Обязан помогать.

Так прошел год, класс предпоследний. Дело шло уже к выпуску, к выбору профессии. А я все чертил за Машу, а она за меня решала задачи. Но постепенно дошло до меня, что с детством этим пора кончать, попросил ее заниматься со мной всерьез.

Маша почему-то смутилась:

— Но я совсем не умею объяснять, Гурик. Я чувствую, как надо решать, но не расскажу.

Между прочим, Гурик — это тоже я. Вообще-то у меня



серьезное имя, но девочкам обязательно надо одомашнить, тигра превратить в котеночка, Льва в Левушку.

— Маша, но как же понимать без объяснений? Я не умею думать печенкой.

— Хорошо, я поговорю с дядей.

— При чем тут дядя? Я не хочу репетитора, меня бы только направить. Если ты не хочешь, пойду на поклон к Дельфине.

— Видишь ли, дяде разрешили открыть специальную школу.

— Да не хочу я во вторую школу! Мне бы в пределах обязательной программы.

Маша помялась, опустила глаза, покраснела.

— Гурик, мы с тобой друзья, правда же, настоящие

друзья? Обещай мне, дай честное слово никому не говорить в классе, никому в нашей школе, никому-никому не открывать тайну. Если ты разболтаешь, мне придется уйти немедленно, уехать в другой город.

Я дал слово, я даже держал его, пока тайну не опубликовали в печати по радио и телевидео.

Итак, дядя Маши, известный психобиолог, работал над проблемой ограниченности человеческих способностей. Ученые знали, давно уже было установлено, что мозг наш растет лет до шестнадцати. Знали, что крысы (да-с, крысята!), у которых рост мозга продлевали искусственно, проявляли особенную сообразительность, быстрее всех закрепляли условные рефлексы. Машин дядя перенес опыты на собак, потом на шимпанзе (его обезьяна научилась читать и считать, только разговаривать не могла, объяснялась жестами). Но на людях ставить опыты не решались, не полагается ставить опыты на людях, а ЭВМ ничего не давали, все-таки машина только модель человека. И вот помогло несчастье. Маша, племянница, единственная дочка сестры ученого, переболевшая в раннем детстве, отстала в развитии, вообще училась с трудом, ей угрожала грустная судьба не очень полноценного человека. И, проспорив и проплакав полгода, Машина мама решилась доверить свое чадо уважаемому знаменитому мудрому брату, высшему авторитету семейства, единственному свету в окошке. Опыт был поставлен, Маше ускорили и продлили рост мозга. Результаты я видел. Немножко странноватая, но, в общем, достаточно способная девочка с выдающейся памятью и чутьем. Во всяком случае, она сумела обойти наших математических звезд.

Потом было еще несколько опытов на добровольцах, все удачные, даже более чем удачные. Из лаборатории Машиного дяди вышли не просто нормальные, а даже очень талантливые люди — блестящие математики и музыканты (выбирались профессии, где чаще всего бывают вундеркинды, где сумма знаний не очень велика и решают способности и умение). И вот теперь решено было организовать целую школу итантов — искусственных талантов. Маша и предлагала мне поговорить с дядей, не согласится ли он зачислить меня, чтобы срочно вырастить любовь к математике.

Еще одна школа? Ну нет, хватит с меня обязательных занятий, обязательного труда, обязательных экскурсий, обязательного спорта. Свободное время хочу. Величайшая ценность нашей эпохи — свободное время. Время нужно

мне, чтобы с перышком в руках рассматривать кору и кроны, листочки и лепесточки, вышагивать километры по заросшим тропинкам. Не хочу урезать мои драгоценные собственные часы.

— Категорически нет! — сказал я.

И, домой возвращаясь, сердито твердил себе:

— Нет и нет! Не буду урезать, не буду отнимать.

Машу тревожило другое:

— Ты не разлюбил меня? Ты не разлюбишь?

«Нет и нет», — повторил я сто раз подряд. Но где-то на полпути к дому задумался: «Добавочный талант, может быть, это не так скверно? Кто я сегодня? Обычный парень, каких двенадцать на дюжину, русский, лохматый, конопатый, среднего роста, средних способностей, без особых склонностей, плыву себе по течению, куда выплыву, сам не знаю. Люблю природу, рисовать люблю, но перышком, с красками так и не справился. А в нашу эпоху фотокиногостерео вообще кропать перышком не принято. Надо изображать свое впечатление — цветозвукоароматическое. Попрошу себе талант впечатлительности. Вообще какой-нибудь талант. Пассивная у меня натура, созерцательная, хочу творческую».

— Маша, я передумал. Поговори со своим дядей.

И дядя согласился. Труднее было с моими родителями — и с матерью, и с отцом.

Отец сомневался. Отец говорил:

— Рискованно.

Мать криком кричала:

— Ни в коем случае! Через мой труп! Вивисекция запрещена еще в прошлом тысячелетии. Пусть ставят опыты на мышах, пусть на своих детях ставят опыты.

Я чуть не сказал: «Уже один».

— Задурили ребенку голову! — кричала мать. — Я буду жаловаться! Я до Всемирного Совета дойду!

— Я уже не ребенок, — возражал я. — Мне семнадцать будет в декабре.

— Вот когда будет двадцать один...

— Тогда поздно. Голова перестает расти в шестнадцать... Своевременно надо включать гормоны.

Я говорил, отец говорил, мать кричала и плакала, воздевая руки к небу. Но в конечном итоге я настоял на своем. Как настоял? Обидел родителей. Обидел их, признаюсь со стыдом.

— Вы поглядите на меня, — сказал я. — Средний парень, каких двенадцать на дюжину, русский, лохматый, ко-

нопатый, среднего роста, средних способностей, натура пассивная, созерцательная, без тяги к творчеству. Какие вы мне выдали гены? Самые заурядные, самые распространенные. Я не желаю быть рабом ваших генов, пожизненным узником вашей наследственности. Не мешайте мне освободиться от генетических цепей.

И пронял. Мать еще всхлипывала, а отец смолк, загрустил, сложил руки на коленях, уставился в пол.

— Возразить нечего, — вздохнул наконец. — В древних книгах говорилось: «И будешь ты проклят до седьмого колена». Возможно, наследственность подразумевалась. Верно, не блестящие у тебя гены, не знаю, от которого колена. Ну что ж, освобождайся, сбрасывай цепи. Но уверен ли ты, что не проклянешь своих потомков, испортив их гены?

— Если испорчу — исправят, — сказал я с юной бешабашностью.

Глава 2

Школа итантов. Школа как школа. Классы, в классах, конечно, столы, а не парты, на каждом справа пульт и дисплей, на стенах экраны, экраны, экраны. «Друзья, посмотрите направо, друзья, посмотрите налево, друзья, посмотрите наверх». На кафедре лектор с указкой; урок — сорок пять минут, перемена — десять, в соответствии со средней восприимчивостью. На всей планете так.

Единственное отличие: каждую субботу — инъекция. Вводится в кровь кубик раствора ростового вещества. И мозги продолжают расти, образуются новые нейроны и ганглии. Предстоит наполнить их талантом.

Которым? И какие таланты бывают вообще?

Мы говорим о человеке: талантливый художник, талантливый математик, талантливый хирург, механик, философ. Разные таланты, разные мозги. Чем-то различаются мозги художника, математика, хирурга, механика, философа. Не только содержанием, но и строением. Природные способности были какие-то. И вместе с тем едва ли природа конструировала заранее художественные или хирургические мозги.

Надо разобраться.

Работе мозга была посвящена вступительная лекция в школе итантов.

Мозг — это орган, задача которого обрабатывать информацию и на основе ее руководить действиями.

Информация — обработка — действие! Три этапа.

Информация приходит извне (через глаза, уши, нос, кожу) и изнутри (голоден, болен, устал).

Мозг приступает к обработке. В ней тоже три этапа: понимание — оценка — решение. Природа отработывала их механизмы сотни миллионов лет, исправляла, добавляла, дублировала для надежности. Даже понимание у нас двойное: образное и словесное. Образ: «Знакомое лицо, где я его видел?» Слова: «Да это же дядя Ваня!»

Чтобы произнести это опознающее «ах!», нужно иметь в мозгу громадный архив, картотеку знакомых лиц, проще говоря — память. С картотекой этой и сличается информация и, если она новая, важная и повторяющаяся, закладывается «на длительное хранение».

Понимание — только первый этап обработки. Ознанную информацию нужно еще оценить: хороший человек дядя Ваня или прескверный? Обнимать его или обходить стороной? Оценка тоже ведется по двум критериям — эмоциональному и рассудочному. Эмоциональный: «приятно — неприятно»; рассудочный: «полезно — вредно», «нужно — не нужно».

Оценили. Можно действовать?

Нет, еще рано. Выбор предстоит. Информации много, и много побуждений — сильные и слабые. Есть мотивы биологические (голод, страх, размножение), есть мотивы психологические и мотивы социальные (обещал, обязан, полезно, выгодно, необходимо, почетно, стыдно). Все это надо подытожить, вообразить правой половиной мозга, обсудить левой. И принять решение. Чем больше мотивов, тем труднее решить. Решительность — тоже талант.

Наконец решение принято. Остается выполнить его. За последний этап отвечает воля, отсекающая новые мотивы, новые решения, слабость и усталость. Конечно, еще и силы нужны, и умение — возможность осуществить.

Информация — опознание — оценка — решительность — воля — силы и умение. Конечно, все эти качества развиты у разных людей по-разному, есть слабые звенья, есть сильные. Для одной специальности важен один набор, для другой — совсем иной. Талантливому художнику требуется изощренное зрение, талантливый музыкант может быть и слепым.

Итак, набор необходимых качеств. Как развивать именно необходимые?

О принципах развития таланта споры в науке шли лет десять, еще до создания школы итантов. Два предлагались, в просторечии их называли «диетический» и «гастрономический». Первый — экономнее, но сложнее, второй — расточительнее, но проще. При научной диете вы даете организму полезные ему вещества, при гастрономической — вкусно кормите до отвала, предлагая пищеварению самому отобрать нужное и ненужное.

В данном случае речь шла о кормлении мозга.

Так вот, от диетического метода, экономного и рационального, пришлось отказаться. Для него следовало бы знать больше и гораздо больше уметь. Допустим, взялись мы создать талантливую музыканта. Музыканту нужен особо чувствительный слух, особая отзывчивость эмоций на музыкальные образы, изощренная оперативная память, надежная, долговременная, четкое чувство времени (биологические часы), гибкость и проворство пальцев. Но где в мозгу образная эмоциональность? Где долговременная память? Возможно, они разлиты по всему мозгу. Насчет слуха известно точнее — он сосредоточен в височной области. Но как при росте мозга развивать именно височную область?

Волей-неволей наука склонилась к гастрономическому методу. Желудок сам разбирается, и мозг разберется. Будем его растить и тренировать по доброму старому принципу Ламарка: что упражняется, то и растет.

К тому и свелось учение в школе итантов: раз в неделю инъекция и всю неделю математика.

Выше я говорил, что в математике и музыке чаще всего бывают вундеркинды, здесь больше всего роль приращенного таланта. Но когда я приступал к учению, человечеству требовались именно математики, не музыканты... и не художники, к моему огорчению.

Первый месяц был самым трудным. Попал я из огня да в полымя. Четыре часа ежедневно и каждый вечер до глубокой ночи терзали меня иксы и игреки — безликие, неопределенные, лица не имеющие, все выражающие, ничего не выражающие, да еще их друзья — дельта-иксы и дельта-игреки, стремящиеся к нулю, не доходящие до нуля, миниатюрные, меньше любой наперед заданной величины, но производящие производную, которая может быть даже и бесконечной.

Мучительнейшая задача.

Впрочем, в отличие от Дельфины здешний профессор

не считал ее мучительной. Маленький, круглоголовый, оживленный, он все твердил нам улыбаясь:

— Нет, это все нетрудно, легче легкого. Чтобы дифференцировать, нужны пальцы, только пальцы.— И он прищелкивал пальцами, чтобы показать, до чего же это все просто.— Даже и для интегралов нужна одна лишь память, исключительно память. Вот когда мы дойдем до интегральных уравнений, там уже придется подумать, там напрягайте мозги.

И я с ужасом думал, что тогда мне придется уйти. Плакали мои нерожденные таланты.

Второй основной предмет был для меня куда легче. Назывался он «связи». На самом деле нас просто учили думать, тренировали на рассуждение.

— Назовите слово, первое попавшееся, что пришло в голову.

— Например, человек.

— Прошлое — настоящее — будущее?

— Ребенок — взрослый — старик.

— А почему? Почему человек не рождается сразу взрослым?

— Как же так? Само собой разумеется. Как же иначе?

— Но ведь бабочка-то рождается взрослой. Бывает же иначе... Еще связи? По сходству.

— Человек — обезьяна.

— По несходству?

Учили нас логике формальной: «Иван — человек. Все люди смертны — значит, Иван смертен». Учили и диалектическому: «Иван — человек, как человек он смертен, но бессмертен в своем потомстве».

Этим я занимался с удовольствием, это воспринимал легко.

Заскучавшим читателям объясню: я не просто перечисляю программу. В данном случае подвешено ружье, которое выстрелит своевременно.

Математика, связи и еще инъекции раз в неделю. И росли, подрастали в наших головах новообретенные клетки, росли и алчно жаждали наполниться. Мы ощутили это как возвращение детства. Мир стал удивительно любопытным, все лезло в глаза, все требовало пояснений. Хотелось останавливать прохожих на улице и спрашивать: «Как вас зовут?», «Куда вы идете?», «А это что?», «А как называется?», «А почему?». Но поскольку пичкали-то нас иксами и дельта-иксами, все «почему» направлялись на них — на иксы и дельта-иксы.

И безликие, бесформенные, все выражающие и ничего не выражающие начали приобретать смысл и даже облик. Оказалось — а в школе я пропустил это мимо ушей почему-то, — что каждое уравнение можно изобразить, нарисовать, получится линия, прямая, или кривая, или ломаная, круг, эллипс, спираль, завиток, цветок... даже похожий на анютины глазки. Оказалось, что можно нарисовать какую угодно загогулину и вывести ее формулу. Можно написать какую угодно формулу, с потолка ее взять — и получить портрет. И мы — мои товарищи и я — забавлялись, черкая каракули на бумаге и соревнуясь, кто быстрее выразит их математическими символами.

Потом до меня дошло — наверное, и это толковала нам Дельфина, только я не слушал, изображал ее головку редиской с жиденьким пучком на макушке, — дошло до меня, что все эти бесцветные, безликие имеют смысл, физический, технический или житейский. Кривая — это движение или процесс, любой процесс: плавление или охлаждение, рост населения, прыжок с парашютом, выполнение плана. Прямая линия — равномерное движение; наклон — его скорость; производная — ускорение или же замедление; вторая производная — ускорение ускорения, изменение изменения. Два корня — два решения, три корня — три решения. Мнимые корни — решения невозможные... или же непонятые. Вот есть же смысл у мнимой скорости. Две причины — два измерения, график на плоскости; три причины — три измерения, объемная диаграмма. А как быть с четырьмя причинами? Увы, графика пасует, идет чистая алгебра.

Если похожи формулы, похожи и процессы. Сходны формулы тяготения и электростатики. Что общего между ними? Сходны движения в атмосфере и в магнитном поле. Что общего между магнитом и ветром? Вот так возникал у меня интерес к математике. От формы — к формуле, от процесса — к вычислению. Процесс есть в природе, а уравнение не решается. Почему? С какой стати? Атаковать! Неужели не одолею?

А голова свежая, жадная, голова думать хочет.

И одолеваю.

Постепенно пришло мастерство. Мы научились распознавать уравнения, как опытный врач — это я предполагаю — распознает болезнь. Встречалось такое в практике, знаем подход. Выдавали нам подобные задачи металлурги, теперь дают строители. Но мы справлялись уже. Вот тут

загвоздка... мучительная... для новичков. А у нас на ту хитрость своя хитрость.

И познали мы радость победы над крючкотворством иксов, игреков, научились укладывать их на обе лопатки, гордились победой, и не простой, а красивой победой. А что такое красивое решение в математике? Да примерно то же, что красивая комбинация в шахматах. Не долгое мучительное дожимание предпочтительной позиции, использование преимущества двух слонов против двух коней — а внезапная жертва-жертва-жертва, шах и мат в три хода.

Неожиданность и простота — в том краса математики.

И в физике — простой и ясный закон.

Почему простота для нас красива? Думаю, что это чисто человеческая черта. Природа-то сложна невероятно, но мы жаждем простоты, мы радуемся простоте — неожиданной легкости.

Так вот научились мы, итанти, глядя на уравнение, ощущать эту возможность легкого пути. Научились не одновременно: способные — быстрее, позже — средние, я — в числе последних. Но подогнал. И выпустили нас всех одновременно: шестнадцать парней и шесть девушек — первый выпуск, первая наша команда, когорта искусственно талантливых.

Поименно: Люция, Тамара, Дхоти, Камилла, Венера, Джой, Семен, Симеон, Али, Перес, Ваня, Вася, Ли Сын, Ли просто, Линкольн, Нгуенг, Мбомбе, Хуан, Махмуд, Артур Большой, Артур Маленький и я — двадцать второй.

А Маша? — спросят меня, конечно.

Маша, представьте себе, не захотела пойти в школу талантов. Я недоумевал, уговаривал, упрашивал, обижался и возмущался. Маша оправдывалась как-то уклончиво, ссылаясь на головные боли и советы врачей, на то, что она не нашла себя, хочет еще поискать.

Я говорил:

— Если не нашла себя, зачем же отказываться от добавочных талантов, талант пригодится везде.

Я говорил:

— Мы же любим друг друга. Если любишь, надо быть вместе, использовать каждую возможность.

— Мы обязательно будем вместе, — уверяла Маша и нежно целовала меня, чуть прикасаясь, гладила теплыми губами. — Ты только не сердись на меня, Гурик. Не будешь сердиться, хорошо? Я не выношу, когда ты сердитый.

Я таял и обещал не сердиться.

А пошла Маша, к моему удивлению, в спорт. И стала тренером по художественной гимнастике, самый женственный вид спорта. И сравнительно скоро, меньше чем через год, вышла замуж за другого тренера — по прыжкам в длину, мастера прыгучести. Я узнал об этом в командировке на Луне (о Луне речь пойдет в дальнейшем); я кипел, я рычал, я лелеял планы оскорбления словом и даже действием. Но прежде надо было дожидаться конца командировки и вернуться на Землю... А на Земле меня ждала записка, странная записка от Маши, сумбурная и невнятная, где были просьбы о прощении и уверения в искренней любви и ссылки на необходимую заботу о здоровье своем и будущих детей. И почему-то меня утешило, что Маша любила меня, хотя и вышла замуж за другого.

Много позже, не сразу, перечитывая и перечитывая эту записку, я понял логику ее поведения, подсознательную, а может быть, и сознательную. Маша с детства была больной девочкой, отсталой, слабенькой, и ей страстно хотелось быть нормальной, такой, как все, абсолютно обыкновенной, стать обыкновенной женой и родить нормального здорового ребенка. У нее вызывали опасения даже привитые ей сверхспособности, она решила не развивать их, не использовать, выбрала спортивную профессию, чтобы закалять и укреплять свое нормальное женское тело, предназначенное для рождения нормального ребенка. И мужа предпочла нормального, не перенасыщенного инъекциями ради дополнительных талантов.

Так что ее решение пришло от ума, не от сердца. Почему-то это меня утешало.

Глава 3

Первый наш выпуск был математический. И не только потому, что так удобнее было для школы талантов. Математики требовались срочно и в большом числе для обслуживания проекта «Луна».

Что такое проект «Луна» и зачем он нужен, в наше время никому объяснять не нужно, но пока я учился в школе, шла яростная дискуссия, нужна ли нам Луна, Луна или не Луна, и вообще следует ли людям покидать Землю и выходить в космос? И были публицисты и даже ученые, которые с пафосом доказывали, что проект «Луна» вреден и опасен, он оторвет умственный труд от физического,

лишит науку и искусство живительной связи с мазутом и угольной пылью, детей разобщит с отцами, разрушит брак и морали нанесет неисправимый ущерб. Вообще земной человек рожден для Земли, счастлив может быть только на Земле, за ее пределами расчеловечится.

Вот уже и третье тысячелетие идет, а все не переводятся люди, боящиеся перемен, любых, всяческих.

Отчасти, может быть, они и правы. Любая перемена что-то дает и что-то отнимает. Если вы сожгли дерево в печке, вы отогрелись, но дерево-то спалили. Вот ученые и взвешивали: Луна или не Луна? Но логика истории настойчиво уводила их в космические дали.

Еще в XVIII веке, как только зародилась промышленность, наметилось разделение жилья и заводов. Где строили их? На окраинах городов, за пределами городских стен. Естественно, только за стенами были свободные земли. Но и на окраинах заводы дымили, отравляли городской воздух желтым сернистым газом, черными угольными клубами, бесцветным угаром, всякой химией и радиоактивностью. И в XX веке горожане начали отгораживаться от заводских труб зеленой зоной, потом стали создавать целые области бездымные — курортные, лесные, предгорные, столичные. Все равно отравы спускалась в реки: плевали мы в колодцы, откуда пить собирались. И все равно газы, дым, пыль и тепло выбрасывали в атмосферу: воняли, извините за выражение, и вонюю потом дышали. И грели, грели, грели воздух; грели суда, поезда, трактора, грузовики и авторолики; грела каждая печь и каждая градирня, каждый двигатель и каждый электроприбор. Атмосфера изнемогала от промышленного тепла, не успевала остывать по ночам. И портился климат, редели мои возлюбленные леса, ползли к полюсам пустыни и сухие степи. Выносить надо было куда-то промышленность.

А куда? В космос — куда же еще?

Строить космические города предлагал еще Циолковский. В XXI веке их начали сооружать, и именно по схеме Константина Эдуардовича: город-колесо или город-труба, вращающиеся вокруг оси диаметром километра в полтора. Именно так и выглядят ныне существующие КЭЦ, Королев, Гагарин, О'Нийл и другие; десятка полтора их, плавающих в эфире. Мне приходилось посещать их неоднократно, и мы, приезжие, были не в восторге. На ободке — нормальный вес, а на оси — невесомость. Перемещаться туда и обратно неудобно, так что практически середина пропадает; там перепутанные чащи несусветных растений, репа не

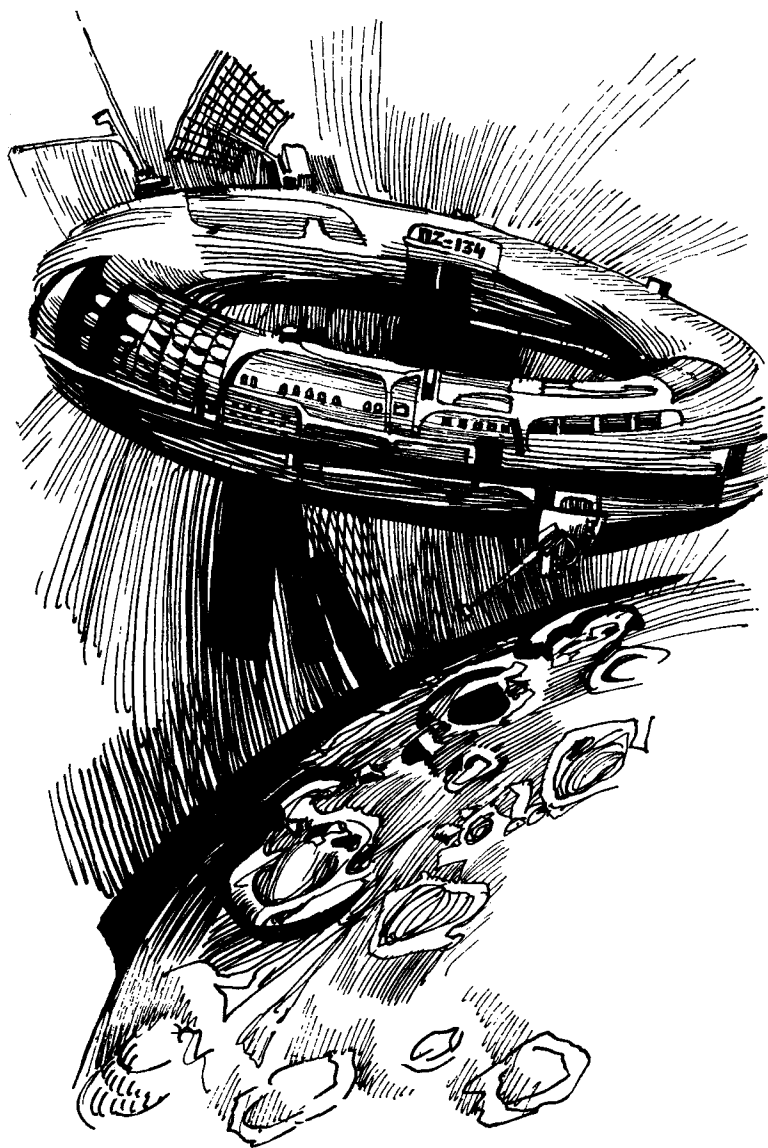
репа, дыня не дыня, как у Гоголя на заколдованном месте. Вся жилая зона и вся рабочая — у поверхности, на ободке, где всего опаснее метеориты. Чтобы обезопаситься от них, обод одевают водяной шубой десятиметровой толщины; десять метров воды соответствуют земной атмосфере. Но цистерны худо пропускают солнечные лучи, так что практически, несмотря на прозрачные полы, дневного света все равно нет. Всюду лампы и лампы, шестнадцать часов горят, потом на восемь часов их гасят. И лично меня угнетали, просто угнетали эти кривые, уходящие под потолок коридоры или цеха с наклонными полами; так и кажется, что дальние стенки уже ползут на тебя, вот-вот обрушатся. Впрочем, старожилы к этой кривизне привыкли, не в эстетике суть. Три серьезных возражения были, когда встал вопрос о переносе промышленности в космос. Первое: города неизбежно ограничены в размерах — на них помещается два-три крупных завода, один комбинат. Расставлять же спутники надо пошире, чтобы раз и на все века избежать опасности столкновения, вытягивать их цепочкой на одной орбите и вести хозяйство на всех этих разобщенных городах как бы на флоте, плавающем в океане, — каждый корабль по своему маршруту. Вторая трудность — сырье. Сырье надо возить с Земли на ракетах, на ракетах, на ракетах. Никакие трубопроводы в космосе невозможны. И третья трудность, пожалуй непреодолимая, — с отходами. Куда девать шлаки, обрезки, мусор, пыль, дым? Выбрасывать в пространство: дескать, места хватит? Но мусор в пространстве — это метеоритный поток: смертельная опасность и для кораблей, и для тех же городов. Да, пространство просторно, но если тысяча заводов будет ежедневно создавать тысячу метеоритных потоков...

И проект «Эфирные города» был побежден проектом «Луна».

На Луне заводы не плавают, прочно стоят на месте, и нет необходимости разносить их подальше, наоборот, можно сконцентрировать в одном районе, в море Дождей например. Все рядом — перевозки короткие.

На Луне есть кое-какое сырье. Есть минералы, а в них металлы — черные и цветные.

У Луны достаточное притяжение, не надо мудрить с невесомостью. Есть притяжение — значит, дым, пыль и мусор никуда не улетят. Можно беззастенчиво выбрасывать их из труб или свозить на свалку. Будем мусорить на Диане — это невежливо, но безопасно.



И на Луне проще строить. Нет необходимости везти с Земли каждый блок. На Луне множество глубочайших пропастей, а пропасть — это готовые стены, почти готовые. И в пропасти редко залетают метеориты. И не так трудно перекрыть их плитами, не обязательна водяная шуба.

Короче: Луна — это другая Земля, поменьше, а космическое пространство — нечто принципиально иное.

Конечно, все это не так простенько. На Луне другая энергетика, другие руды и минералы, другая металлургия, другая химия, другой транспорт, другая получается экономика, другие шахты, другие дороги, другое строительство. Вот все это другое и проектировали инженеры, а мы — свежее испеченные математики — помогали им расчетами.

Шли к нам лунные горняки, лунные экономисты, лунные транспортники, лунные химики со своими затруднениями. Этакая трудная складывается проблема, таким трудным выражается уравнением. Как его решать, как продиктовать ЭВМ — посоветуйте, помогите. Приходили хмурые и озабоченные, запутавшиеся в сложностях специалисты, нередко опытные, немолодые специалисты, а мы — молокососы — выручали их, исцеляли, потому что в школе итантов вырастили нам видение, не только видение, но и чутье. Мы смотрели на крючкотворное уравнение транспортников и припоминали: у штурманов, у космических навигаторов было нечто подобное — тоже многопричинность, выводящая на четвертое измерение, и тоже мнимая скорость на старте. Не совсем так, но сходно, известен подход. И мы находили корни и выписывали рецепт, выслушивали удивленную благодарность, снисходительно отклоняли похвалы: «Ах, что вы, что вы, никакого труда не стоит, и не такие преграды штурмовали». И ощущали сладкую гордость: вот мы какие особенные, славные рыцари, спасители беспомощных дам, попавших в плен к дракону многопричинности!

— Только не зазнавайтесь, — твердили нам наставники. — Вам привили талант, это подарок, а не заслуга. Со временем будут прививать всем желающим.

Мы старались не зазнаваться, но гордость распирала нас. Славно быть могучим воином в поле, хотя бы и в математическом поле.

Бывали и конфликты, особенно у наших лучших, у тех, кто вторгся в чистую математику, — у Люции, Семена и Симеона. Они разошлись со школой Юкавы, внесли какие-то исправления. Старик заупрямился, попытался оп-

ровергнуть опровержения, наши разбили его шутя. В той дискуссии я не принимал участия, но присутствовал, и ощущение было такое, будто я сижу среди непонятливых школьников. Юкависты выступают с жаром, что-то говорят, говорят убежденно, выписывают длиннющие формулы, но мне-то ясно, что они не поняли с самого начала. Не доходит до них парадокс Люции. В фойе и в перерывах подходят к нам с возражениями, стараются переубедить. Мы объясняем, нас не слышат. Не понимают или не принимают. Заранее убеждены, что не могут их победить эти мальчишки и девчонки (мы). И пустота вокруг нас. Стоим в отчуждении отдельной кучкой, другие, особенные, наша команда, наша когорта.

Теперь-то признаны наши теоретики. Теперь-то они корифеи — Люция, Семен и Симеон.

Но это теоретики. Мы же — остальные, рядовые таланты, — пошли в прикладную математику: кто на энергетику, кто в химию, кто куда, а я — на самую практическую практику, к строителям. Я не случайно напросился к ним, ведь работа-то начиналась со строительства. Строители первыми осваивали Луну, и я выпросил командировку при первой возможности.

И вот я на Луне.

Первое впечатление — самое сильное. Какой же это необыкновенный мир — весь черно-белый, контрастный, как передержанный снимок! Тени — словно пролитая тушь, каждый камешек очерчен по контуру. Сейчас-то ощущение противоположное: «До чего же надоедливое однообразие: смоляная тьма и слепящий свет, смола и белизна, смола и белизна!» Нет, ни за что бы не стал я обходить Луну пешком, заполняя альбом за альбомом, одного с лихвой хватило бы, чтобы дать представление.

И первая пропасть запомнилась. Не на канатах — на проволочках каких-то неубедительных спускали меня в бездну (десять кило мой лунный вес). Тьма казалась густой из-за непроглядной темноты (в самом деле, казалось, будто в смолу окунают). А там, где наши фонари шарили по стенам, из смолы выступали угловатые пилоны, или плиты, — геометрически правильные, не сглаженные водой и ветром. И всюду торчали висячие скалы «пронеси господи», а на них опирались — одним углом касаясь — другие. Словно нарочно кто строил карточно-каменный домик. На Луне все завалы зыбки, нет там основательной, все трамбующей земной тяжести.

В той первой пропасти строили мы строительный завод.

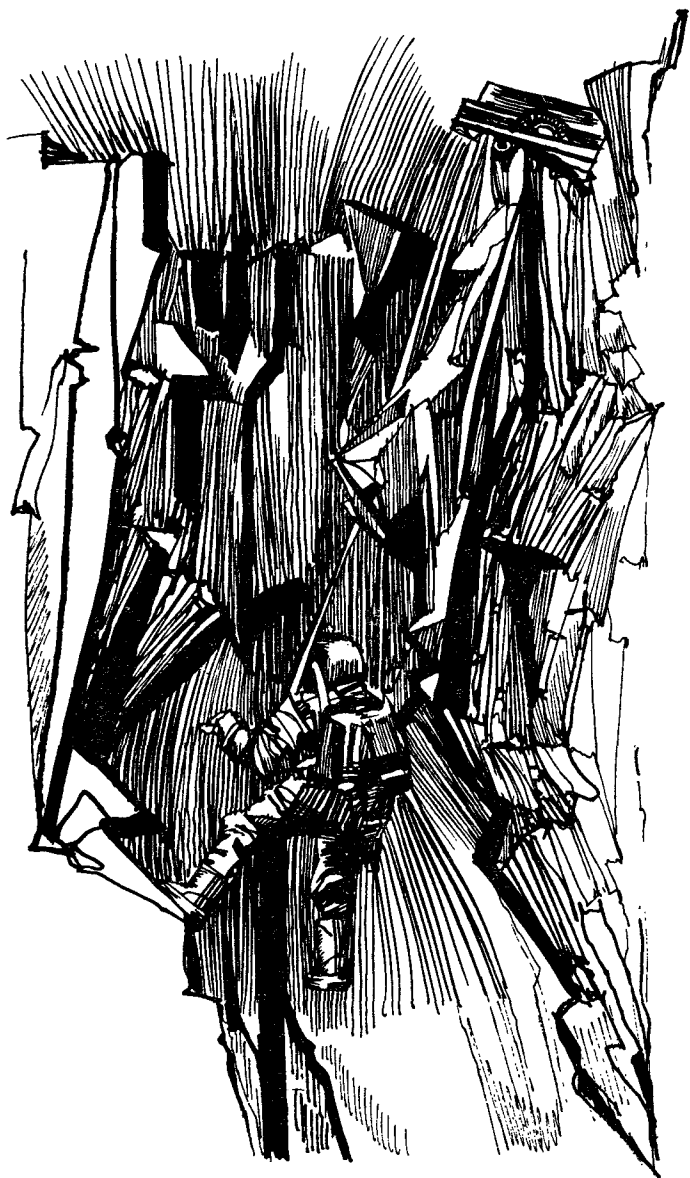
Расчищали ее и резали, плавил стандартные блоки. И шли они отсюда по коротким лунным дорогам с адресами, надписанными краской: «Химзаводу», «Медеплавильному», «Автостраде», «Атомной электростанции». С удовольствием поглядывал я на эти надписи и думал: «А эта химия, и медь, и авто, и атомы — все уйдут с Земли. И где-то будут убраны надписи: «Просим вас не заходить на территорию, чтобы не мешать химикам, медеплавильщикам, атомщикам». И буйной зеленью порастут деловые дворы, территория снова превратится в природу».

Пропасть — для строительного завода, пропасть — для медного, пропасть — для атомного. Везде выравнивание стен, везде расчистка завалов, но пропасти-то разные, и завалы разные, и глыбы все неодинаковые, к каждой особенный подход. И постепенно понял я, в чем разница между работой математика и инженера, казалось бы родственной. Мы — математики — ищем обобщение, некое единое количественное правило, пригодное повсюду. Они — инженеры — всматриваются в конкретный случай, ищут отклонение от правила. Мы описываем цифрами, они прилагают силы. Всюду присматриваются, как прилагать поэкономнее. Помню, по Земле — не по Луне — ехал я с одним нашим лунным инженером по живописной дороге в предгорье. Я-то восхищался красотами: «Ах, овражки! Ах, косогоры! Ах, овечки на косогоре!» А он — свое: «Южнее надо было прокладывать трассу, выемку делать на косогоре, овраг пересекать насыпью и трубу в ней, не надо никакого моста. Сотню тысяч кубов зря накидали».

Вот и у меня постепенно начало складываться инженерное мышление, даже инженерное чутье. «Вы — прирожденный инженер», — уверяли меня коллеги.

А я вовсе не прирожденный. У меня нейроны добавочные, жадно впитывающие новое. Впитали инженерные задачи — сложилось второе чутье... а потом понадобилось еще и третье.

Нет ничего дороже человека. С детства внушают нам эту истину, ставшую подлинной истиной с тех пор, как на планете установлен окончательный мир. Поэтому на Луне в пропастях работали не люди, а роботы, роботы высшего класса — самодвижущиеся, с руками-ногами и даже с головой на плечах, способной самостоятельно принимать решения на месте (не инструктировать же их для каждой отдельной глыбы заново!). И мозг их кристаллический (его-то я и рассчитывал) получался довольно сложный.



Да ведь и в биологии то же. Наследственная программа жизни вся уложена в гены, это даже не клеточка, часть одной клеточки. Для самостоятельных же решений, зависящих от обстановки, природе пришлось соорудить мозг — целый орган; у человека — пятнадцать миллиардов клеток в нем. Одна клетка или пятнадцать миллиардов — разница!

Не пятнадцать миллиардов, но тысяч пятнадцать блоков было у наших роботов.

Но чем сложнее машина, тем больше вариантов порчи. В медицине есть правило: если есть орган, значит, есть и болезни этого органа. В применении к роботам: если есть блок, если есть какое-то устройство, значит, оно может выйти из строя... Робот откажет, можно сказать — заболит.

Робот не человек, но и он дорог достаточно. Много часов затрачено на его монтаж, на обучение, наладку, на доставку с Земли на Луну. Много часов пойдет прахом, если он выйдет из строя в первый же момент: ухватит глыбу не по силам и прищемит себе лапу или, хуже того, обрушит эту глыбу на голову товарищу. В лучшем случае это простой для ремонта, в худшем — переплавка. Поэтому у роботов предусмотрены блоки осторожности с многочисленными датчиками по всему корпусу.

А если эти блоки выйдут из строя? Он станет безрассудным, будет все крушить себе и делу во вред.

А если блоки чересчур чувствительны? Робот станет как бы мнительным и трусливым. Отлынивать будет от работы.

А если выйдут из строя датчики прочности? Машина будет работать на износ, пропускать профилактический ремонт.

А если датчики прочности слишком чувствительны? Робот то и дело будет уходить на ремонтную базу, ленивым станет.

Добавлю еще, что в каждой пропасти работает целая команда роботов, иногда со сложным разделением обязанностей. И роботы должны считаться друг с другом, для того им приданы радиоуши и радиоголоса.

Но если уши вышли из строя, робот будет работать сам по себе, подведет всю команду. Как это назвать — глухота или эгоизм? Или своевольное упрямство?

А если отключится программа, но робот все будет и будет действовать без смысла? Как скажем? Сошел с ума? Расстройство машинной психики?

Неуместное слово — психика. Происходит от психеи —

души. Души у машины, как известно, нет. Впрочем, нет и у человека — не душа, а мозг. Психические болезни — болезни мозга, органа, управляющего организмом. Болезни управления роботов явно были похожи на психические расстройства.

Вот и пришел я к шефу с просьбой продлить мне рост моего мозга, потому что необходимо мне знакомиться еще и с психологией.

И услышал:

— Ну, будь по-твоему, Гурий. Пожалуй, желание твое своевременное. Школа наша расширяется, объявлен обширный набор итантов, учить их и учить надо. А кому? Вам, опытным. Как раз и тебя я рекомендую в преподаватели. Так что психология тебе понадобится, безусловно.

Глава 4

Никогда не гадал я, не думал, что придется мне стать преподавателем.

В школе, глядя на учителей наших, зарекался: «Ни за что, ни за что не стану тратить душевные силы, чтобы тащить за уши в науку таких лоботрясов, как я (я был достаточно самокритичен), рисующих карикатуры на подвижников, пытающихся приобщить нас к загадочной красоте комплексных уравнений».

Но вот диалектика жизни заставила и меня обратиться в свою противоположность. Некогда я с парт смотрел на кафедру, ныне с кафедры взираю на парты... ну, не на парты — на студенческие столы, вижу двадцать пар глаз, и не детских, легкомысленных, а юношеских, внимательных и пытливых. Двадцать молодых людей ждут, как я буду обучать их инженерному чутью.

Я вижу лица — розовые и бледные, смуглые, желтые, бронзовые, коричневые и почти черные. Проект «Луна» — глобальное мероприятие, в нем принимают участие все народы. Все заинтересованные в зеленеющей планете.

Цвет кожи — самая поверхностная характеристика. Черты лица — тоже поверхностная. Некоторые кажутся мне красивыми, располагающими, некоторые неприятны, это надо подавить. Выражение? Как правило, девушки с первой же лекции жадно внимательны, готовы впитывать; у юношей чаще напускное недоверие, желание не уступать своей самостоятельности. Они и сами с

усами, у них свое я; еще неизвестно, удивит ли их чем-нибудь молодой педагог, стоит ли признать сразу его превосходство.

Это тоже поверхностная характеристика, еще одна.

Признать мое превосходство ученики не готовы, но учиться готовы. Инъекции они получают, мозг растет у каждого и у каждого жаждет наполнения, как пустой голодный желудок. Но чем наполнять? Ведь даже и желудок не рекомендуется набивать как попало. Ежемесячно диспансерный диетолог дает советы: «Прибавьте витамины или белки, сократите углеводы, сахару в крови многовато или же, наоборот, жиров добавить надо». Мозг неизмеримо сложнее, в нем гораздо больше звеньев. Какую же диету пропишу я своим подопечным с их молодым растущим умственным механизмом, таким тонким, таким многозвенным?

Им и себе я повторяю вступительную лекцию школы итантов:

«Мозг — это орган, задача которого обрабатывать информацию и на основе ее руководить действиями организма.

Информация — обработка — действие! Три этапа!

Информация приходит извне (через глаза, уши, нос, кожу) и изнутри (я голоден, болен, устал...).

Мозг приступает к обработке. В ней тоже три этапа: понимание — оценка — решение.

Понимание двойное — образное и словесное.

Оценка двойная — эмоциональная и логическая.

По мотивам логическим, психологическим, вкусовым, физиологическим, сиюминутным, постоянным и прогностическим, моральным, своим, чужим...

Надо выбрать, надо принять решение, надо еще довести его до конца, отбиваясь от новой информации и новых побуждений, сверяясь с обратной связью ежесекундно...»

Десятки звеньев. Мыслительная цепь.

И у каждого из моих слушателей цепь разной прочности. Вот я и стараюсь разобраться, какое звено послабее, какое надежнее, какое надо укреплять, какое использовать с полной нагрузкой, какую прописать умственную диету каждому.

Расспрашиваю. Разговариваю. Наблюдаю.

Двадцать личностей передо мной. А я читаю им одинаковую лекцию.

Двадцать пациентов!



Вот Педро. Худенький, смуглый, порывистый, с живыми движениями, с горящими любопытными глазами. Он засыпает меня вопросами, нетерпеливо ерзает, привстает, если я не сразу замечаю его поднятой руки. Рвется ответить первый, подсказывает мне слова, как только я замнусь на секунду-другую. Он прирожденный талант, еще до нашей школы; я даже сомневаюсь, стоит ли вообще ему наращивать мозг. И первый месяц мои усилия направлены на то, чтобы унимать его: «Педро, вы не один в классе. Педро, дайте высказаться другим».

И домашние задания он выполняет блестяще, раньше всех, почти всегда лучше всех. Так до первого проекта. И вдруг выясняется, что Педро застрял. Мечется в нерешительности. Отброшен один вариант, другой, третий, примерно одинаковые, даже первоначальный был в чем-то оригинальнее. Время идет, ничего не выбрано, парень начинает заново, опять и опять. Я-то вижу лучшее решение, у меня бывали похожие случаи в практике, отработан подход, но я креплюсь, не хочу подсказывать. Знаю: если подскажу, Педро побежит к компьютеру и через день принесет мне цифровые таблицы. Но я же не у компьютера экзамен принимаю, я готовлю инженера, командующего компьютерами. Стараюсь понять, почему он не видит очевидного.

И постепенно до меня доходит: Педро не хватает звена под названием «характер». Он не умеет доводить дело до конца. Привык работать на публику, щеголять сообразительностью, догадки бросать с лету. В одиночестве за рабочим столом скисает, теряет уверенность. Диагноз: способности есть, выдержки нет. Терапия: персональные, трудоемкие, однообразные задания, требующие терпения, нечто, напоминающее личные рекорды на дальность (сегодня проплыл километр, завтра — тысячу двести метров, послезавтра — тысячу триста). Тренирую выдержку, рашу лобные доли, вместилище твердой воли.

Следующий — Густав. Этот распознается проще. Густав грузноватый, большеголовый, плечистый, медлителен в движениях, медлителен в словах, долго соображает, даже если уверен в ответе. В классе пассивен, молчалив, но домашние задания выполняет основательно и даже с выдумкой. В сущности, можно бы и примириться с его неторопливостью. Для проекта важнее качество, а не быстрота. Но после второго, третьего задания почувствовал я некоторое однообразие, даже однобокость, даже узость. Понял: Густав — упорный интраверт, у него все долго вертится внут-

ри, так и этак прилаживаются и подгоняются надежные, твердо усвоенные, но немногочисленные факты. Новое он воспринимает с усилием, как бы нехотя, глуховат к внешнему миру, получил два-три факта — и спешит замкнуться, приступить к перевариванию.

Диагноз: слабое звено Густава — восприятие. Терапия: задания на сбор материала (изучение, описание, выяснение, исследование). И тоже тренировка на личные рекорды: не сколько сделал, а сколько нашел.

Так с каждым из двадцати.

Самым же твердым орешком оказалась для меня способная и прилежная Лола, чернокожая курчавая красавица с густым румянцем и вывороченными губками, словно нарочно приготовленными для поцелуя. Сидела она прямо передо мной, сверлила в упор угольными глазами, улыбаясь многозначительно своими поцелуйными губками. Не знаю, намеренно ли она старалась смутить молодого учителя, смягчив заранее на всякий случай его суровость, или же бессознательно на всех подряд пробовала силу своего обаяния; мне лично мешало это кокетство. Мне же разобраться в ней надо, поговорить с ней откровенно наедине, но не хотелось приглашать для разговора наедине.

А я не понимал Лолу как ученицу.

У нее был вкус, работы свои она оформляла красиво, охотно думала о дизайне, но как-то не воспринимала конкретную обстановку. «Конкретная обстановка» — термин неконкретный; сейчас я поясню, что я имею в виду. Строится завод: расчищается пропасть, прокладываются дороги через холмы и горы, надо роботам дать наставление, как им справиться с этим перевалом, с этой расщелиной, с данной конкретной глыбой, горой, скалой, похожей на любопытного щенка, приподнявшего одно ухо. Инженерное чутье в том и заключается, чтобы почувствовать, как взяться за этого одноухого базальтового щенка. Лоле же почему-то, при всей ее любви к внешней форме, задание надо было давать в цифрах. Видит же красоту, а понимает только цифры. И далеко не сразу нашел я объяснение. Лоле мешала не слабость ее образного видения, а сила. Она очень четко представляла себе ушастую скалу, но на Земле... не на Луне. На Луне скала весила в шесть раз меньше аналогичной земной, к ней иной технический подход требовался. Вот абстрактные тонны Лола считала отлично. Их она не представляла зрительно, и представление не сбивало ее.

Какое предложил я лечение? Длительную командировку

на Луну, чтобы в мозгу осели лунные масштабы, лунные соотношения объема и веса.

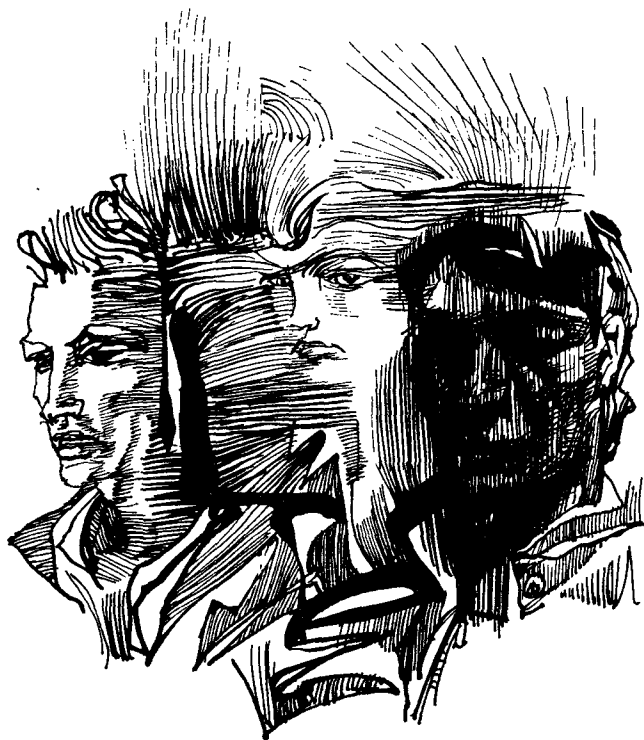
Три ученика — три проблемы. И еще семнадцать проблем в моем классе. И еще двадцать в параллельном. И двадцать, и двадцать на следующий год в очередном потоке. И четырежды сорок, если принять в счет классы моих товарищей. Вместе же мы ломали головы над тайнами мыслительных цепей наших учеников.

И обрел я талант третий — чутье педагога. Уже не за месяцы — за день-два управлялся с распознаванием личности. Иногда и часовой беседы хватало. Иногда и одного взгляда. Даже испытывал я себя, пробовал, правильно ли первое впечатление. Да, в основном бывало правильное. Уточнения добавлялись.

А с третьим талантом в третий раз пришло горделивое ощущение некой удали. Я могу — я умею — я молодец! На свете нет ничего сложнее человека, а для меня это сверхсложное — как на ладони. Столько написано толстых томов о некоммуникабельности, непознаваемости, непроницаемой истинной экзистенции человеческой сущности, но вот пришел я, проникаю, проницаю, познаю экзистенцию, воздействую на нее коммуникабельно. Корил я сам себя за зазнайство, разоблачал себя, опровергал... жизнь сама опровергла вскоре. Но я же не гимн себе пою, я рассказываю, какие ощущения у итанта. Молодцом себя чувствуешь, победителем.

Но потом пришло и неприятное.

Глаза стали меня подводить. Пока я рассеян, ни о чем не думая, водил взглядом по рядам учеников, все было нормально. Но стоило задуматься о каком-нибудь одном, прислушаться к его словам, хотя бы фамилию вспомнить, облик его начинал искажаться, контуры расплывались или, наоборот, становились резче, угловатее, на лицо его накладывались другие, с разным выражением, даже разновозрастные: одновременно видел я старика, взрослого и ребенка. Иной раз сквозь человеческие черты проглядывали звериные мордочки: хитренькие лисички, кроткие ягнята или бараны бессмысленные, перепуганные кролики, настороженные крысы, насмешливые козлы, пестухи задиристые... И если я упорствовал, таращил глаза, силясь разглядеть, что же я вижу на самом деле, что мне чудится, лица раскалывались, по ним змеились плавные или угловатые трещины, огненные такие линии, какие видятся закрытым глазам после вспышки молнии. Линии эти ширились, ветвились, сливались, превращаясь в широченные



потоки, загораживающие все лицо, потоки стремительные или медленные, яркие или тускнеющие, сходящие на нет постепенно. И в конце концов все тонуло в подцвеченном пульсирующем тумане, обычно неярком — розоватом, желтоватом, сизом, как пасмурное небо, или блекло-оливковым, как затоптанная трава. Туман этот колыхался, меняя очертания, не исчезал даже, если я глаза закрывал. Чтобы прогнать его, как я заметил позже, надо было не думать об этом ученике. Но легко сказать: не думать! Еще Ходжа Насреддин дразнил людей, предлагая им не вспоминать о белой обезьяне. Как не вспомнить? Гонишь из мыслей, а она тут как тут: лохматая, со свалывшейся шерстью, грязная, краснозадая, противная такая.

Работать стало невозможно. Вместо того чтобы думать об уроке, я цветные туманы отгонял, словно муть разводил руками. Пришлось пойти к врачу. Окулист с полнейшей добросовестностью проэкзаменовал меня по разнокалибер-

ным буквенным строчкам, изучил мои роговицу и хрусталик, через зрачок заглянул в глазное дно, измерил его давление, неторопливо продиктовал свои наблюдения стрекочущему автомату и в результате признался, что ничего в моих глазах не видит, посоветовал обратиться к психологу.

Ах, к психологу? Тогда мне незачем идти к незнакомому, рассказывать все с самого начала про школу итантов. Я предпочел отправиться к шефу. К нашему выпуску — первым своим изделиям — он всегда относился с особым благоволением, разрешал приходить без дела, просто так, поведать о своих ощущениях, впечатлениях. В данном случае подходящий предлог: с глазами осложнение.

И на этот раз шеф пригласил меня сразу же, хотя в кабинете у него были люди: новичков он напутствовал, практикантов, отправлявшихся на Луну, — трех парней и девушку. Парни выглядели обычно, лица их, плечи и грудь выражали старательную молодцеватость. Я-то посматривал на них снисходительно, думал про себя: «Эх, петушки молодые, хорохоритесь, еще хлебнете всякого, узнаете почему фунт лиха, научитесь кушать его спокойно и ежедневно». Это у нас поговорка такая лунная: «У каждого в скафандре порция НЗ — фунт хлеба и фунт лиха». Впрочем, я парней не разглядывал внимательно, больше засмотрелся на девушку — естественная реакция в моем возрасте. Выразительная была девушка: маленькая, худенькая, с детской шейкой, так умилительно выглядывавшей из широченного раструба лунного комбинезона, и с большущими черными глазами, злыми почему-то. Меня так и хлестнула взглядом: «Отвернись, мол, не для того я в космос лечу, чтобы засматривались всякие».

Такие худенькие бывают очень выносливыми, знаю по лунной практике. Но мне почему-то стало жалко эту девушку. И когда мы с шефом остались с глазу на глаз, я даже позволил себе посоветовать:

— Зачем такую малявку на Луну? Здоровых парней не хватает, что ли?

— Она у нас из лучших, — возразил шеф. — Любого парня за пояс заткнет. Сосредоточенная. И целеустремленная. Своего добивается. Умеет.

— Не вернется она с Луны, — вырвалось у меня.

Шеф поглядел осуждающе:

— Не надо каркать. Что за манера?

Я развел руками:

— Жалко стало почему-то. Вообще настроение минор-



ное. Себя жалею, что ли? С глазами у меня плохо...

Я начал рассказывать об утроенных лицах, лисичках, ягнятах и струях в глазу, но тут загорелся экран. Шефа куда-то вызывали срочно. Он заторопился, не дослушал, кинул, одеваясь:

— Гурий, к здоровью надо относиться серьезно. Ты переутомился, немедленно бери отпуск на две недели, отправляйся куда-нибудь подальше, в горы, в Швейцарию, в Саппоро, еще лучше — в тайгу! В тайгу! Нет лекарства лучше лесной тишины. Прописываю тебе две недели якутской тайги.

Увы, усиленный курс лесной тишины пришлось прервать через три дня. Только я долетел до Якутии, толь-

ко-только успел подобрать для себя заброшенную сторожку у болотца, окруженного трухлявыми стволами, только успел усесться на один из стволов, устремив взгляд на тину, развести первый костер, вдохнуть аппетитный запах дыма, как встревоженное лицо шефа появилось на моем запястье.

— Гурий, ты нужен срочно. Бросай свою тайгу, прилетай сию же минуту,— распорядился он, сердито глядя с браслета.

Пять тысяч километров — туда, пять тысяч километров — обратно. Я даже не успел разобраться, проходит или не проходит моя болезнь. Пятого числа вечером я простился с шефом, девятого поутру входил в его кабинет.

— Сядь, Гурий,— сказал он сразу.— Садись и объясняй, почему ты сказал, что девочка не вернется.

— Она погибла? — ахнул я.

— Сорвалась в пропасть. Глубина — четыреста метров. Это смертельно даже на Луне. Ты был прав, не следовало ее посылать. Но почему? Откуда ты узнал, что она не вернется?

— Не знаю, мне так показалось.

— Гурий, не отмахивайся, я спрашиваю важное. Сосредоточься, подумай как следует, вспомни, почему тебе пришлось в голову, что девочка не вернется.

Я задумался, привел мысли в порядок.

— Она боялась,— сказал я.— Не Луны боялась, боялась, что испугается на Луне. Я это почувствовал, а она почувствовала, что я чувствую ее страх, и злилась на меня, опасалась, что я ее выдам. Она из тех натур, что всю жизнь занимаются самопреодолением, ненавидят себя за слабость и бичуют за слабость. Такие хотят быть героями, но геройство им не под силу, и они казнят себя за это, жертвуют собой, голову кладут на плаху, говоря по-старинному, по-книжному. И вот она и героиня, и жертва. Но на Луне не жертвы нужны, а цеха и дороги. Там надо работать и доводить работу до конца, а эта девочка думала только об одном: «Струшу или не струшу?» Наверное, прыгнула там, где заведомо не могла перепрыгнуть.

— Именно так,— вздохнул шеф.— Прыгнула там, где и мужчина не перепрыгнул бы. Тем более что для Луны у новичков нет же глазомера. Но почему ты не сказал мне этого вовремя?

Я задумался. В самом деле, почему не сказал?

— Не сказал потому, что не понимал. Это сейчас я

формулирую, выражаю словами. А тогда увидел цвет лица неестественный, бледно-зеленый. И ощутил напряжение нервов, натянутых до отказа, это же ощущаешь в другом человеке. И злость, и отчаянную решимость, мучительное усилие, усилие ради усилия, все затмевающее. И еще шейку на пределе текучести. Но это наше, инженерное,— возможно, вам не довелось иметь дело с испытанием металла на разрыв. Представьте себе: стержень стоямя зажат в тисках, а нижнюю платформу грузят, грузят, кладут на нее гирю за гирей. Вы сами ощущаете, как невыносимо трудно металлу. И вот он не выдерживает больше, стержень вытягивается, худеет на глазах, словно пластилиновый, течет-течет... и лопается с оглушительным звоном. Вот эту шейку увидел я, она заслонила все. И оборвалась, и утонула в сизо-зеленом тумане. Я отвел глаза, неприятно было смотреть. Вообще неприятно. Смотрю на человека — и вижу стержень. Это и есть моя болезнь. Я сразу начал рассказывать о ней...

Шеф сокрушенно покачал головой:

— Да, горько признаваться, но эту девушку мы просмотрели. Привыкли считать, что полет на Луну — студенческая практика и никакой не подвиг. Было бы здоровье, каждого послать можно. Антарктида или океанские впадины куда опаснее. Да, просмотрели. Придется усилить психологическую экспертизу. Видимо, и тебя подключим, Гурий... в дальнейшем. А пока отпуск твой отменяется. Лечить не будем, будем обследовать. Ждал я чего-то подобного, и вот пришло. Очевидно, родилась третья сигнальная. Поздравляю, Гурий, тебе она досталась первому.

— А что такое третья сигнальная? — спросил я с опаской. — Это надолго? Это пройдет?

Глава 5

Что такое третья сигнальная?

Мне-то шеф объяснил двумя фразами, но ради популярности нужно напомнить кое-что школьное.

Живое существо — животное или человек — получает из внешнего мира сигналы: световые лучи, запахи, звуки, тепло, удары, уколы. На эти отдельные сигналы примитивные существа сразу же отвечают действиями.

У позвоночных, развитых животных, владельцев мозга, разрозненные сигналы складываются уже в систему — в

образ. Образ — это обобщение раздражений, первая сигнальная система по Павлову: я слышу грозное рычание, я чувствую острый запах, я вижу гриву над высоким лбом, крупную морду и толстые лапы. Страшноватый зверь — удирать надо.

Вторая сигнальная система — словесное обобщение образов: видел я таких зверей на картинках, в зоопарке, в цирке и в кино. Они называются львы. И мне уже не надо прислушиваться к рыку, разглядывать гриву. Достаточно крикнуть: «Лев!» — я побегу.

Третья сигнальная система — по логике вещей — обобщение слов. Во что?

Еще и так рассуждал шеф:

Раздражения — единичные сигналы.

Образ — комплекс раздражений — целая картина, составленная из простых сигналов.

Слово — обобщенный, но простой сигнал: несколько звуков.

Что на очереди? Может быть, некий комплекс, составленный из слов, какая-то мысленная картина.

Так рассуждал шеф. А что получилось, предстояло выяснить, изучая меня. И не знал я, надо ли мне жалеть себя, несчастненького подопытного кролика, или гордиться тем, что я первооткрыватель, первопроходец новой психологии.

Я-то предпочитал гордиться. И спросили бы, не отказался бы от почетной роли.

Итак, вместо лечения началось изучение. Прикрепили ко мне трех лаборантов, но главным образом для записи, потому что наблюдал я себя сам, а им диктовал самонаблюдения. Увы, в психологии такой необъективный метод — один из основных.

Я думаю, я стараюсь думать и замечать, как я думаю, о чем и в какой последовательности. Я чувствую и стараюсь проследить, что я чувствую, по какой причине и в какой связи.

Допустим, идет рядовое занятие в классе. Я на кафедре, дал задание, сижу в задумчивости, поглядываю на лица. Скольжу рассеянно взглядом, ничего особенного не вижу. Но вот задержался на одном, припомнил имя: Шарух. Подумалось: это человек мягкий, податливый, легко поддается влиянию. И сразу черты его расплылись, размокли, будто их водой размывает. И — словно нос корабля в воду — в них врезается острый угол.

А это я подумал о соседе Шаруха Глебе. Того я ви-

жу жестко очерченным, с профилем, как бы тушью обведенным, с резкими, угловатыми, стилизованными чертами.

Еще подумалось: «А почему он жесткий такой?» Знаю, расспрашивал. Родители были суровые, из тех, кто считает, что ребенка нельзя никогда ласкать, воспитывать только строгостью, требовать и наказывать. И вот на обведенное тушью лицо накладывается другое — замкнутого ребенка, не запуганного, но хмурого, не привыкшего шумно радоваться. Оттает ли? — спрашиваю себя. Едва ли. Очень уж жесткий контур, таким и останется, даже еще окрепнет к старости. Ведь с годами радостей все меньше, хотя бы оттого, что здоровье хуже, силы убавляются. И впрямь, контур становится все толще и чернее, уже не контур — кожа, кора, вот уже и человека не вижу, нечто черное и прямое, такая заноза, гвоздь с острием. И лежит этот гвоздь, резко очерченный, на переливающимся перламутровом фоне (чужая жизнь, что ли?), обособленный, непреклонный, чужеродный, прямой. Отрезок прямой — линия, выражающаяся уравниванием первой степени, самым простым и самым скучным. Сказывается математический этап моего обучения — уравнение жизни вижу я вместо лица. Но такая глухая неподатливая изолированность, как у Глеба, — редкость. Чаще уравнения жизни я вижу криволинейными, второй, третьей, четвертой степени, синусоиды, комплексы разнородных волн. У эмоциональных натур — острые всплески, как на осциллографе, у авантюрных — неожиданные зигзаги. У детей чаще крутой подъем, а к старости — пологий спуск, выцветающий и сужающийся. У нас, итантов, несколько крутых подъемов: каждый курс наращивания мозга — дополнительное детство.

Все это я могу выразить иксами-игреками: пропитался математикой насквозь. А от школьной любви к рисованию пришла ко мне красочность. Яркие люди так и выглядят яркими в моем мозгу, невыразительные — блеклыми, серыми разных оттенков, болезненные — землистыми. И в конечном итоге линии превращаются в струи — в некий поток жизни, поток же иногда (не всегда) — в колыхающееся цветное пятно. Что означает это пятно? Я воспринимаю его как некое обобщенное представление о человеке. Можно расшифровать его, изложить словами, тогда получится емкий трактат о прошлом и настоящем личности, ее характере и темпераменте, способностях и перспективах. Тракта́т получится многословный и не очень

вразумительный, так же как невразумительно словесное описание портрета: нос этакий, брови такие, лоб такой, а губы совсем не такие. Проще показать фотографию: вот какое лицо. Пятно в моей голове — квинтэссенция опыта и знаний. Этакий человек! Мысленно двинул пятно в будущее — вот что с ним сделается. Мгновенный вывод.

Шеф утверждает, что так мыслят опытные шахматисты. Не фигуры переставляют с клетки на клетку, а смотрят на позицию и ее меняют в воображении. Двинул коня — что получится?

Может быть, именно это и называется интуицией?

Но почему же над одним ходом думают по часу?

Я наблюдаю себя, шеф придумывает темы, диктует задания:

— Гурий, подумай о биноме Ньютона. Что увидел?

— Гурий, подумай о моем котенке.

— Гурий, подумай обо мне. Как я выгляжу?

В данном случае отказываюсь:

— Шеф, мне неудобно как-то. Мало ли что человеку приходит в голову невежливое. Мысли — это же только черновики рассуждения. Отредактированное выражают словами.

— Ладно, что ты читал сегодня? Что в голове осталось?

— Бумага, больше ничего. И не отбеленная — шероховатая, серая, оберточная. Книга была такая невыразительная.

— Познакомься, Гурий, молодой человек хочет поступить к нам в школу. Что отразилось в твоей голове, расскажи.

Шеф придумывает задания. Я формирую в мозгу цветные пятна, потом тшусь разобраться в них. Почему этот человек кажется мне голубым, а тот сиреневым? Какая тут закономерность?

И конечно, с самого начала шеф старается извлечь пользу из моего нового свойства. Если я гибель девушки мог предсказать, самое место для меня в приемной комиссии.

Однако вскоре выясняется, что именно там пользы от меня мало. Да, поговорив десять минут с молодыми людьми, я хорошо представляю, чего можно ждать от них... сегодня. Но ведь они получают инъекции, отрастят новую порцию мозга и через два-три месяца станут другими людьми с другими способностями. Что я улавливаю, соб-

ственно говоря? Я вижу процесс развития человека, не обязательно человека, вижу процесс развития. Пребывание же в школе итантов меняет процесс.

Отчаянные же, вроде погибшей девушки, мне не попадались ни разу. Безрассудные есть, есть любители риска, я отмечаю их. Есть и такие, которые будут прыгать через пропасть без особой надобности, могут и шею сломать. Но мои цветные линии и пятна не подсказывают мне, который прыжок будет роковым, первый или сотый. Может быть, у той девушки нервы были очень уж перенапряжены. А может быть, я угадал случайно. Возможно, и та девушка отучилась бы прыгать без толку, если бы при первом прыжке сломала не шею, а ногу.

Кто-то, а впрочем, я помню, кто именно, советует мне испробовать свой новый дар на спортивных соревнованиях. После двух-трех неудач у меня получается хороший процент попадания, особенно на длинных дистанциях, там, где решает запас сил, а не рывок. Но кому это нужно? Спорт — это игра, спорт — это зрелище, нет интереса смотреть, если знаешь, кто выиграет. Где-нибудь в прошлых веках на бегах я бы все ставки срывал в тотализаторе. Но в наше время давно забыли, что такое тотализатор. Даже и слово такое не во всяком словаре найдешь.

Потом шеф направляет меня в клинику, в отделение тяжелобольных. Я удираю оттуда через три недели. Невыносимо тяжело видеть столько густого страдания, столько людей с печатью смерти на лице. Да каждая санитарка это видит, каждая умеет видеть, могу только преклоняться перед ними. И опять-таки нет смысла в моем вмешательстве. Говорить врачам, что человек умирает? Они и сами это знают. Говорить, чтобы не лечили, не оперировали? Но как же не лечить, если есть хоть малейший шанс? А вдруг я ошибся, и тонкая ниточка жизни (я так и вижу ее ниточкой) не оборвется на этот раз, протянется на полгода, на год? Не смею я говорить врачу, что его усилия безнадёжны. Он обязан и в безнадежном положении прилагать усилия. Может быть, я полезен был бы в диспансере, где подстерегают зарождение болезни? Но и для того дела надо было бы растить мозг в четвертый раз, заполнять клетки всяческой латынью. В общем, я предпочел уклониться. Допускаю, что это эгоистично, не выдаю себя за образец для подражания, но я человек жизнелюбивый и худо переношу густые страдания. Впрочем, и шеф не настаивал на четвертом дорастивании мозга. Он хотел ис-

следовать мое теперешнее состояние, прежде чем двигаться дальше, считал, что добавочные инъекции собьют картину.

Еще и бытовщина была, совсем неуместная. Прослушав про мой талант гадалки, добрые знакомые начали ко мне присылать своих добрых знакомых; главным образом это были парочки, собирающиеся вступить в брак. От меня требовали, чтобы я угадал, будут ли они счастливы до конца жизни. И я составлял их цветные пятна, накладывал друг на друга, говорил, как сочетается желто-лиловое, красно-зеленое, сине-голубое. Иногда получалось красиво, иногда яркий цвет заглушал светлое, иногда тон был грязноватый. Сейчас задним числом могу свидетельствовать: мои цветковые игры подтвердились. Красивые сочетания жили красиво, некрасивые ссорились, яркие подавляли партнера. Конечно, если бы молодые учитывали свою тональность и постарались бы смягчить неудачное сочетание, я был бы опровергнут и разоблачен, как никчемная гадалка. Но часто ли супруги перестраивают свой характер ради семейного счастья? Любовь требовательна: «Давай люби меня, каков я есть!»

В конце концов шеф все-таки находит нам достойное занятие.

Нам, говорю я, потому что к тому времени нас было уже четверо. Новое видение прорезалось еще у троих, причем не у наших светил — Люции, Семена и Симеона. Эти, как и прежде, блистали в теории математики. Третья же сигнальная, если это и в самом деле третья сигнальная, открылась у середняков, таких, как я, и подобно мне трижды поменявших специальность. Через математику и педагогику мы прошли все четверо, но Ли Сын вместо инженерного дела изучал еще химию, Линкольн — экономику, а Венера — биологию (с жизнеобеспечением ей пришлось иметь дело, людей на Луне устраивать).

Венера! Надо же, какое громкое имя ей дали родители. И совершенно неуместное. Не могу сказать, что она некрасива, возможно, и красива, но не в моем вкусе: смуглая, почти сизая, приземистая, с головой, убранный в плечи, курчавая, с густыми грозными бровями и еще более грозным носом. Нос, конечно, можно было бы и выпрямить (в наше время это делается шутя, для косметики проще простого), но Венера гордится своим носом, считает его родовым отличием и надеется передать потомкам до седьмого колена. Во всяком случае, первенец ее родился с приметным клювиком. Генотип обеспечен.

Итак, шеф нашел для нас работу. Поручил подготовить тезисы доклада «Перспективы освоения Луны», ни много ни мало — на двести лет вперед.

— Двести лет? — переспросили мы. — Не многовато ли?

Но взялись с удовольствием. Перспективы развития, процесс развития! Это было нам по вкусу, это хорошо осваивали переливающиеся потоки.

Коротко: как пошло рассуждение?

Начиналось оно с разбега, с прошлого: еще в XVIII веке, как только зародилась промышленность, наметилось разделение жилья и заводов. Где строили их? На окраинах. Но и на окраинах заводы дымили, отравляли городской воздух вонючим газом, угаром, пылью. В XX веке заводы начали отгораживать зеленой зоной, выносить за пределы жилых округов в степи, леса, горы, на дальние острова. И все равно газы, дым и пыль летели в воздух, двигатели, печи и провода грели, грели, грели атмосферу, атмосфера изнемогала от тепла, климат портился...

И решено было выслать промышленность на Луну.

Вот высылают электростанции, высылают металлургию... Но если металл добывается на Луне, имеет смысл перевести туда и металлоемкое станкостроение. И если станки делаются на Луне, зачем же везти их на Землю, нагружать ракеты, тратить топливо зря, имеет смысл и станки использовать на Луне, оттуда доставлять продукцию, прежде всего малогабаритную: часы, приборы всякие, ткани, бытовую химию. Имеет смысл и приборы не возить на Землю — на Луне строить лаборатории, тем более что многие из них и нужны-то для заводов. А в лабораториях и на заводах будут люди, одними роботами не обойдешься. А человек требует человеческих условий, его нельзя вечно держать в подземельях, ему зелень нужна, сады, просторы... желательно зеленые просторы. Кислород на Луне есть — в тех самых породах, откуда добывается металл, со временем будет кислородная атмосфера, а ее надо беречь, не засорять пылью, ядовитыми газами и угаром. И где-то в пределах двухсот лет встанет вопрос о высылке промышленности с Луны, сбережения природы этого внеземного материка площадью чуть поменьше Азии. Жалко же целую Азию использовать как мусорную свалку.

Куда же мы высадим технику?

В космос, очевидно.

Вот и возвращаемся мы на круги своя: город-колесо, город-труба, кривые коридоры, уходящие под потолок, цеха с наклонными полами — так и кажется, что на тебя рушатся станки, — водяные шубы, заслоняющие солнечный свет. И проблема отбросов: не плоды метеоритные потоки!

Если возвращаемся к отвергнутому, подумать надо об отрицании отрицания.

Чего ради проектировать эти разрозненные города-трубы, города-кольца и цилиндры? Ради веса. Вес, желательный человеческому организму, создавался там вращением вокруг оси, центробежная сила создавала вес. На Земле вес центроостремительный, к центру планеты направленный, а в тех космических городах — центробежный. Для человека непривычно и неудобно. Удобнее был бы центроостремительный вес — искусственное тяготение.

Но как его создать? Наука не знает.

А если нужно? Создадут же.

Двести лет в запасе. Может быть, откроют через двести лет, может быть, через сто, а может быть, через десять? Искать надо.

И что это дает?

Разрабатываем перспективу:

Что даст открытие искусственного тяготения?

Что даст через десять лет и что даст через двести лет?

И где его искать? Наука не знает, но ведь и не ищет.

Я не буду пересказывать доклад. Это целый шкаф памяти, с графиками, формулами, расчетами, цифровыми таблицами. Желаящие могут затребовать тезисы, их пришлют из Центра Информации через час. Я говорю только о нашем подходе, нашей манере видения. Жизнь — поток, наука и техника — поток. Поток течет быстрее или медленнее, становится шире, уже, но течет обязательно, неудержимо ветвясь и сливаясь, обходя преграды, поворачивая, извиваясь, бурля или растекаясь, но течет и течет. Надо уловить — куда течет. Мы и старались понять — куда?

Старались понять вчетвером, хотя поначалу нам не так было просто договориться. Мы по-разному видели потоки-процессы. У меня раскраска была пестрая — видимо, сказалось увлечение рисованием; а Линкольн, музыкальный, как все негры, слышал мелодии течения, улавливал темпы — аллегро, модерато и прочие. Формы же геометрические, соответственно и уравнения получались у нас

более или менее сходные — математикой занимались мы все четверо. И договаривались мы чаще всего на основе графики. Тоже язык пришлось вырабатывать специальный.

— Лю, ты что видишь?

— А ты, Венера?

— Ситуация Арарат, — говорит Венера убежденно.

— И у меня Арарат, пожалуй, чуть-чуть араксистее.

— Ерунда какая. Ни тени араксистости.

Четверо нас, но уже надо вырабатывать терминологию, условные названия. Что такое араксистость? Этакое течение процесса, мы уже договорились, какое именно. Этакая картина. А легко ли объяснить образ? Лошадиное лицо — что такое? Лицо, похожее на лошадиную морду. А какая морда у лошади? Лошадиная, каждый видел. Или какого цвета роза? Розового. А что такое розовый цвет? Как у цветка розы. Светло-красный, но с белилами и оттенком голубизны. А что такое красный цвет? Это все знают.

Так вот, мы знаем, что такое араксистость. Процесс, график которого напоминает реку Аракс на карте, — большая волна, перегиб и малая волна ниже нуля. А араратистость — две волны, большая и малая, но обе выше нуля.

Поспорив и договорившись более или менее, мы заполняем страницу — очередную страницу доклада о будущем космоса и Луны.

Тот доклад мы представили в Институт Дальних Перспектив; особого интереса он не вызвал, показался несвоевременным. Но вызвал внимание к нам — итантам. Нам поручили другую тему: итанты в хозяйстве и науке. Тема оказалась необъятной: итанты — искусственные таланты, а где же не нужны таланты? Тему сузили, оставили — итанты как педагоги. А там пошло ветвление: опыт преподавания математики, подготовка итантов, распознавание способностей, типовые ошибки и т. д. и т. д.

Приглашать-то нас приглашали охотно, задавали кучу вопросов, слушали с любопытством, но не сказал бы я — дружелюбно. Такое отношение было: «Показывают нам сенсационную новинку, едва ли достойная новинка». И выслушивали нас внимательно, но, главным образом, чтобы возразить. Чаще всего мы слышали: «Это давным-давно известно в науке». Или же: «Вы ошиблись. Вы не в курсе дела, того-сего не учли, на самом деле так не получится».

Сначала мы очень смущались, уходили, краснея за свое невежество, даже просили избавить нас от этих скороспелых консультаций, потом, почитав, разобравшись, выяснили, что нам самим есть что возразить на возражения. И научились отвечать: «Да, товарищи, мы не все знаем на свете, вы глубже нас знаете свою специальность. Но разрешите обдумать ваши сомнения, ответить письменно или устно, если у вас есть время для повторного обсуждения». И мы находили ответ. И на следующем заседании уже стояли с горделивым видом, глядя на смущенных специалистов, пожимавших плечами, бормотавших неуверенно: «Да, пожалуй, что-то в этом есть».

Это было почетно, это было приятно. Приятно чувствовать себя сильным, догадливым, сообразительным, приятно побеждать в споре, приятно, что рядом с тобой, спина к спине, стоят твои товарищи, команда победителей: чернокожий Линкольн, желтокожий Ли Сын, густобровая Венера. И ты с ними — итанти, талант.

* * *

Рассказываю, и сам себя я ловлю на слове: не расхвастался ли, не преувеличиваю ли успехи, саморекламой не занимаюсь ли? Этакие мы универсалы, всезнайки, все можем, все видим.

Нет, конечно, не знаем мы все на свете, мы только соображаем быстрее, а специалисты в каждой области знают больше нас, и потому, как правило, при первом разговоре мы пасуем: то-то они знают давным-давно, а то-то мы неправильно толкуем, не получится, как мы предлагаем. В лучшем случае мы быстро сообразили то, что им давно известно.

Но в дальнейшем вступает в дело еще одно наше качество. Специалисты твердо знают положение в своей науке, знают по принципу «да — нет»: это можно, а это нельзя. Но мы-то видим поток. И мы знаем, помним, что движение побеждает всегда, никакая плотина не остановит реки, вода либо перельется, либо просочится, либо размочет, либо проточит, либо найдет другое русло. Этим мы и занимаемся: оцениваем высоту плотины, ищем другое русло, не в этой науке, не в этой отрасли. Мы ищем, а специалисты давно знают, что ничего не выйдет... У их учителей не выходило... но с той поры столько воды утекло.

И слышим: «Да, в этом что-то есть».

Еще и так скажу, совсем просто: разные есть дела на свете; в одном важнее знание, в другом — сообразительность. Мы — специалисты по сообразительности. Это не наша заслуга, мы итанти — мы искусственные. Но сообразительность нам дана, использовать ее приятно.

И увлекательно.

Лично я доволен, что стал итантом. Думаю, что в законы планеты стоит добавить параграф: «Каждый имеет право на талант».

Э п и л о г

Шеф сказал:

— Гурий, итанти нынче в моде, мы на острие эпохи. К нам идут толпы молодых людей, не совсем представляя, на что они идут. Надо рассказать им все, не скрывая ни радостного, ни горестного, точно, объективно, спокойно и откровенно, все с самого начала.

— С самого начала? — переспросил я. — И о вашей племяннице?

Итак, о Маше, еще о ней хочу досказать.

Вообще-то ничего не было бы удивительного, если бы она исчезла из моей жизни. Разве обязательно первая любовь становится женой? Только в романе героиню надо тянуть от первой страницы до последней. Обычно влюбляются в сверстницу, в соученицу, а сверстницы предпочитают старших, более сильных, более зрелых, для семейной жизни сложившихся. Вот Стелла, о которой я так много, слишком много говорил на первых страницах, исчезла же на дне своего океана, кальмаров разводит там, китов доит и кормит. Ничего не могу добавить о Стелле.

Но Маша, племянница нашего шефа, естественно, бывает у него часто. И мы время от времени встречались с ней, так что я был в курсе событий ее жизни. Мечта ее о нормальном ребенке сбылась: Маша родила дочку. Сейчас она уже подросла, длинноногая такая, длиннolica, мрачноватая, на Машу совсем не похожа, в отца наверное. Впрочем, девочки меняются, хорошеют созревая. Так или иначе, нормальная девочка, не отсталая и не чересчур способная, а к математике равнодушная совершенно, предпочитает одевать кукол.

С нормальным же мужем своим Маша, видимо, не ладила с самого начала. Он был человек простоватый, хотя и с выдающейся прыгучестью, твердо убежденный, что муж должен превосходить и превосходит жену во всех отношениях, а Машу как-никак все-таки сделали итанткой немножко. И Маша первое время старалась угодить мужу, очень подлаживалась к его интересам, глушила всплески таланта. Впрочем, тогда маленькая дочка поглощала все ее время. Но потом девочка пошла в детский сад, появились свободные часы, ожили культурные интересы. Работу Маша сменила, бросила свою гимнастику, все меньше времени проводила дома. Муж обижался, муж предъявлял претензии.

В общем, расстались они.

Маша переехала назад к родителям, стала часто бывать у дяди. Как раз в то время и меня вернули с Луны в школу итантов; я усердно занимался психологией, часто консультировался у шефа. И встретились мы с Машей... нечаянно... раз, другой, потом начали встречаться намеренно.

Эх, не проходит, никогда не проходит бесследно несостоявшаяся первая любовь! Остается как заноза, как осколок в сердце. И улегся, казалось бы, и зарос, а нет-нет — шевельнется, кольнет, боль нестерпимая.

Второе дыхание пришло к моей первой любви.

В ту пору я был погружен в работу по уши, осваивал свой непонятный класс — двадцать загадочных личностей, — а у Маши вдоволь было свободного времени, и я получил возможность, такую заманчивую для мужчины, разглагольствовать перед сочувствующей женщиной, внимательно смотрящей тебе в рот. Вот я и мучил терпеливую слушательницу, рассказывая о своих затруднениях с порывистым Педро, основательным, но глуховатым Густавом, о восприимчивой к внешнему Лоле, никак не воспринимающей лунные масштабы, о том, как я стараюсь преодолеть их порывистость, медлительность и непонимание Луны.

— И о каждом ты заботаешься так? Какой же ты добрый, Гурик!

— При чем тут доброта? — оправдывался я. Как и в мальчишеские времена, доброта казалась мне немужественной. Хотя в сущности сильный и должен быть добрым именно потому, что он сильный, может и себя обеспечить, и слабенькой помочь. — При чем тут доброта? Работа у меня такая, наставительная.

— Нет, ты добрый,— настаивала Маша.— Я это еще в школе поняла. Когда все девчонки окрысились на меня, только ты встал на защиту.

— Разве я встал на защиту? Просто я самостоятельный был, у меня не было оснований обижаться на тебя, я терпеть не мог математику, мне этот конкурс был как рыбке зонтик.

— Нет, ты добрый, ты меня пожалел.

Обсудив проблемы доброты и жалости, я включал диктофон, чтобы записать свои соображения о Педро, Лоле и Густаве, а Маша тихонько сидела у меня за спиной, для дочки что-нибудь кроила, склеивала, изредка вставая, чтобы заглянуть мне через плечо, и при этом ласково чуть-чуть кончиками пальцев поглаживала по моим волосам. Почему-то это робкое поглаживание больше всего умиляло меня.

И все у нас шло хорошо, пока не вселились мне в голову утроенные лица, и звериные мордочки, и витиеватые линии, и цветные облака, араксистость и араратистость. Я начал думать иначе, я начал говорить иначе — невнятно, с точки зрения окружающих.

Вот, например, Маша с трепетом приносит мне видеоленту, взволновавшую ее душу, сентиментальную сверх всякого предела историю верных влюбленных, полюбивших друг друга с первого взгляда и мечтавших о соединении всю жизнь, десятилетия наполнявших мечтами. Догадываюсь, что Маше хотелось бы, чтобы я был из той же породы, мечтал бы о ней и мечтал. Я говорю:

— Маша, это разведенный сироп, жиденький, бледно-бледно-розоватенький.

Маша приносит стихи своего поклонника о чувствах, подобных грозе, урагану, заре, закату, метели, ливню,— сплошной учебник метеорологии. Я говорю:

— Я вижу суп с зеленым горошком. Зеленое — описание природы, прочее — вода.

Маша обижается, конечно. Ей лестно было вызывать пургу, ураган и прочее в чьей-то душе, даже в душе ненужного поклонника.

Маша знакомит меня с Верочкой, своей ученицей, совсем молоденькой девочкой, невестой. Верочка прослышала о моем новом даре (от Маши, конечно) и просит предсказать, будет ли она счастлива в браке. Четверть часа я беседую с ней, четверть часа с женихом, потом говорю Маше:

— Мутновато.

— Загадками говоришь,— возмущается Маша.— Объясни членораздельно, по-человечески.

— Но я так вижу. Он — пронзительно-желтый, Верочка — голубенькая. Вместе что-то серо-зеленое, нечистый тон, грязноватый даже.

— Злой ты стал какой-то.— Маша пожимает плечами...

— Выламываешься,— говорит она в другой раз.

Потом всплывает ревность:

— С Венерой своей разговаривай так, с носатой красоткой.

И вот беда: в самом деле, мне с Венерой легче разговаривать. Мы понимаем друг друга, у нас общий язык, мы близкие, не одной крови, но одного мышления. Маша осталась где-то на другой стороне, пропасть расширяется, и все труднее наводить мосты.

И смертельную обиду вызываю я, сказав, что дочка ее как оберточная бумага — шершавая и сероватая. Почему как «бумага»? Потому что никакая она, не человек еще, «табула раза», жизнь еще напишет на ней содержание. Почему как «оберточная»? Потому что не очень чувствительна Маша девочка, только жирные буквы отпечатываются на ней. И «шершавая» потому, что толстокожая. Но ведь все это я выразил короче. Лаконичны мои новые образы.

— Ты меня дразнишь? Ты оскорбить меня хочешь?

Снова и снова объясняю я, что не злюсь, не выламываюсь, не дразню и не оскорбляю. Вижу я теперь иначе! Машу не утешают мои оправдания. Маша рыдает, ломая руки: пальцы сплетает и расплетает, локти прижимает к груди, словно ей мешают собственные руки, хочет оторвать и отбросить. Маша не находит себе места, Маша не находит слов.

— Ты совсем другой человек, ты чужой, чужой, я такого не знала никогда. Я не могу любить каждый год другого. Я знаю, ты не виноват, это все проклятые эксперименты дяди. Ну какое он право имеет вмешиваться в душу, перелицовывать человека? Где мой милый, добрый Гурик? Подменили, выдали другого — сухого, циничного, оракула всевидящего. А потом будет еще какой-нибудь величественный, снисходительный, божественный. Все разные, все чужие. Я так не могу, не могу, не могу!

Мне не удалось утешить Машу. Она убежала, отмахиваясь, и я решил отложить разговор на другой день, когда



она не будет так расстроена. Но она не пришла завтра и послезавтра, а потом я получил от нее письмо. Письмо само по себе — символ разрыва. В наше время, когда так легко появиться на запястье, в кружочке наручного экрана, письма пишут, если не хотят видаться.

«Гурик, прощай,— писала Маша.— Гурика, которого я любила, больше нет на свете. А ты только его тезка, чужой человек, захвативший имя и внешность моего лучшего друга. Я даже не уверена, что ты человек. И не преследуй меня, не ищи. Такого я не люблю, такого я боюсь».

Вот так получается. Как говорит шеф: «За все на свете надо платить, а кто платит, тот тратит». И кто осудит Машу? У нее своя правда. Маша — хранительница человечества. А я не сохранился, я изменился. Кто меняется, тому изменяют.

Я кинулся было к шефу:

— Спасайте, выручайте, не хочу быть пожизненным кроликом, заберите третью сигнальную, отдайте мою личность!

Но в сущности, я заранее знал, что он ничего не может сделать. Как отобрать у человека талант? Испортить мозг лекарствами? Но кому нужен жених с испорченным мозгом?

Есть, конечно, средство, я и сам догадывался. Талант можно засушить бездействием. Год не пускать в ход лобастую голову, два, три, не думать об уравнениях, графиках, учениках, о людях вообще — отучится она вырисовывать потоки с дельтами и мандрями. Можно, например, возродить детскую свою мечту, закинуть за плечи рюкзак с этюдником, выйти из дому пешком, взять курс на Верхнюю Волгу, Ильмень и Ладогу, вглядываться и радоваться, рисовать цветочки и кочки, ветки и морщины коры, этюд за этюдом, альбом за альбомом «Живописная планета». Можно и не рисовать даже, в каком-нибудь заповеднике обходить просеки летом и зимой, проверять, «пушисты ли сосен вершины, красив ли узор на дубах», и радоваться, что кто-то где-то перевел на Луну еще один завод, освободив сотню-другую гектаров для сосен и дубов.

И лет через семь, выдержав характер, как библейский Иаков, приду я к своей Рахили с докладом: «Маша, я совершил подвиг долготерпения, я достоин тебя, мне удалось поглупеть».

Так, да?

Не хочется.

Жалко мне расставаться с глобальными задачами, решающимися в переплетении цветных линий, жалко спянной нашей четверки «Четверо против косности», жалко бросать будущие дела и сегодняшнее срочное: «Земле — зелень, Луне — дым».

Пусть земное небо будет чистым ради чистой наследственности Машиных детей!

Чтобы сохранить Землю, надо изменить Луну, — менять, чтобы сохранить. Вот такая диалектика.

Чтобы сохранить человечество, надо менять человека. Такая моя правда.

Но кто меняется, тому изменяют. Это правда Маши. У Маши — своя. У меня — своя.

Чья правда правдивее?

СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ

Научно-фантастический рассказ

Да, это и есть наша контора. Райсудьба — так называют нас в городе. Официальное-то название — Консультация по вероятностному прогнозированию личной жизни (Конверпролиж). Но не привилось. На слух неприятно: не то лыжи, не то лижет. Пишите — «Центр Судьбы». Кратко, загадочно и выразительно.

Сам я консультант-прогнозист, эксперт по личному будущему, инженер-предсказатель. Тут и принимаю, в этом кабинетике, небольшом, как видите, даже тесноватом. Но, представьте, тесноватый удобен для тесного общения. В обширном зале налет официальности, люди теряются. Зал влечет к громким речам, отпугивает задушевную откровенность. Откровенничают люди в уютной комнатке. Шторы на окнах тоже для уюта, для доверительности, чтобы свет не будоражил, уличный грохот не отвлекал.

Да, откровенность нам необходима, мы же прогнозисты, а не гадалки, не щеголяем сверхпроницательностью, честно предупреждаем клиента: чем больше расскажете о себе, тем вероятнее прогноз. Прошрое экстраполируем в будущее. Как в Бюро погоды: завтрашний день вычисляется по сегодняшнему. У нас тоже вычисляется. Все, что клиент рассказал, записывается на ленту, препарируется, перфорируется и анализируется машиной. Сама она слева от вас за перегородкой. А занавеской прикрыт экран. Когда информация обработана, машина преобразует ее в зримые образы. Вы на экране видите себя, но в будущем.

Ваше будущее показать? Могу, конечно, если вы сядете в кресло и подробно расскажете о себе. Но это работа на

час, на полтора. Предпочитаете присутствовать на приеме? Нет, это не разрешается. Посторонний смущает клиента, тот начинает недоговаривать, а каждое умолчание обедняет истину, вносит дефекты в конечные выводы. Рассказать характерный пример? Рассказать-то можно, но будет ли это интересно вашему читателю? Как правило, к нам приходят женщины с неустроенной судьбой: разведенные, брошенные, овдовевшие. Мужчины бывают реже, определенного типа мужчины — пассивные натуры, которые на себя не надеются, плывут по течению, уповая на пряники с неба. Вот они-то и справляются нетерпеливо, скоро ли начнется пряничный дождь? Еще воображали — эти хотят узнать, когда же наконец человечество признает их гениальность. В сущности, тоже пассивные: ждут незаслуженной награды, милости от стечения обстоятельств. А активные — те сами выбирают дорогу. Женщины же, которые к нам приходят, рады бы выбрать, но не из кого. Если выбор есть, без нас обходятся. Впрочем, бывают и исключения. Бывают. На прошлой неделе было одно. Рассказать? Расскажу, пожалуй, но с условием, что опубликуете через год. Да, не раньше. И разрешение я сам запрошу.

На Наташу я обратил внимание еще на улице. Фамилию не скажу, выдумывайте какую хотите, а Наташа — подлинное имя. Тут псевдоним изобретать незачем, в нынешнем поколении каждая третья девушка — Наташа. Еще Тани, Оли, Ирочки, Леночки — вот и весь набор. Неизобретательны мы на женские имена. Так вот, обратил я внимание на нее еще на улице, как только сошел с троллейбуса. Не потому заметил, что хорошенькая. Хорошенькая само собой: блондинка, румянец, талия гибкая. Главное — походка. Не идет — летит, парит над асфальтом. Тротуар для нее не грунт, не опора, а трамплин. Пружинки вместо стелек, крылышки на туфельках. Чуть прикоснулась — и пружинит, оттолкнулась — скользит над асфальтом, грудь вперед, плечи вперед, шейка вытянута, вся устремлена вперед, как будто точно знает, что счастье за углом, к счастью торопится. Я еще подумал: «Эта не ко мне».

Пыхтя и вздыхая о прошедшей молодости, поднялся на третий этаж, прошаркал до своей двери номер семнадцать, гляжу — она! Уже не стремительная, но устремленная, натянутая тетива.

Я нарочно помедлил, не сразу ее пригласил. Не потому, что цену себе набивал, у нас не принято клиента зря томить. Мы знаем, что люди идут к нам со своей тревогой,

их не накалять, а успокаивать надо. Вот я и подумал: «Пусть посидит немножко, расслабится». И когда я пригласил ее, тоже не сразу заговорил, халат надел не торопясь, бумаги разложил. Перекладываю, а сам присматриваюсь.

Присмотрелся. Спрашиваю неторопливо:

— Пломбир хотите? Я положил для вас в морозильник.

Она вскинулась:

— Откуда вы знаете, что я люблю мороженое?

Объясняю, не таясь, не важничая:

— Обычно клиентки приходят к нам взволнованные. Курящие сразу же просят разрешения закурить. Вы не просите — значит, не курите. Еще вижу: у вас румянец во всю щеку, полон рот зубов, наверное, аппетит хороший. Такие любят сладкое, шоколад или мороженое.

Подобными мелочами мы и добываем доверие. Девочка видит: перед ней не таинственный колдун, а добрый доктор, но не только добрый, еще и проницательный.

А я между тем продолжаю набирать очки.

— Так в чем же проблема? — спрашиваю. — Растерялись, не знаете, которого выбрать?

Почему о выборе заговорил? Хорошенькая, стройная, румяная и белозубая. Несется на туфлях с пружинками, уверена, что счастье ждет за углом. Такие в невестах не задерживаются.

— А я уже выбрала, — говорит Наташа. — Я люблю!

Ах, как это было сказано! Глазки прищурены, головка вскинута горделиво. Как будто призналась: «Да, это я та самая, знаменитая. Да, это я чемпионка, я завоевала первый приз, это я совершила подвиг. Люблю! И по-настоящему. Высшее достижение жизни!»

— Ну и зачем же тогда вы пришли ко мне?

Тон заметно снизился:

— У девушек трудная судьба. Выбирать надо в самом начале и на всю жизнь. А мне только девятнадцать, какой у меня опыт? Вот я и пришла к вам за советом. Хочется знать, буду ли я счастлива с Геной. Боязно, знаете ли. Страшно даже. Ошибиться боюсь.

— Но если вы любите и уверены в своей любви, может быть, не стоит заглядывать в будущее?

Мы в нашем Центре Судьбы обязательно задаем клиентам такой вопрос. Жизнь, сами понимаете, не сплошные букеты цветов. Впрочем, даже и в букете роз рядом с цветами шипы. Всякое бывает, и машину не программируют на умолчание. Можно, конечно, настроить ее и на

розовый туман, ввести поправку на «авось обойдется». Но тогда какой же смысл в научном прогнозе? Вот и сомневаешься: всем ли и всегда ли выдавать нагую истину? Трезвые будни придут в свое время, но ведь перед буднями теми праздник — стоит ли его упускать?

Объяснил я все это Наташе.

— Нет, я хочу смотреть правде в глаза,— объявила она.

Ну, что ж, мужество достойно уважения. К тому же клиент имеет право на правду, он за ней пришел.

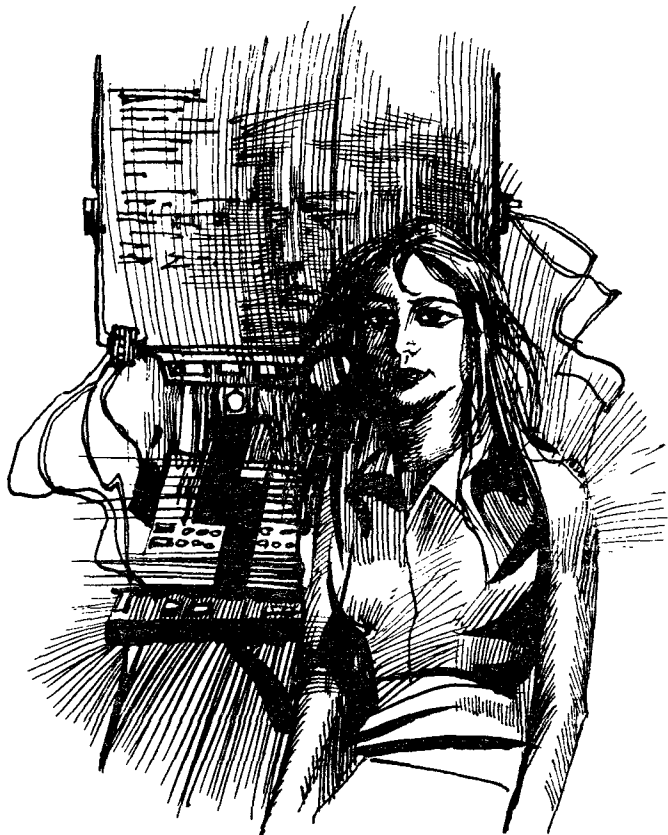
— Тогда рассказывайте все подробно,— предложил я, усаживаясь в кресло плотнее.— Чем больше деталей, тем точнее прогноз. Фотографии догадались принести? Целый альбом! Очень хорошо. Умница. Так и надо.

Полистал я альбом. Геннадий, Наташин избранник, в самом деле располагал к себе. Высокий, тонкий, даже излишне худощавый, с длинными руками музыканта и выразительным лицом: волнистые волосы над высоким лбом, лепные черты, близко поставленные, глубоко запавшие глаза, тонкий длинный нос, тонкие губы с насмешливой улыбкой. По рассказам Наташи он и был насмешником в жизни, мгновенно подмечал оплошности, несообразности, противоречия, в особенности противоречия между словами и фактами. Живо интересовался всем на свете, читал популярные журналы от корки до корки и выуживал оттуда каверзные вопросы — честно говоря, не для уточнения, а от каверзости, чтобы учителей ставить в тупик. И все искал ошибки у великих людей: а почему Колумб настаивал, что он открыл Индию? А почему Кювье отрицал изменчивость видов? А почему Резерфорд не увидел практической пользы в атомном ядре? А почему Менделеев не признавал?.. А почему Эйнштейн не понимал?.. А почему Грибоедов?.. А почему Лев Толстой?..

Девочки-одноклассницы были в восторге от Геннадия: «Такой умный! Такой остроумный!» Но дружил он только с Наташей, из всех выбрал одну.

— Почему именно вас? — спросил я. Хотя мог бы и не спрашивать. Кому не понравилась бы эта живая пружинка с крылышками Меркурия на туфельках!

— Потому что со мной можно было дружить в прямом смысле, не только под ручку ходить,— сказала Наташа.— Вы же совсем не знаете девочек, девчонок из нашей группы, я хочу сказать. Они не склонны вникать в суть. Красиво говорит — значит, умный, а что именно говорит — уже неважно. Им даже нравится, если мальчик плетет что-то непонятное. «Такой молодец!» — умнее, чем они



сами. А со мной Геннадий мог все обсуждать, даже и научное. Я и спорила иногда.

— И что же вы обсуждали... научное?

— Не знаю, имею ли право пересказывать. У Гены большие планы, но оформление только начато. Если всюду распространять, кто-нибудь может использовать.

— Наша беседа записывается машиной,— успокоил я Наташу.— Если возникнет спор о приоритете, можно предъявить запись. Даже удобнее для вас: есть документ, есть свидетель.

Почему я настаивал? Все та же причина: чем больше материала, тем точнее прогноз. А для прогноза важно не только мнение влюбленной подруги, но и содержание «больших планов» Геннадия. И важно объективно оценить

понимание Наташи: сумеет ли она связно изложить «научное» или, подобно «девчонкам из нашей группы», только ахать будет: «Ах, Гена такой умный, такой замечательный!»?

И рассказать она сумела. И суть, пожалуй, была незаурядной, нестандартной по меньшей мере. Друг ее, студент второго курса, задумал ни много ни мало — основать новую науку. Какую? Вероятно, я и сам мог бы догадаться, если бы было время подумать. В самом деле, какую науку мог придумать человек с острым умом, язвительный насмешник, везде подмечающий несообразности, у великих ученых выискивающий ошибки? Науку об ошибках, естественно. Так он и назвал ее — ошибковедение.

Пока что существовало только название да еще был написан план предисловия к будущей монографии. Эпиграф подобран — солидный латинский афоризм: «Errare humanum est» («Человеку свойственно ошибаться»). И еще другой эпиграф — из числа изречений Менделя Маранца (и откуда только Геннадий раскопал такую старину?): «Что такое жизнь без ошибок? Это рот без зубов. Не бывает больно, не бывает и приятно».

Предисловие начиналось с рассуждения о пользе ошибок. Естественно, Геннадий ссылаясь на ошибки наследственности. Из неправильных, сломанных и испорченных генов природа складывает код более совершенного вида. «Ошибки необходимы для развития», — утверждал Геннадий. Потом поправил себя: «...для развития жизни». Вспомнил, что неживая природа не ошибается, поскольку у нее нет цели. Цели появляются вместе с жизнью. Первейшая — уцелеть. «Цель — уцелеть» — наверное, не случайный каламбур.

Уцелеть — означает прокормиться, сохранить себя и оставить потомство для сохранения вида. Для решения этих трех первоначальных и трех или трехсот миллиардов вторичных, третичных и прочих задач нужна информация о внешней среде, например: вижу зверя, живое существо. Далее нужна обработка информации — узнавание: заяц или лев? Нужен вывод — решение: хватать или удирать? И нужны действия, чтобы схватить или удрать. И на всех трех этапах возможны ошибки. Ошибки органов зрения — не заметил, не разглядел. Ошибки суждения — принял зайца за льва. Ошибки действия — не сумел догнать, не сумел удрать.

«Вся история жизни на Земле — это история преодоления ошибок», — утверждал Геннадий.

Ошибки физиологии: почки распускаются в оттепель. Ошибки поведения: лягушка устала в пасть змеи — мошку ищет на кончике жала. Ошибки растений, ошибки животных, ошибки органов тела болезнями называются. Ошибки машин — к авариям ведущие.

И в конце своего введения Геннадий написал горделиво: «Ошибковедение неисчерпаемо, бесконечно и вечно. Бесконечно потому, что бесконечна природа. Вечно потому, что надо знать все, чтобы устранить все ошибки. Но чтобы узнать все, необходима вечность».

К сожалению, пока еще великая наука ошибковедения не была создана. Имелось предисловие к введению. Наташа помнила его наизусть. И план был составлен. По плану предполагалось написать три тома.

Том первый Геннадий хотел посвятить описанию типовых ошибок — биологических, экологических, экономических, технических, математических, ученических, а также житейских. Второй том предполагал отвести причинам ошибок. Целый том! Хотя причин насчитывал только три — незнание, неумение и нежелание.

Незнание определить сравнительно просто. Границы известного известны. Например, строение атомного ядра выяснено, строение ядерных частиц неизвестно. Значит, в суждениях и рассуждениях о частицах могут быть и ошибки. Поверхность нашей планеты нанесена на географические карты, а в недра рекордные буровые проникли на двенадцать километров. Вывод: в рассуждениях о недрах могут быть и ошибки. Кроме того, Геннадий различал еще три вида незнания — всеобщее, групповое и личное. Всеобщее понятнее всего — мировая наука не дошла. Никто ничего не знает, и баста! Личное: я не знаю достижений мировой науки, не все выловил из океана информации. Групповое — это уже болезнь XX века. Я специалист, и я не знаю новинок чужой специальности. Допустим, я конструктор, знаток сопротивления материалов, но не знаю геологии. Или же я геолог, и сопротивление материалов мне ни к чему. А между тем...

И знаете, что разглядел этот мальчишка? Сходство увидел он между железобетонными балками и платформами земной коры. Вот что значит читать все подряд без разбора. Оказывается, когда балка, заделанная двумя концами, перегружена, трещины на ней возникают косые, наискось идут сверху вниз под опоры. А на планете нашей все главные трещины, где рождаются землетрясения, идут сверху вниз наискось под материи: от Тихого океана под

Америку, Северную и Южную, или же под Азию; с юга же под пояс Альпы — Гималаи, даже от Черного моря под Крым. Потом я проверял, справлялся у геологов. Они сказали, что трещины идут именно так, это верно высчитал Геннадий, но сопротивление материалов тут не имеет значения, потому что геология — это одно, а строительная механика — совсем другое: разные науки, никакого сходства.

Неумение — вторая причина ошибок. Тоже бывает различное. Прежде всего оно определяется аппаратурой. Не создан достаточно мощный ускоритель, не создан сверхгромадный телескоп — не видны глубь и даль. И опять-таки неумение всеобщее, общенаучное, общетехническое. Само собой, может быть неумение и групповое — в данной специальности; повсеместно и неумение личное. А помимо всего, Геннадий выделил еще и неумение психологическое: неспособность мыслить объемно. Природа диалектически противоречива, человек же склонен рассуждать прямолинейно: «Да — нет, хорошо — плохо». Это наследие первобытных предков. Им необходимы были быстрые решения, чтобы не медлить, сразу решать: съедобно или опасно, ловить или бежать? У детей четко выражено это полярное отношение: он плохой, она хорошая; хороших надо одаривать, плохих — бить.

И наконец, нежелание. Тут я, наверное, мог бы порассказать побольше Геннадия. Но честь и слава юноше, что он подметил этот злокозненный раздел.

Ошибки незнания и неумения отступают с годами. Приборы совершенствуются, поступают новые факты, тени отступают в полдень. Но нежелание сопротивляется упорно и активно, наводит тень на ясный день. Да-да, нежелание устранять ошибки.

Дело в том, что знание не только сила, но еще и товар. Можно кормиться, продавая правильные знания, а можно подсовывать и неправильные, выдавая их за истину. При этом покупателю необходимо внушать, что товар у тебя добротный, высшего качества, что у тебя никогда не бывает гнилья, а вот у конкурентов сплошь плесень и отравы. Это очень хорошо усвоили продавцы истины в древние времена (жрецами их называли). И они очень заботились о монополии на продажу истины, отвергали, отлучали и побивали камнями искателей ошибок: и предлагающих поправки к божественной истине — еретиков, и тем более — опровергателей (безбожников).

К счастью, мы живем не в те времена. Гневные за-

щитники истины в XX веке не посылают еретиков на костер — это не принято в научных кругах. Но есть заинтересованные стороны, склонные невольно, подсознательно настаивать на решении, выгодном для себя, для своего круга, своей области, для своих друзей, для себя лично.

Я сам из таких отчасти, подмечаю иногда. Да, все мы ценим истину, ищем истину, восхваляем истину, воспеваем истину, трудимся в поисках истины и очень ценим свои труды. Неприятно же вычеркивать страницы и главы, выбрасывать в мусорную корзину часы, дни и годы; неприятно и даже стыдно публично признаваться в своих ошибках, оповещать научные круги, что твоему мнению нельзя доверять беспрекословно. Так хочется найти довод в свою пользу, хотя бы малейший. И доводы находятся. Малые, но весомые, веские, даже перевешивающие, даже решающие, даже неотразимые. И оказывается, что прав был я, только я прав, не правы поправляющие, их поправки не верны, вредны, нечестны, откровенно преступны.

Ох, зловредны эти ошибки от нежелания!

С ошибками от пристрастного нежелания Геннадий познакомился в доме своего друга (о друге еще будет речь впереди). Отец того друга был гидростроителем, изыскателем в прошлом, ныне историком науки и увлеченным энтузиастом. В домашнем кабинете его стоял громаднейший глобус, на котором были обозначены крупнейшие гидростанции — построенные, строящиеся, а также возможные, предложенные, но не построенные, даже отмененные, которые и не будут строиться. И отец товарища с гневным возмущением говорил об «этих заплесневелых обскурантистах, которые ставят палки в колеса самому прогрессивному направлению...».

Но кто были эти самые «заплесневелые обскурантисты»? Экономисты, агротехники и географы, как узнал Геннадий вскоре. Ведь гидростанция не только работает, еще и требует работы — несколько лет труда до самого первого киловатт-часа. Орошает сухие земли, но затапливает и орошенные, лучшие, пойменные. Приносит доход, но требует и расхода: губит леса, дороги и города в зоне затопления. Да, изыскатель выбрал наилучший створ, но есть люди, возражающие против любого створа. Может быть, и правы те, которые доказывают, что в данном случае прогрессивное направление невыгодно. Невыгодно! И летят в мусорные корзины проекты, годы трудов. Так что же, признаваться, что работала зря целая группа, целый ин-

ститут, годами тратили фонды? Ни за что! Происки заплесневелых!

Нежелание личное, нежелание групповое!

А есть ли нежелание всеобщее, общечеловеческое?

Ядовитый Геннадий утверждал, что есть и такое. Называется оно «антропоцентризм». И выражается примерно в таких идеях: «Земля — центр Вселенной», «Бог создал человека по своему образу и подобию», «Человек — вершина творения», «Наша цивилизация — единственная в Галактике», «Робот никогда не превзойдет мыслящего человека» и т. д.

Но тут, мне кажется, Геннадий переборщил в своем юношеском нигилизме.

И довольно о втором томе. Третий же Геннадий намерен был отвести методике. Но тут объяснять нечего. В томе первом описаны типовые ошибки, в томе втором — их причины. Значит, надо взять конкретную задачу — биологическую, экологическую, экономическую, — определить границы знаний (общественных, групповых и личных), границы умения (научно-теоретического, технического, психологического — общественного, группового и личного). В результате вычерчивается график — поле знаний. На нем области точного знания и полужнания — область гипотез. На поле знаний накладываются поля групповых и личных знаний. На большом поле — малые поля. Где нет совпадения — площади возможных ошибок. Поле накладывается на поле — выглядит солидно и современно.

Само собой, всю эту теорию я пересказываю своими словами и вкратце. Наташа излагала мне ее добрый час, очень толково излагала, с пониманием, не только с восхищением. Поколебавшись еще раз, она развернула и позволила машине заснять красочную схему-график (девушка сама разрисовала ее цветными фломастерами), а в заключение прочла отрывочные записи — беглые мысли юного гения, записанные бисерным девичьим почерком. Читая, Наташа все поглядывала на меня: прихожу ли я в восторг, ведь правда же, замечательно? Но вслух спросить стеснялась — опасалась уподобиться тем экзальтированным девицам, которых сама же осуждала.

А я, по правде сказать, завидовал. Никогда никакие девицы не записывали бисерным почерком мои мысли, не читали их с радостью всем знакомым и незнакомым. Но ведь я и не пытался основать новую науку.

— И за чем же задержка? — спросил я. — Вы его лю-

бите, безусловно. А он? Тоже любит? Ну, так женитесь и будьте счастливы.

— Говорят, что я хлебну с ним горя.— Наташа опустила глаза.

— Кто говорит?

— Мама. И Лена — это моя старшая сестра. У нас нет секретов друг от друга. И Сергей тоже.

Ага, и Сергей появился на горизонте.

— Кто такой Сергей? Соперник?

— Пожалуй. Ну, в общем, он мне делал предложение.

— Расскажите о нем со всеми подробностями.

Мне был предъявлен портрет, он оказался в том же альбоме. Крепкий, широкогрудый, основательный парень в замшевой куртке с многочисленными карманами и молнией на каждом кармане. Этаким богатырь... Вероятно, он шутя клал на обе лопатки гибкого Геннадия... если, конечно, успевал обхватить его. С фотографии Сергей глядел хмуро — вероятно, старался придать солидный вид своей круглой, мальчишеской, не очень выразительной физиономии.

— Стало быть, у Геннадия есть и враг?

— Нет, нет, совсем не враг,— поспешно возразила Наташа.— Они давнишние друзья, в одной школе учились, вместе решили поступить в наш институт. Сергей убедил, конечно. Он для Гены как бы старший брат. У Гены настроения, заскоки, взлеты и провалы, а Сережа — твердая ось. Он и учится ровно, и глупостей не делает никогда. И Гену выручает, когда его заносит — брякнет что-нибудь неуместное или в историю ввяжется. Сережа все повторяет, что таких, как Гена, мало, их беречь надо.

— Тоже восхищается, как и вы, Наташа?

— И восхищается, и возмущается. Говорит, что Гена не умеет уважать свой талант. Наставляет и направляет. Ну и соревнуется все время. Когда Гена делает доклад, Сергей старается взять близкую тему. Часто побеждает потому, что Гена остывает на полпути, не доводит дело до конца. Мне даже кажется,— добавила Наташа после паузы,— что Сережа и за мной начал ухаживать, когда узнал, что мы... дружны с Геной. Для него темы Гены — самые интересные и девушка Гены — лучшая из девушек.

Я подумал, что наблюдение Наташи делает ей честь. Вдумчивая девушка. Другая бы просто считала себя неотразимой.

— А о теории ошибок Сергей знает? Или это секрет от него?

— Знает с самого начала. Гена — открытый человек: что на уме, то и на языке. Сережа знает, но говорит, что ничего не выйдет. Все твердит, что наука — это труд и труд, открытия не даются кавалерийским наскоком. Идея сама по себе ничего не стоит, идея — четверть процента или того меньше. Ошибковедение — всего лишь слово, а слово придумать не так уж трудно. Вот он, Сергей, изобретет еще одно слово — истиноведение (наука об истине). Слово есть, но какой в нем смысл? Вся деятельность ученых и есть поиск истины — значит, истиноведение только другое название для науки. А ошибковедение — третье название, потому что ошибки есть во всех науках, все заняты искоренением ошибок.

И еще он говорит, что Гена надорвется обязательно, если займется ошибковедением всерьез. Нельзя объять необъятное. Одному человеку не под силу изучить все науки, всю технику, всю жизнь. До нашей эры, во времена Геродота, еще можно было обзирать всю историю с географией вместе потому, что знаний было немного. Но с тех пор наука так выросла, так разветвилась, накопила гималаи фактов, охватить их одним умом невозможно. Научный работник, если хочет принести пользу, должен сосредоточиться на чем-то одном, иначе он утонет в библиотечном море. Сегодня, чтобы выйти за границы известного, надо себя ограничить. Так говорит и отец Сережи.

И самое главное, не надо воображать, что ты первый ученый на Земле. Тысячи лет люди исследуют природу, кое в чем разобрались сообща, международным коллективом. Наука не создается одиночками. Новичок приходит в коллектив и вливается в коллектив, чтобы продолжать начатую работу, а не переиначивать все по-своему. Вот он, Сергей, и будет продолжателем, пойдет вперед продолжая, а не возвращаясь к азам, к античному умозрительному уровню. У него уже все продумано. Институт он постарается кончить с отличием: надежда есть, троек не нахватал, как Гена с его безалаберностью и капризами: «Это мне интересно, а это неинтересно, не желаю учить». Сразу после института Сергей поступит в аспирантуру — папа поможет. Он же декан, правда не на нашем факультете, но это тем лучше. Потом — диссертация. Если удастся, возьмет тему поближе к отцовской, или же будущий шеф подскажет (руководители любят, чтобы работа аспирантов входила как

глава в их монографию). Примерно в двадцать семь лет — кандидат, к сорока — доктор. Можно и науку основать на какой-нибудь обособляющейся ветви. Но ошибки — это мелко. «Ошибочки, вставочки, поправочки, мелочишечки!» Науку надо продолжать расширяя, вбирая все прошлое как часть. Механика Ньютона — часть теории относительности, теория относительности — часть будущей теории поля. Но куда расширять, куда продолжать — не студенту разбираться. Студент должен осваивать достижения прошлого, взобравшись на плечи предыдущего поколения.

— Это общеизвестно, — поддакнул я. — В науке все стоит на плечах у предыдущего поколения.

— А Гена говорил: «Правильно, все стоит на плечах, а Сережа хочет стоять на одном плече — у папы или у шефа, на худой конец». Вот и почувствовала я, — заключила Наташа, — что Сережа и меня приглашает влезть на то плечо. Удобно, надежно и все наперед известно: к двадцати семи годам муж кандидат, к сорока — доктор, к семидесяти — член-корр. или действительный член. И так мне стало скучно, так скучно!

Наташа тяжело вздохнула и взглянула на меня вопрошающе.

— Ну что ж, — сказал я, — ваше мнение я выслушал. Вопросы кончаю: и так затянул. Теперь предоставим слово машине. Но прежде чем включить ее, должен вас предупредить, девушка: вы получите прогноз, вероятностное предсказание, не бесспорное. Машина — не пророк. Возможности ее ограничены. Она высчитывает вашу личную судьбу, но не будущее всего человечества. Внешние события за пределами ее тематики, тем более неожиданные внешние события — землетрясения, наводнения, пожары... военные пожары тоже. Машина выводит наиболее вероятные итоги личной жизни на основе ваших характеров. Но это тенденция, а не роковая неизбежность. Тенденции можно и сопротивляться.

— Пусть машина учитывает мой характер, — перебила Наташа. — Я буду сопротивляться. Я сильная. И я люблю!

На том предварительная беседа кончилась. Я набрал приказ: «Обработка. Выводы. Итоги через один год». Набрал и отодвинул занавеску с экрана. Машина ровно гудела, переваривая информацию, сопоставляя и высчитывая. На экране возникали и таяли неопределенные тени.

— Долго ждать? — не выдержала Наташа.

Я попросил набраться терпения. У машины сейчас про-

рва материала, много больше, чем у человека в мозгу в течение всей его жизни. Ведь пока мы с Наташей беседовали, по каждому нашему слову ЭВМ запрашивала центральный архив. Теперь в машинной памяти накоплены сведения о студентах вообще, о Наташином институте, о папе Сергея, о всех его научных трудах и публичных высказываниях, об упоминавшихся в нашей беседе науках, о теории ошибок в математике, о молодых талантах... И сотни прецедентов со сходными житейскими треугольниками. Все это надо расставить, высчитать по формулам статистической вероятности и оформить в виде образов для экрана. Для сотни людей работы на сто лет.

Наконец тени на экране стали контрастнее, приобрели четкие очертания — сначала геометрические, прямолинейные. Мебель появилась на экране: небольшой стол, диван с подушками, телевизор, стулья, оконная рама слева, справа — дверь.

— Да это же моя комната! — воскликнула Наташа.

Очевидно, собрав все сведения о жилищных условиях действующих лиц, машина пришла к заключению, что молодожены поселятся у Наташи.

И молодая хозяйка появилась тотчас, такая же, как и в подлинной жизни: девушка-стрела, девушка-тетива на туфельках-пружинках. Она влетела с букетиком гвоздик — белых, розовых и пурпурных, сунула цветы в вазочку, поставила на стол, полюбовалась, наклонив головку, переместила на телевизор, схватила веник и, напевая, принялась за уборку. Чувствовалось, что ей нравится все на свете, даже подметать и пыль стирать нравится. Жизнь прекрасна и удивительна!

Дверь открылась. Без стука вошел Геннадий. Наташа радостно взвизгнула и, подпрыгнув, повисла у мужа на шее, болтая ногами. Поцеловала раз, другой, третий. Много было поцелуев, машина не поскупилась.

— Слушай, Наташка, — сказал Геннадий, валясь на диван, — слушай, подожди с поцелуями...

— Не хочу ждать, — перебила Наташа.

— Подожди, есть серьезный разговор. Я решил окончательно и бесповоротно...

— Я согласна! — выкрикнула Наташа и еще раз поцеловала мужа.

— Ну стой, ну подожди, ты послушай, на что ты согласна. Я решил уйти из института. Времени жалко: тратишь месяцы на обязательное посещение, задания, проверки, зачеты. Проверяют, как будто я сам не хочу ра-

ботать. У меня своя программа, вчетверо обширнее институтской. Лучше я пойду по своему плану и прямо к цели. Для начала мне надо плотно посидеть в библиотеке годик...

— Я согласна! — повторила Наташа с энтузиазмом.

— Первое время будет трудновато, зато к итогу я приду быстрее. А там неважно, с дипломом или без... Покажу товар лицом — три тома.

— Я согласна. Я верю в тебя. Ты у меня самый-самый умный на свете. Ты всех убедишь, переубедишь и победишь...

Поцелуй, поцелуй, поцелуй!..

Надо было видеть вдохновенное лицо подлинной Наташи. Она упивалась своим будущим счастьем. И чуточку морщилась. Кажется, ревновала к самой себе, к своему изображению на экране.

Я перевел рычаг срока на «Десять лет спустя».

* * *

Та же комната. И мебель та же, но старая, очень уже обшарпанная. (Я покосился на Наташу-зрительницу. Она явно была разочарована. Наверное, рассчитывала на новое роскошное жилье, а тут с женской наблюдательностью сразу же по мебели поняла, что триумф пока еще не состоялся.) На столе вместо скатерти — газеты. Кипы бумаг и разрозненные листочки на шкафу, на телевизоре, под телевизором, на полу у дивана. А на диване с ногами полулежит Геннадий — худой, небритый, бледный. Такая бледность бывает у людей, которые по неделям не выходят из комнаты на свежий воздух.

Но вот открывается дверь справа, входит Наташа. Не влетает на каблучках-пружинках — входит, волоча тяжелые сумки, взваливает на стол, начинает выгружать покупки: хлеб, капусту, свеклу. Геннадий не сразу отрывается от чтения.

— Как хорошо, что ты пришла, Наташка, рвусь поделиться. Такие интересные вещи раскопал, расскажу за обедом. Понимаешь, штудирую церковные проповеди против еретиков. Рассуждают о божественном, а логика все та же: упорное, страстное, непреклонное отстаивание собственной правоты, своих закоренелых ошибок, каждого своего слова, каждой запятой...



У Наташи, той, что на экране, губы закушены. Ей хочется взорваться, она с трудом сохраняет выдержку. Возможно, про себя считает до двадцати, чтобы не сказать лишнего.

— Гена,— начинает она подчеркнуто ровным тоном,— Гена, ты обещал работать последовательно. У тебя договор на книжку о типовых ошибках школьников на уроках геометрии. Пролонгация была уже два раза, а ты не написал еще ни одной строки.

— Опять двадцать пять! — сердится Геннадий.— Ну, напишу я эту муру, напишу. Да, отложил. Пойми, что это же скукота, не только скука, но и потеря времени, даже потеря престижа. Я должен войти в науку с чем-то принципиальным, всеохватным, впечатление произвести, а об ошибках школьников напишет каждый учитель, даже лучше меня напишет, потому что у него практического опыта больше. В сущности, и мне, чтобы написать как следует,

негрешно было бы поработать в школе годик. Годик — для алгебры, еще год — для геометрии и для тригонометрии год. Так и откладывать на годы?

Наташа тяжело вздыхает.

— У нашей Милочки больные ножки, — говорит она все тем же ровным голосом, с нарочитой медлительностью. Явно заставляет себя растягивать слова, чтобы не сорваться на крик. — Милочку надо везти в Евпаторию на полный сезон, и лучше ей ехать с мамой; всем детям лучше при своей маме. Но может ли мама бросить работу при таком гениальном отце? Мо-гу я бросить работу?! — Наташа кричит все-таки, срывается.

Геннадий вскакивает с дивана:

— Ну хорошо, хорошо, лети все к чертям! Я напишу эту проклятую методичку. Пойду в школу, буду, буду зарабатывать на твои разъезды, поезжай в Евпаторию, на Пицунду, на Золотые пески, в Венецию, на Ривьеру. К чертям теорию, к чертям пустые мечты и большие планы, к чертям десятилетний труд! Где у тебя мешок, сейчас я снесу эту макулатуру в утиль, обменяю на великолепный томик Дрюона. — Геннадий и в самом деле хватается за метлу, начинает сметать черновики в угол.

Наташа с плачем обнимает его:

— Гена, прости меня, я так устала ждать, я просто устала. Но я потерплю еще, и Милочка потерпит, уедет в санаторий с группой. Едут же другие дети без мамы.

И Геннадий обнимает плачущую жену:

— Наташа, милая, я кругом виноват перед тобой, я чувствую, что обманул тебя. Но потерпи еще немного. Мне надо пять лет сосредоточенности, не пять — четыре года, даже три. Ну если ты будешь плакать, я выброшу все...

Наташа зажимает ему рот поцелуем.

«Еще десять лет», — заказываю я машине.

* * *

Та же комната, и мебель все та же, совсем уже ободранная. На экране две женщины. Наташа — еще прямая, стройная, со следами былой красоты, но с седыми висками и очень усталыми глазами. Рядом с ней девушка — высокая акселератка. Я-то с профессиональным любопытством рассматривал, какую дочь сконструирует машина Наташе. Что-то не очень привлекательное получилось у двух кра-

сивых родителей. Тощая, бледная, узколикая и плоскогрудая, явно болезненная, с опущенной нижней губой, капризно-недовольной. Пожалуй, больше она была похожа на Геннадия, однако не лучшее унаследовала. Черты те же, но без одухотворенности.

— Мама, я не пойду на выпускной вечер,— тянула она.— Мне совершенно нечего одеть. У Таньки сапоги на шпильках, у Ольги сапоги на шпильках, у Наташки Длинной шпильки, у Наташки Колобок... Вообще одна я замухрышка. Не хочу быть хуже всех, не хочу!..

— Милочка, ты же знаешь, папе обязательно надо было съездить в Закавказье...

Девушка надувает губы:

— У других родителей дети на первом плане, а у нас все для папы, для одного папы.

— Милочка, ты же знаешь.— Наташа снова растягивает слова, выдержки набирается.— Ты же знаешь, что папа поехал не для забавы. Ему предложили работу, выгодную, хорошо оплачиваемую. Папа прилетает сегодня, и как только он прилетит...

Наташа на экране смолкла, прислушиваясь.

— Ну, вот и он, кажется...

Дверь распахнулась. Как пишется в пьесах: «Те же и Геннадий».

Совсем седой уже, с серым, помятым лицом, в помятом костюме. Впрочем, какие могут быть претензии? Сидел в самолете, сидел в автобусе — в дороге трудно сохранить свежесть.

Наташа кинулась к нему, чтобы помочь снять пиджак. Дочь молчала выжидательно.

— Ну, что уставилась? — сразу же огрызнулся Геннадий.— Сорвалось! Ни с чем я приехал, послал подальше этого прохвоста. Такой сладкий, такой любезный, все по ресторанам водит, угощает, льстит: «Вы такой знаменитый, на весь Союз знаменитый, у вас зоркий глаз, от вас ничего не укроется, помогите нам разоблачить этого Нигматуллина, нам от него житья нет. Ну, прочел я работу Нигматуллина, составил поля знаний. Действительно, есть у него ошибки; ошибки вечны и бесконечны, у самого господ бога полно ошибок. И труд моего заказчика прочел для сравнения: «Нечто к вопросу о предварительном уточнении формулировки значений». Небо и земля! Я ему говорю: «Давайте я лучше ваши ошибки укажу, исправлю кое-что». Лезет в бутылку: «А вы кто такой? Вы неспециалист, что вы понимаете в нашей специфике, как вы осмеливаетесь

указывать мне?» Значит, в его специфике я ничего не понимаю, а ошибки его противника увижу. Неспециалист, но известный скандалист, искатель чужих блох. Помогаю тупицам придирааться к способным людям. Помогаю развенчивать, помогу и оклеветать.

Наташа слушала с грустно-усталым видом, дочка — с кисло-презрительным.

— Значит, ты зря потратил деньги на поездку?

— Зря потратил деньги, зря потратил время! — Геннадий вскипел, не встретив сочувствия. — Говорил же я вам: не толкайте меня на случайный заработок. Деньги, деньги! Все денег вам не хватает.

— А обо мне ты совсем не думаешь? — сказала дочка.

— Думаю, думаю, только о вас и думаю. Вот о деле думать некогда.

И тут зазвонил телефон.

— Да-да! — закричал Геннадий. — Да, это именно я, специалист-скандалист, известный на весь Союз. Могу облачать, могу оклеветать. Кого вам надо оклеветать по дешевке?

— Гена, опомнись! — Наташа положила руку на рычаг. — Иди, лежи, отдохни с дороги. Мы тут сами разберемся с Милочкой.

Геннадий исчез; машина просто убрала его с экрана. В поле зрения остались мать с дочкой.

— Ну и как мы будем разбираться? — спросила дочь непреклонно. — Значит, плакал мой выпускной вечер?

Наташа тяжело вздохнула и медленно начала снимать с пальца обручальное кольцо.

— Он мой муж, я люблю его и верна, — сказала она как бы про себя. — И не кусочек металла доказывает верность.

Экран погас.

У настоящей Наташи, той, что сидела рядом со мной, были растерянные глаза. Мне стало жалко девушку, и хотя утешать, оспаривая прогноз, в нашем Центре не полагается, я все же сказал ей:

— Жизнь, милая девушка, трудная вещь, и не все в ней распределено по справедливости. Радости и удовольствия скапливаются вначале, заботы и болезни — во второй половине. Когда прогнозируешь на десятки лет, волей-неволей углубляешься в старость. Обычно мы не заглядываем так далеко. Это долговременные планы вашего Геннадия увели нас на десятки лет.

— Все равно, продолжайте,— сказала Наташа твердо.— Я хочу знать окончательный результат.

Я подал очередную команду машине:

«Еще десять лет спустя». Тридцать в общей сложности.

* * *

На этот раз появилась другая декорация: просторная, даже пустоватая комната. В центре ее красовался монументальный стол светлого дерева, вдоль стены простиралась так называемая стенка, тоже светлого дерева, с книгами в нарядных суперобложках и с погребцом, а в нем вина — редкие, судя по непривычной форме бутылок. В углу же на особой тумбочке красовался громаднейший глобус.

— Да это же кабинет Сережиного отца! — воскликнула Наташа, узнав глобус.

За массивным столом сидел массивный мужчина, с круглой, почти лысой головой и в круглых очках.

— А это кто? — спросила Наташа.

— Сергей, надо полагать,— ответил я без особой уверенности.— Отец его был бы много старше через тридцать лет, а незнакомого человека машина вряд ли посадила бы в эту комнату.

Предположение подтвердилось. На экране появилась расплывшаяся женщина в черном шелковом капоте с розовыми хризантемами, и она назвала массивного Сережей.

— Обед готов,— сказала она.— Ты же не любишь подогретого, Сережа.

— Сейчас, Наталья, через пять минуток,— отозвался Сергей.— Надо же принять эту женщину, она давно уже сидит в передней.

— В таком случае я удаляюсь,— сказала хозяйка ненатуральным голосом.— Когда профессор принимает женщину, жена может подождать.

Очень выразительный тон подобрала машина, я не мог не восхититься профессионально. Все было в этом тоне: и ущемленное самолюбие, и ирония, и застарелая ревность, уже не любовная, а экономическая, и привычная готовность мириться с обидой ради спокойной жизни в просторной квартире, ради стенки, гарнитура, розовых хризантем на капоте. Кимоно? Может быть, и кимоно, я не очень разбираюсь.

— Противную бабу выбрал Сережка, — поморщилась настоящая Наташа.

Она не заметила, что машина назвала ту женщину Натальей, как бы разыгрывала вариант Наташиной судьбы: вот что будет с тобой, если ты по расчету выйдешь замуж за сына сегодняшнего владельца этого кабинета с глобусом, усядешься на его плечо. Пожалуй, эта Наталья не была точной копией ни живой Наташи, ни экранной жены Геннадия. Машина расщепила образ, как Стивенсон расщепил своего героя на доктора Джекилла — доброе начало и Хайда — скрытое в душе его зло. Так и тут была расщеплена Наташа: одна — беззаветно любящая, другая — взвешивающая, прислушивающаяся к разумным советам мамы, старшей сестры и Сергея.

Наталья удалилась, а на экране появилась Наташа — сухонькая, почти совсем седая, с грустными глазами и опущенными плечами, уже не натянутая как струна — согнувшаяся.

Сергей вышел из-за стола, пожал ее руку двумя руками, усадил в глубокое кресло:

— Тысячу лет не видал тебя, Наташенька. Садись, рассказывай, как жизнь сложилась.

— Я вдова, — сказала Наташа сразу. — Больше года уже вдова. Третий инфаркт, нельзя сказать — неожиданный, к тому дело шло. Живу с дочкой и ее дочкой, типичная женская семья. Все радости от внучки, забавная девчушка. А своя биография кончена. Ты спросишь, конечно, что же успел Гена...

Сергей слушал, сочувственно кивая. Не притворялся, не торжествовал и не злорадствовал. Геннадий был для него не только соперником, но и другом, даже уважаемым другом, эталоном, высотой, с которой хотелось поравняться. Хотелось — не удавалось. И Сергей еще в студенческие времена доказал себе, что высота нестоящая.

— Генка был талантом, — сказал он, дослушав Наташу. — Нетерпение его стубило, хотел перепрыгнуть через все ступени разом. Первейшую и величайшую ошибку он совершил, уйдя с третьего курса. Автор статей с «незавершенным высшим» не котируется по определению, к такому не относятся всерьез. В редакциях первым долгом спрашивают: «Кто вы по образованию? Ах, недоучившийся студент! Тогда извините, у нас научный журнал. Знаете ли, когда я был студентом, я не пробовал читать лекции профессорам».

Наташа порылась в выгоревшей сумке, извлекла оттуда растрепанные папки, связанные простой веревочкой.

— Гена все материалы собирал, собирал и собирал, фактов казалось недостаточно. После первого инфаркта спохватился, почувствовал, что не так много времени отведено. Начал сортировать, составлять тезисы... но не успел. Посмотри, пожалуйста, нельзя ли опубликовать хотя бы часть.

— Обязательно посмотрю,— обещал Сергей.— Только не торопи меня, дай срок...

Экран погас.

— Это верно, на Сережку можно положиться,— сказала Наташа-зрительница.— Он надежный. Если обещал — выполнит.

— Какой срок дадим ему? — спросил я.

— Месяц... ну, два... три, чтобы сомнений не было.

Я распорядился, чтобы машина показала Сергея через три месяца.

Она выдала тот же кабинет, ту же сцену, на сцене Сергей с женой.

— Ну и что? Все стараешься для той женщины? — говорила Наталья брезгливо.— Охота тебе возиться со всякими чайниками, непризнанными гениями. Времени не жалко?

Сергей поднял очки на лоб:

— Я и сам так думал сначала. Но вчитался и чувствую: что-то прорезывается в тумане. Сыро, неточно, неряшливо... но если сократить, изложить строгим научным языком, пожалуй, получится статья для сборника... даже брошюра... даже и книжечка небольшая. Но нужно приличное название прежде всего. Ошибковедение? Ни в коем случае! Комично звучит, фельетонно. Солидность придают только античные корни — греческие или латинские. «Эрраре» («Ошибаюсь»)! Наука об ошибках — эррология. Задача ее — поиски безошибочных решений. Безошибочность — вот предназначение, вот в чем ее ценность, так и надо определять. Ведь и в медицине нет науки о боли, нет специалистов-болеви́ков, есть обезболеватели — анестезиологи. А тут будут безошибователи, анэррологи. «Анэррология» — звучит?

— Но это совсем другая наука,— возразила Наталья.— Нечто противоположное домыслам этого дилетанта. Твоя наука — не его.

— Да, до некоторой степени противоположное, но ини-



циатива все же принадлежит Геннадию. Безусловно, во введении надо будет рассказать о его работе. Надо... хотя и неудобно отчасти, некорректно по отношению к коллегам прославлять человека, постороннего для науки. Впрочем, истина должна торжествовать: каждому по заслугам. К тому же в предисловии полагается исторический обзор. Геннадий будет обязательно упомянут — как самый первый, как пионер... если он был самым первым, конечно. Это еще придется проверить. Вспоминается, что ошибки делали еще вавилонские клинописцы. А теория... не забыть бы, был еще Фрэнсис Бэкон. Он так живописно называл типы

научных заблуждений: «Призрак пещеры... призрак рынка... призрак театра...»

Я понял, что в голове Сергея уже началось подсознательное вытеснение друга-соперника. Сергей — человек порядочный, он добросовестно взялся за редактирование, вкладывает труд, а свой труд свойственно человеку переоценивать. В свои усилия он вкладывает пот и время, а чужие получает готовенькими: написано на бумаге — долго ли прочесть? Кажется, что и написать было не так трудно.

Я заказал машине составить очередную статью Сергея. Она называлась «Введение в анэррологию». В предисловии говорилось о генетических ошибках, о вавилонских клинописцах, Аристотеле, Платоне, Ньютоне и Бэконе с его призраками пещеры и театра. О Геннадии — ни слова. Наверное, неудобно было вставлять его в такой славный труд.

* * *

— Машина не советует вам выходить за этого незадачливого гения, — сказал я, подводя итоги. — Это было бы серьезной жизненной ошибкой.

Наташа сидела подавленная, с опущенными плечами, как пятидесятилетняя вдова на экране — ее продолжение. Потом по-детски шмыгнула носом, смахнула слезу, подняла голову.

— Но вы сказали, что можно сопротивляться прогнозу, — вспомнила она.

— Сопротивление учитывалось, — сказал я. — Я дал машине поправку на сопротивление. Вы же видели, какую выдержку проявлял ваш двойник на экране, какой груз она тянула безропотно. Любящая жена помогала как могла, но ее помощи не хватило.

Наташа не сдавалась:

— Но вы сказали, что машина тоже ошибается. Вот и Гена твердит: «Ошибки вездесущи, ошибки повсеместны».

— Да, машины ошибаются иногда. Я говорил вам, что все на свете машины охватить не могут. Они изучают ваш характер и экстраполируют, продолжение высчитывают... землетрясений и пожаров не учитывают. Ну, если хотите, давайте введем поправку на внешние перемены.

Нарушил я правила прогноза, отошел от объективности.



Но как-то вызвала у меня сочувствие эта девушка, отстаивающая любовь.

И я продиктовал машине:

— Внимание, ЭВМ, вношу поправку на научный прогресс. Год спустя после свадьбы Наташи и Геннадия публикуется постановление: «В связи с растущей необходимостью неотложно решать многочисленные глобальные проблемы, стоящие перед человечеством и требующие оригинального научного подхода, при Академии наук организуется специальный Институт Научного Прорыва. Сту-

денты будут набираться индивидуально и работать по индивидуальной программе...» — И заключил: — Прошу дать итоги тридцать лет спустя.

Мы увидели Наташу в первых рядах кресел в большом зале, не молоденькую девушку, но не иссохшую и не морщинистую. Перед нами была миловидная румяная женщина с гладким лицом. Геннадий же стоял на трибуне и, краснея, мял в руках большущий букет.

Сосед Наташи, совершенно новый персонаж, высокий, с седой пышной гривой, наклонился к ней:

— Слов нет, герой, действительно заслужил. Этакую махину своротил, целую науку создал. Теперь все мы под ним ходим. Ни один проект без визы ошибковедов. Но ведь экономия!..

— Это мой муж,— сообщила Наташа с достоинством.

Сосед усмехнулся понимающе:

— Неуступчивая личность. И дома такой же трудный?

— Не легкий,— согласилась Наташа.— Но жить с ним интересно. Не променяла бы его ни на кого другого.

ФУНКЦИЯ ШОРИНА

Научно-фантастический рассказ

Функция Шорина знакома каждому студенту-звездолетчику. Изыщное многолепестковое тело, искривленное в четвертом измерении, — на нем всегда испытывают пространственное воображение. Но немногие знают, что была еще одна функция Шорина — главная в его жизни и совсем простая, как уравнение первой степени, линейная, прямолинейная.

По сведениям библиотекарей, каждый читатель в возрасте около десяти лет вступает в полосу приключенческого запоя. В эту пору из родительских архивов извлекаются старые бумажные книги о кровожадных индейцах с перьями на макушке, о благородных пиратах, о мрачных шпионах в синих очках и с наклеенной бородой и о звездолетчиках в серебристо-стеклянной броне, под чужим солнцем пожимающих нечеловеческие руки — мохнатые, чешуйчатые, кожистые, с пальцами, щупальцами или присосками, голубые, зеленые, фиолетовые, полосатые... Все мы с упоением читаем эти книги в десять лет и с усмешечкой после шестнадцати. От десяти до шестнадцати мы постепенно проникаемся чувством времени: начинаем осознавать XXII век — эпоху всеобщего мира, понимаем, что томагавки исчезли и шпионы тоже исчезли вместе с последней войной, очки исчезли тоже, как только появился гибин, размягчающий хрусталик и мышцы глаза. Узнаем, что на

дворе эпоха термоядерного могущества, люди легко летают на любую планету и переделывают природу планет — своей и чужих, но, к сожалению, не могут прорваться к чужим солнцам, где проживают эти самые чешуйчатые или мохнатые. Узнаем, смиряемся, находим другое дело, не менее увлекательное, чем ловля шпионов или полет к звездам.

А Шорин не смирился.

На его полке стояли только книжки старинных фантастов XX века, звездные атласы, карты планет. На стене висели портреты Гагарина и Титова. Шорин даже переименовал себя — назвал Германом в честь космонавта-два. Зная, что в космосе нужны сильные люди, мальчик тренировал себя, приучал к выносливости и лишениям: зимой спал на улице, купался в проруби, раз в месяц голодал два дня подряд (что совсем не считается полезным), раз в неделю устраивал дальние походы — пешком или на лыжах, по выходным летал на Средиземное море и проплывал там несколько километров; с каждым годом на два километра больше.

И однажды это кончилось плохо.

В тот сентябрьский выходной он наметил перекрыть свою норму, поставить личный рекорд. День был прохладный, ветреный, совсем не подходящий для дальнего плавания. Но космонавты не меняют планов из-за плохой погоды. Герман заставил себя войти в воду.

У берега море было гладким, за отмелью начало плескивать. Качаясь на волнах, юноша подумал, что ветер дует с берега, возвращаться назад будет труднее. Но космонавты не меняют решения в пути. Шорин приказал себе плыть дальше.

Дальнее плавание — занятие монотонное. Толчок, скольжение, оперся ладонями на воду, поднял голову, вдохнул, широко раскрыв рот, выдохнул в воду, булькнул воздухом, гребок, толчок, скольжение. И снова, и снова, и снова... Тысячу, две тысячи, три тысячи раз. Движения плавные, без особых усилий, рот набирает воздух, мускулы движутся, но голова не занята, мысли идут чередом.

Мечта 1

В последнюю минуту, когда скорость ничтожно мала, капитан садится за штурвал. Быть может, понадобится неожиданное решение, в электронном мозгу не предусмотренное.

Капитан молод, но лицо у него волевое, твердо сжатые губы, нахмуренные брови. Все смотрят на него с уважением, ему доверяют жизнь.

Капитана зовут Герман Шорин, конечно.

Ниже. Ниже. Еще ниже. Когтистые стальные лапы ракеты впиваются в раскаленный песок.

Корабль стоит на чужой, неведомой планете.

Над головой их солнце — яркий и горячий апельсин. По апельсиновому небу плывут облака — белые и оранжевые. Ближе к горизонту небо кровавое, даль багровая, как будто вся планета охвачена пожаром. Но капитан не боится. Он знает, что никакого пожара нет. Атмосфера тут плотнее земной, рассеивает другие лучи.

Оранжевое, алое, багровое. Край зноя и страсти!

Капитан надевает скафандр. Его право и его обязанность — первым ступить на неизвестную планету.

И вот магнитные подошвы отпечатали первый человеческий след.

Справа что-то белое. Похоже на снег. Снег при такой жаре? Может быть, пласты соли? Капитан скользит по воздуху — крылатая тень ныряет по песчаным холмам. Оказывается, белое — лес. Деревья и травы спасаются от зноя, отражая все световые лучи. Почти все. У каждого листочка свой оттенок — голубоватый, розоватый, радужный. Лес перламутровый, он переливается нежной радугой. Каждая травка — как древнее ювелирное изделие.

За лесом — обрыв и море. Апельсиновые волны с натуральной пеной. Темно-багровая даль. Море тоже охвачено пожаром.

Шум, движение, пена, плеск. Только разумных существ нет на этой беспокойной планете.

И вдруг в прозрачных волнах — человеческая фигура. Голова, руки, торс. А ноги? Рыбий хвост вместо ног? Возможно ли? Русалка, как в сказке!

Привет вам, разумные русалки с планеты Сказка!

Если закрыть глаза, можно представить себе, что ты плывешь по оранжевому морю. И рядом с тобой русалка, зеленоглазая, с волосами, как водоросли. И можно коснуться ее руки, нежной и сильной. И в ушах не бульканье пузырей, а мелодичное пение.

Но волны становились все выше, угрожающе шумели пенными гребнями. Уже нельзя было скользить механически, требовались внимание и расчет, чтобы под каждый гребень нырнуть выдыхая, а вынырнув за волной, набрать воздух. Монотонное занятие стало нелегким и утомительным. Шорин сбивался с дыхания и ругал себя: «Эх ты, звездоплаватель! Полдороги не проплыл — и уже устал».

Полдороги обозначали три скалы, голые и кривые, уродливые, как испорченные зубы. Юноша измерял расстояние локатором: пять километров до скал, пять — обратно. Но вот и скалы. Подплыл, повернул, даже приободрился. Зато волны плескали теперь в лицо. Напряг усилия. Минута, другая. Что такое — скалы не удалились? Прибавил сил, пять минут не оглядывался. Наконец позволил себе посмотреть — скалы на том же месте. Решил тогда плыть под водой — нырять и выныривать. Так удалось продвинуться, но дыхание срывалось, и сердце колотилось. И тут в довершение бед пришла судорога; одна нога сложилась, как перочинный ножик.

Шорин не пошел ко дну — он был слишком хорошим пловцом. Он продержался, пока судорога не прошла, он даже отдалился от скал. Но сил уже не было, и вечер приближался. Юноша плыл осторожно, толкаясь одной ногой, — боялся новой судороги. Сначала боялся, потом отчаялся, потом ему стало все равно, лишь бы не двигаться. И песчаное дно уже казалось соблазнительной постелью — лечь бы и отдохнуть. Но он плыл и твердил себе: «Не смей тонуть! Держись, слюняй! Ты не имеешь права тонуть, не для того тебя учили, воспитывали. А еще в звездоплаватели собирался. Германом себя назвал! Позор!»

Знобило. Руки стали как тряпки, челюсть болела от многочасового разевания. Сил не было совсем. Юноша плыл, но не представлял, как проплывет еще четыре километра.

Потом ему пришло в голову (вам, читатели, это пришло бы в голову быстрее): отдалиться на волю волн, пусть несет к скалам. За скалами, под ветром, прибой должен быть тише, и там можно попытаться влезть. Он решился, так и сделал. С пятой попытки, исцарапанный и ободренный, взобрался на среднюю скалу. Просидел там ночь до утра и на рассвете приплыл к берегу, уже больной, с воспалением легких. С пневмонией в XXII веке справлялись без труда, но памятку Герман получил — хронический насморк на всю жизнь.



— Пусть это послужит уроком тебе, — сказала потрясенная мать. — Не лезь очертя голову на опасность.

— Пусть это послужит уроком тебе, — сказал учитель. — Не переоценивай свои силы, не надейся на себя одного, не рискуй в одиночку.

А юноша понял урок по-своему. Тонет тот, кто позволяет себе утонуть. Ведь он же не позволил и остался жив. Потому что знал: не на корм рыбам его учили, воспитывали. Никто не имеет права погибнуть, пока не выполнил свое назначение, цель, свою «функцию», как он выражался позже.

Вот у него есть функция — стать звездоплавателем, открыть разумные существа в космосе, положить начало Всегалактическому Братству. И он не погибнет, пока не выполнит функцию.

Юноша уверился в своих силах и по окончании школы отправился в Институт Астронавтики.

Но неумолимая арифметика встала на его пути.

Из миллиарда молодых людей, кончивших школу в том году, двести миллионов, по крайней мере, мечтали о космосе. А требовалось двадцать тысяч человек, не более. Из нескольких миллионов безукоризненных во всех отношениях, превосходно подготовленных кандидатов институт отбирал студентов — стыдно сказать — по жребию. Но костлявого, долговязого, несколько хмурого парня, по имени Герман Шорин, не было даже среди кандидатов. Его забраковали из-за насморка. Хватало людей со здоровой носоглоткой.

199 миллионов 980 тысяч отвергнутых смирились с неудачей, подыскивали себе нужные и интересные занятия на Земле. Шорин не смирился. Он поселился в Космограде, взял первую попавшуюся малоинтересную работу (работы тогда уже разделялись на интересные и малоинтересные) и три раза в неделю обходил космические управления, справляясь, не освободилось ли место — какое угодно, самое малоинтересное. Ему отказывали, сначала вежливо, потом с усмешкой, даже с раздражением, потом привыкли, стали заговаривать, окликать, благодушно подбадривать. Упорство, даже не очень разумное, внушает уважение невольно. И однажды в Санаторном Управлении судьба улыбнулась юноше. «Ты сходи в космическую клинику, — сказали ему. — Там сиделки требуются в отъезд».

Сиделками обычно работали женщины, пожилые и семейные. А матери семейства не так уж хочется, бросив дом,

мчаться на Луну или на Марс. Шорин был брезглив, совсем не рвался ухаживать за больными. Но что делать: ради космоса надо идти на все. Кто знает, на кого похожи небожители — на русалок или на осьминогов. Слизистые с присосками щупальца тоже не так приятно пожимать. И Шорин пошел в сиделки. А когда понадобилась сиделка на Луне, отправили его. Не потому, что он был лучшим, а потому, что другим лететь не хотелось.

Так отверженец с хроническим насморком оказался в космосе, и даже раньше тех, кто выиграл это счастье по жребию. И еще крепче поверил он в свою функцию. Явно же: судьба ведет его на звездную дорогу.

Своими глазами увидел он голубой глобус на фоне звезд, глобус в полнеба величиной, с сизыми кудряшками облаков и с бирюзовым бантом атмосферы. И другой мир увидел — латунный, с круглыми оспинами, как бы следами копыт, как бы печатями космоса. Голубой глобус съежился, а латунный вырос, занял небосвод, подошел вплотную к окнам, сделался черно-пестрым, резко-плакатным. Такой непохожий на нежно-акварельную Землю! Все это выглядело великолепно, прекраснее и величественнее, чем на любой иллюстрации, втиснутой в страничку, чем на любом экране, ограниченном рамкой. Юноша был очарован... и разочарован немножко.

Разочарован, потому что дело происходило в XXII веке. Билет юноша заказал по радио, получил место в каюте лайнера. Рядом с ним сидели старики, ехавшие на Луну лечиться от тучности. Проводница в серебряной форме принесла обед. Поели, подремали, потом прибыли на Луну, из каюты перешли в лифт, из лифта — в автобус, оттуда — в шлюз-приемник гостиницы, получили номер с ванной. А за окном номера был Селеноград, прикрытый самозарастающим куполом: дома, улицы, сады, в садах — лунные цветы, громадные, с худосочными стеблями. И молодые селениты срывали эти цветы, подносили девушкам, а девушки зарывали румяные щеки в букеты.

Уже не Земля и не совсем еще космос. Дальше надо было идти.

Но опять перед Шориным стояла стена, та же самая — арифметическая.

Примерно двести тысяч человек трудилось в те годы в космосе, половина из них — на Луне: на космодроме и вокруг космодрома — в обсерваториях, лабораториях, на шахтах, энергостанциях, заводах, а также в санаториях и на туристских базах.

Из ста тысяч не более ста человек уходили в дальние экспедиции, на край или за край Солнечной системы. Обычно это были заслуженные ученые: астрономы, геологи, физики...

Стать заслуженным ученым? Иной раз жизни не хватает.

Одну только лазейку нашел Шорин, одну слабую надежду. Иногда в дальние экспедиции, где экипаж бывал невелик, требовались универсалы, мастера на все руки: слесарь — токарь — электрик — повар — астроном — вычислитель — санитар — садовод в одном лице, подсобник в любом деле. И юноша решил стать подсобником-универсалом.

Он окончил на Луне фельдшерскую школу, курсы поваров, получил права летчика-любителя, сдал курс машинного вычисления и оранжерейного огородничества, научился работать на штампах и монтажных кранах. Некогда, до появления машин-переводчиков, существовали на Земле полиглоты, знавшие десять — пятнадцать — двадцать языков. Гордясь емкой памятью, они коллекционировали языки, ставили рекорды запоминания, как спортсмены. Шорин стал полимастером, он как бы коллекционировал профессии. Сначала его обучали с охотой, потом с удивлением и с некоторым раздражением даже («Тратит время свое и наше. Спорт делает из учения»), а потом с уважением. Людям свойственно уважать упорство, даже не очень разумное. В Селенограде жили тысяч десять народу, каждый чудак был на виду. Шорин со временем сделался достопримечательностью («Есть у нас один — двенадцать дипломов собрал»). О нем говорили приезжим, и разговоры эти дошли до нужных ушей.

В одну прекрасную ночь, лунную, трехсотпятидесятичасовую, молодого полимастера пригласил Цянь, великий путешественник Цянь, теоретик и практик, знаток космических путей. Уже глубокий старик в те годы, он жил на Луне, готовясь к последнему своему походу.

— Но у меня хронический насморк, — честно предупредил Шорин. — Я не различаю запахов. Любая комиссия меня забракует.

Цянь не улыбнулся. Только морщинки сдвинул возле щечек-глаз.

— Планетологи по-разному выбирают помощников, — сказал он. — Одни предпочитают рекордсменов, ради выносливости, другие — рисовальщиков, ради наблюдательности. Те ищут исполнительных, хлопотливо-услужливых,

те — самостоятельно думающих, иные считают, что важнее всего знания, и выбирают эрудитов. У меня свое мнение. По-моему, в космос надо брать влюбленных в космос. Тот, кто влюблен по-настоящему, сумеет быть спортсменом, эрудитом, услужливым и самостоятельным.

— Разве каждый может стать рекордсменом? — спросил Шорин.

— Если влюблен по-настоящему, станет.

Так случилось, что Шорин второй раз выиграл в лотерее: из миллиона один попал на Луну, из тысячи лунных жителей один — в экспедицию.

Выиграл в лотерее или заслужил? Как по-вашему?

Он ходил счастливый и гордый, даже голову держал выше. Думал: «Столько людей вокруг — умных, талантливых, ученых, опытных, — а выбрали меня, мальчишку. Если вслух объявить, не поверят, кинутся расспрашивать, даже позавидуют». В своей прямолинейности Шорин был убежден, что все люди рвутся в космос, космонавтов считают счастливчиками, себя — второсортными неудачниками. Он даже удивился бы, узнав, что другие искренне мечтают быть артистами, писателями, врачами или инженерами.

Так Шорин вышел на звездную дорогу.

Мечта 2

Молодой капитан сидит у моря на оранжевой планете.

Небо похоже на костер, облака — языки пламени, горизонт — как догорающие угли. А море спокойное, нежно-абрикосовое. И в абрикосовой ряби качается русалка.

Прозрачные струи играют ее волосами, и пузырьки пены лопаются на молочно-белых плечах. Удлиненные глаза смотрят на Шорина серьезно, без тени страха, без удивления даже, не то изучают, не то гипнотизируют.

Капитан любит, водит глазами по чистому лбу, ровным бровям, нежно-розовым губам, удивляется ушку — такому маленькому, безукоризненному и сложному, словно неживому, словно выточенному из слоновой кости.

Потом спохватывается. Разумное ли это существо? Надо объясниться с ним. Он чертит на песке квадрат, треугольник, ромб, шестиугольник в круге,

пифагоровы штаны. Геометрию должны понимать все. Законы геометрии едины в нашей Галактике.

— Не надо. Я читаю твои мысли.

Кто это сказал? И еще по-русски! Не русалка же. Тем более что лицо ее в воде, даже на глаза набежала волна.

И вновь слова отдаются в мозгу:

— Ты удивлен, что я кажусь тебе красивой. Но законы красоты едины в нашей Галактике. И законы радости, любви и счастья.

— А что такое счастье? — спрашивает капитан.

Русалка улыбается загадочно, как Джоконда.

— Самое большое счастье вдалеке. Счастье — это горизонт. Счастье — это то, к чему тянешься и не можешь дотянуться. Счастье — это мечта. Вот я мечтала о друге, который ради меня пришел бы со звезды, пел бы мне песни, рассказывал легенды о небесных полетах.

Сердце замирает у юного капитана.

— Но я пришел со звезды, — говорит он.

Шорин не знал тогда, как удачно попал он в экспедицию, не знал, что Цянь, старик с короткой седой щетиной на темени, тот же Шорин, только кончающий жизнь.

Учебники истории космоса называют Цяня последним из великих открывателей. В Солнечной системе, изъезженной вдоль и поперек, не так уж много осталось белых пятен к XXII веку. Но Цянь отыскивал их с рвением и с мастерством. Он открыл Прозерпину, последнюю из заплутоновых планет, он нырял в глубины Юпитера, обнаружил там своеобразную газовую жизнь — воздушных гигантских амёб, плавающих в газе, сжатом до пятисот атмосфер. Цянь посетил семьдесят семь астероидов, из тех, где не ступала нога человека, а теперь собирался проехаться на комете.

Он только поджидал комету посолиднее, не из числа короткопериодических, снующих между Солнцем и Юпитером и тоже изученных давным-давно. Цяню нужна была большая комета издалека, посещающая Солнце раз в тысячу или в сто тысяч лет. Среди них он думал найти чужестранные, захваченные Солнцем обломки неких планет... и хотелось бы — с остатками жизни, чужой, не под Солнцем рожденной.

Но такие кометы приходят не так часто и обычно

неожиданно. Экспедиция готовилась заранее. На складах Селенограда громоздились штабеля ящиков и баллонов, участники экспедиции были подобраны, сидели на чемоданах... а цели не было, где-то она еще пробиралась в межпланетных просторах, еще не попала в зрачок телескопа, не развернула свой павлиний хвост.

Ждали, ждали, ждали! И вдруг известие: приближается крупная комета, пересекала пояс астероидов, подходит к Марсу. В тот же час экспедиция начала погрузку, а еще через неделю, заслоняя звездный бисер, на ракету надвинулась ноздреватая гора со шлейфом скал, беззвучно сталкивающихся друг с другом, с вихрями искристой пыли. Ракета со скрежетом врезалась в эту пыль, окна сразу стали матовыми от мелких уколов. Нащупав локаторами пропасть, ракета спрятала свой нос в теле горы.

И вот люди на комете. Летающая гора, километров шестьдесят в поперечнике, так она и представляется глазу — одинокой горой, плывущей по звездному морю. Изломанные глыбы камня и железа, в углублениях — мутный пузырчатый лед, водяной, углекислый, углеводородный, аммиачный. Газы тверды, потому что температура гораздо ниже двухсот градусов мороза. Но комета идет к Солнцу. Солнце греет с каждым часом теплее. Лед дымится... невидимые пары поднимаются над скалами... и темное небо загорается. Бледно-зеленые, соломенно-желтые, малиновые и сиреневые полосы играют над звездной горой. Колышется многоцветный занавес, цветные лучинки собираются в пачки, в стога, зажигается холодный костер. Комета плывет в праздничном фейерверке, все небо ее охвачено полярным сиянием. А с Земли это выглядит туманным пятнышком — зарождающимся хвостом.

Много позже, когда Цянь умер, Шорин узнал, как близки были его мечты и мечты старого космонавта. Даже в дневнике экспедиции вместо эпитафии стояли такие стихи:

Письмо о космической дружбе,
Запечатанное морозом,
Доставит посылная
В газовой фате.

Вот почему в экспедиции было так много биологов, вот почему с первых же дней начались поиски водяного льда; осколки льда таяли в пробирках, окуляры микроскопов нацеливались на каждую каплю.

Вода, углеводороды, углекислый газ, солнечные лучи. Почему бы не проснуться жизни на комете?

И жизнь была найдена: недвижные палочки, содержащие воду, жиры, белок и нуклеиновую кислоту, — какое-то подобие бактерий.

Потом комочки в игольчатых кремниевых панцирях — вроде земных корненожек.

Потом — еще глубже — ветвистые колонии этих игольчатых комочков, вероятнее аналогия полипов.

И все это в каждой капле — тысячи видов, десятки тысяч форм, миллионы и миллионы экземпляров для микророзверинца. По четырнадцать — шестнадцать часов сидели биологи перед экранами микроскопов. Четырехчасовой рабочий день остался на Земле. Ведь не было же смысла везти на комету тройной экипаж с тройными запасами только для того, чтобы участники могли отдыхать по-земному.

Что делал Шорин? Все! Готовил, кормил увлеченных микроскопистов, помогал завхозу, механикам, электрикам, кибернетикам, ходил (точнее, плавал в почти невесомом мире) с геологами за образцами, долбил шурфы, носил лед в термосе, составлял ведомости, надписывал наклейки, хранил банки с образцами, укладывал коллекции в контейнеры.

Нумерованные банки, нумерованные камни, нумерованные прошитые листы. Часто Шорин сам не знал, что у него в банках и в ящиках. Даже научные сотрудники знали поверхностно, потому что в экспедиции некогда было разбираться, торопились набрать побольше материала для земных исследователей, набрать факты для будущих размышлений. А в распоряжении фактоискателей было не так много времени — месяца два, пока комета шла от орбиты Марса к орбите Меркурия. Затем предстояло поспешно бежать от огненного дыхания Солнца.

Надписывая банки, Шорин вспоминал детские мечты. Они казались такими наивными! Сейчас у него осталось одно желание: как следует выспаться. Но он знал, что держит экзамен на космонавта. Должен показать себя выносливым, как рекордсмен, наблюдательным, как художник, любознательным, самостоятельным и услужливым. И Шорин не позволял себе поддаваться усталости. Он первым брался за самый тяжелый ящик, первым вскакивал, когда вызывали желающих в необязательный и всегда опасный поход, работал всех больше и всех больше задавал вопросов. Товарищи считали его двужилым, некоторые

осуждали, называли выскочкой. Быть может, он и был выскочкой, ведь он же хотел выделиться, заслужить рекомендацию в следующую экспедицию.

А старый Цянь все подмечал. И однажды сказал:

— Хорошо, сынок. Притворяйся и дальше неугомым.

Шорин был в отчаянии. Значит, Цянь разоблачил его. Видит его насквозь — усталого, умеренно выносливого, умеренно смелого, среднесообразительного человека с хроническим насморком, пытающегося подражать героям.

Но у Цяня была своя логика. Это выяснилось вскоре.

Экспедиция подходила к концу. Орбита Меркурия осталась позади. Косматое, непомерно разросшееся Солнце нещадно палило комету. Приближался пояс радиации, небезопасный даже в XXII веке. Пора было, не дожидаясь лучевых ударов, эвакуировать комету. Но как раз к этому времени лед на комете растаял и началась весна жизни — не в пробирках, а в лужах и озерах.

Видимо, приспособившаяся к кратковременному лету жизнь развивалась бурно и агрессивно. Зеленая, голубая и красная плесень полезла из луж на скалы. Микробы грызли металл, резину и пластмассу, проникали в скафандры, покрывали кожу пузырями и язвами. На поверхности луж плавали какие-то пленки, появились прозрачные мешочки, похожие на медуз, все более сложные. Ничего подобного не наблюдалось в пробирках.

Приходилось все это бросать, не досмотрев самого интересного.

И Цянь принял решение: рискнуть, но не всем. Экспедицию переправить на Меркурий с собранными коллекциями, а на комете оставить дрейфующую партию — четверых из сорока шести. Он остался сам, оставил биолога Аренаса, биохимика Зосю Вандовскую и мастера на все руки, притворявшегося неугомым.

Знал ли Шорин о риске? Знал, конечно. Но в молодости как-то не веришь в возможность гибели. К тому же путешествие на комете он считал только ступенькой, до функции было еще далеко.

Что было дальше, вы знаете сами. Во всех детских хрестоматиях рассказывается о дрейфе четырех на комете. Они прошли на расстоянии полутора миллионов километров от Солнца — в сто раз ближе, чем Земля. Ослепительный диск занимал теперь четверть неба, обугливал ткани, оплавлял камни. Пятна, факелы, даже рисовые зер-

на были видны без телескопа, через толстые черные стекла конечно. Трижды спутники спасались от хромосферной вспышки на оборотную сторону кометы. Гигантский протуберанец достал их однажды, комета нырнула в раскаленный туман. Люди облачились в неуклюжие сверхскафандры антирадиационной защиты с дельта-слоем и укрылись в пещере, и как раз по этой пещере прошла трещина — ядро кометы лопнуло, раскололось надвое. Три человека остались на одной половине, Вандовская — на другой. Шорин прыгнул вперед, подхватил растерявшуюся женщину, кинул ее через зияющую трещину, перелетел сам.

Нет, романтическая любовь к спасителю не возникла. Зоя любила Аренаса, потому и осталась с ним на комете.

Комета, видимо, никогда еще не проходила сквозь протуберанец, жизнь на этот раз была выжжена дотла. Уцелели только четверо в скафандрах, но потеряли дом, припасы, коллекции, дневники — все, кроме того, что было в скафандрах — семидневного запаса воздуха, воды и пищи.

Радиосвязи не было. Солнце нарушило радиосвязь, и люди на Земле, глядя на двухвостое светило, гадали, на каком из них будут найдены обгоревшие трупы. Ракета с Меркурия повернула к той половине ядра, которая двигалась быстрее и шла впереди. Цянь с товарищами находились на второй. У них кончилась пища, кончилась вода. Они сидели неподвижно, стараясь дышать пореже, экономить воздух. Было решено: Цянь и Аренас отдадут свой кислород женщине и юноше. Шорин ушел тайком в сожженный лагерь и разыскал там уцелевший баллон с кислородом — еще на три дня...

Их сняли с кометы к концу третьего дня.

Шорин стал знаменитостью наравне с Аренасом и Вандовской. Заслуженно ли? Сами судите. Конечно, если бы Цянь выбрал другого в спутники, знаменитостью стал бы тот. Весь мир жаждал познакомиться с Оседлавшими комету. Но Цянь болел, а Вандовская с Аренасом поженились, им вовсе не хотелось проводить медовый месяц перед операторами телевидения. Шорин читал лекции, диктовал записки, делился воспоминаниями. Он мог свернуть на легкий путь мемуариста, мог отправиться в любую экспедицию на выбор, его приглашали наперебой. Но он воспользовался своей славой, чтобы овладеть еще одной специальностью: стал летчиком-испытателем фотонолетов.



Небольшое пояснение. Века XIX и XX были эпохой химической, то есть молекулярной, энергетики. Энергия добывалась тогда за счет соединения атомов в молекулы, реже — за счет распада больших молекул. При горении получались скорости газов около двух — четырех километров в секунду, и химические ракеты пролетали километры в секунду — достаточно для любого путешествия над Землей и для первоначального выхода в космос.

К концу XX века началась ядерная эпоха. Теперь энергию давали атомные ядра — распад больших ядер (например, урана) или соединение частиц в ядра (например, в ядро гелия). При ядерных реакциях скорость частиц — тысячи и десятки тысяч километров в секунду, и скорость ядерных ракет постепенно дошла до тысячи километров в секунду, вполне достаточной для любого путешествия по Солнечной системе. Но даже до Альфы Центавра, до ближайшей из ближайших звезд, ядерная ракета летела бы более тысячи лет.

Ради звездных полетов энергию надо было доставать еще глубже — от атомных ядер переходить к их составляющим, к частицам: протонам, нейтронам и к электронам тоже.

При реакциях частиц получаются фотоны, и только они способны разогнать ракету почти до скорости света — до трехсот тысяч километров в секунду.

Фотонная ракета могла бы долететь до ближайшей звезды за четыре года с небольшим.

Вот почему звездный мечтатель Шорин решил пойти испытателем на фотонолеты.

«Само собой разумеется», — скажет читатель.

Но во времена Шорина это не разумелось само собой. О фотонной ракете люди думали уже двести лет, и не было гарантии, что дело не затянется еще лет на сто.

Реакция синтеза в мире частиц была известна давным-давно. Электрон, соединяясь с антиэлектроном (позитроном), дает два фотона. Это соединение неудачно было названо аннигиляцией — уничтожением.

Но антиэлектронов и вообще антивещества в природе ничтожно мало, изготовить его трудно, еще труднее сохранить. Двести лет ученые старались создать двигатели на антивеществе, двести лет катастрофические взрывы губили замыслы ученых.

И только к концу XXII века, когда Шорин был уже на Луне, удалось подойти к фотонолету с другой стороны, не соединяя частицы, а расщепляя их.

Но Шорин никак не мог знать, когда получится корабль — через год или через сто лет?

Истина оказалась посредине. Шорин пробыл в испытателях восемнадцать лет — всю свою молодость.

Жил он на базе на Ганимеде, летал в пустоте, подальше от планет, подальше от трасс, не в плоскости Солнечной системы. Фотонолет был капризен и кровожаден, как древний мексиканский идол; он пожирал испытателей одного за другим. Иногда распад управляемый переходил в самопроизвольный, тогда от аппарата и летчика оставалась секундная вспышка. Часто сбивался режим расщепления: вместо безвредных заданных лучей получались слишком жесткие, и летчики гибли из-за лучевой болезни, или получались лучи тепловые, и зеркало плавилось, или возникал резонанс, и аппарат рассыпался от ультразвуковых колебаний, летчик неожиданно оказывался в пустом пространстве, на кресле и среди звезд.

Шорин был на волосок от смерти не раз и остался цел. Сам он был уверен, что не погибнет, не имеет права взорваться, не выполнив функции. Весь космос посмеивался над чудаковатым суеверием знаменитого испытателя. Но в самые грозные и опасные секунды Шорин никогда не думал: «Неужели смерть? Прощай, милая жизнь!» И он не тратил секунды на сомнения, искал, что предпринять. Конечно, уверенность прибавляла ему шанс на спасение. Не для того копил он мастерство, чтобы разлететься на атомы. Иная у него функция.

Мечта 3

Средних лет капитан с резкими чертами лица сидит в тени перламутрового леса. Сухие и твердые листья мелодично звенят над головой. Каждое дуновение ветерка — серенада.

Рядом с капитаном... нет, не русалка, конечно. Наивно думать, что под оранжевым небом красота похожа на земную. Земноводные русалки, вероятно, напоминают жаб. Не красавицы нужны для галактических переговоров. Рядом с Шориным хозяин планеты — толстолобый, узкоглазый, круглоголовый. Почему-то он представляется похожим на покойного Цзяня.

Глядя в глаза, несомненно разумные, Шорин рас-

кладывает геометрические фигуры — треугольник, квадрат, пифагоровы штаны. Геометрия едина для всей Галактики.

— Не надо,— говорит тот звездный Цянь.— Я читаю ваши мысли. Ты посол далекой разумной планеты и прибыл к нам предложить Дружбу, Союз и Сотрудничество. Я вижу, что ты говоришь губами, звуками, словами. Значит, на вашей планете есть еще разные языки, разные народы. Вероятно, совсем недавно еще были разные государства. Ты хорошо помнишь историю, помнишь, как эти государства спорили, даже воевали... прежде чем все они пришли к Коммунизму, к Всемирному Согласию. И в душе у тебя капля боязни. Ты думаешь: вдруг я тебя не пойму, вдруг мы не способны понять, встретим посла враждебно, придем к столкновению вместо дружбы?

Посол Земли краснеет. Все-таки неприятно дипломату, когда читают его мысли.

— Твои опасения напрасны,— успокаивает звездный старик.— Разумные существа могут столкнуться всегда. Кто хочет сговориться, сговаривается. В космосе просторно и света хватает на всех. Мы немножко знаем Галактику. В истории ее не было ни одной космической войны, но множество встреч, и все встречи приносили пользу. Говори, думай, я буду внимать. Поведай нам опыт твоей планеты.

— Я предпочел бы учиться,— говорит Шорин.— Мне кажется, вы опередили нас. Мы, например, не умеем читать мысли...

Постепенно фотонолеты становились все надежнее и все мощнее. Они превзошли ядерные ракеты и обогнали их. Явью стали необыкновенные скорости — десять, двадцать, наконец, сорок тысяч километров в секунду. Один из товарищей Шорина, летчик Горянов, пролетел за четверть часа от орбиты Земли до Марса. Правда, ему пришлось полтора месяца набирать скорость, полтора месяца тормозить, а потом еще несколько месяцев возвращаться на базу. Для фотонолетов вся Солнечная система была маловата. И когда появилась следующая субсветовая ракета, пришлось испытывать ее в звездном полете — от Земли к Альфе Центавра. Все равно, чтобы разогнать ее до скорости света и после этого притормозить, требовалось два световых года. А до Альфы — четыре с небольшим. Вот

почему решили соединить испытательный полет с полетом к звезде.

Чтобы обследовать чужой мир всесторонне, нужны были астрономы, химики, геологи, биологи, историки. Чтобы довести фотополет до цели, требовались математики, инженеры, электрики, кибернетики. И механики, чтобы чинить аппаратуру, и медики, чтобы чинить людей. Всего тридцать три человека. Арена был начальником экспедиции, биолог из экспедиции Цяня. Сам Цянь уже умер к тому времени, выполнив свою функцию. А Шорину еще предстояло выполнить — его назначили вторым пилотом.

Затем нужно было построить фотополет, громаднейший бак с водой — вода была топливом. Надо было собрать все для наблюдений. Все для астрономов. Все для лаборатории. Все для записи кино- и фотодокументов. Все для вычислений. Все для двигателя. Все для управления. Все для ремонта. Все для движения, и прежде всего вода — восемь тонн воды на тонну полезного груза, баков, стенок и перегородок.

Экспедиция должна была вернуться через десять лет по земному счету. Согласно теории относительности, время для путешественников сокращалось. У них получалось три года на полет туда, три года на возвращение, год на чужих мирах, три года — резерв. Итак, тридцать три человека обеспечить на десять лет. Все для еды. Все для отдыха. Все для работы. Все для развлечений. Все для учения. Много требуется багажа на десять лет жизни.

Гигантская остроносая башня выросла на Луне возле Южного полюса. Наконец подошел день старта. Экипаж занял места, Арена нажал кнопку, зеленое пламя заклумилось под зеркалами; зелено-черными, словно малахит, стали лунные горы, стартовый кратер начал оплавляться, потекла зеленая лава.

Громадная башня повисла над лавой — казалось, вот-вот погрузится, но пламя подняло ее на крутых плечах над зелеными скалами, над зелеными пиками, над позеленевшим хребтом, над всей Луной, изъеденной дырками, словно сыр.

А через два часа Луна уже превратилась в желтый серп, через день — в звездочку, рядом с другой голубой звездочкой, поярче, — с нашей Землей. Через месяц в звездочку превратилось и Солнце. Корабль остался наедине со звездной пустотой.

На дрейфующей комете всего неприятнее была уста-

лость. Торопились сделать побольше, не успевали выспаться. Когда Шорин был испытателем, всего неприятнее была опасность — постоянное напряженное ожидание грозной аварии. В многолетнем межзвездном полете хватало времени для работы и для отдыха. И опасности особой не было в пустом пространстве. Томило больше всего однообразие да еще ностальгия — тоска по родине.

Тридцать три человека — крошечный мирок. Привычные лица, режим, расписание, рутина. Основное занятие — астрономия. Звезды впереди, звезды позади, звезды сбоку. Изменения ничтожны, почти неприметны. Впереди созвездия чуть-чуть сдвигаются, позади чуть-чуть раздвигаются, только телескопу заметна разница. Да еще меняется цвет звезд: впереди красные становятся желтыми, сзади желтые краснеют. И чуть погуще звезды впереди, лишняя горстка звездной пыли.

Меняются быстро только цифры на табло. Сегодня скорость — двадцать тысяч километров в секунду, завтра — двадцать одна тысяча. Двигатель работает, разгон продолжается. Чтобы приблизиться к скорости света, разгоняться надо год. Год разгона! А первые лунные корабли набирали скорость за пять-шесть минут.

Ускорение нормальное, и тяжесть нормальная. Двигатель режет частицы, возникают лучи, зеркало их отражает, скорость растет: через месяц — двадцать пять тысяч километров в секунду, через два месяца — пятьдесят тысяч, через четыре месяца — сто тысяч... А там скорость света, укороченное время и два солнца впереди — пора тормозить...

Мечта 4

Итак, от зноя двух солнц прячется второй пилот под перламутровой листвой.

О чем шла речь? О чтении мыслей.

— Мы можем научить вас, — предлагает звездный старик.

— Есть более важные проблемы. Нас волнует жизнь, старость, смерть, — говорит Шорин. — Сколько вы живете, например?

— Я прожил две тысячи двести оборотов вокруг нашего солнца. Примерно две тысячи лет по вашему счету.

— О! Счастливые вы существа!

— Счастье тут ни при чем. И у нас жизнь была



не длиннее вашей. Но мы научились возвращать молодость. Я был юношей уже сорок раз и в сорок первый раз старею. Мы и вас сделаем юношей, если хотите.

— А мертвому жизнь вы сумеете вернуть?

Шорин с грустью думает о своих друзьях-испытателях, кончивших жизнь так рано и ослепительно — в мгновенном взрыве Солнца.

— Да, сумеем. Если вы записали его.

— Что значит «записали»?

— Записали расположение атомов в теле, хотя бы в мозгу.

— Но это невозможно! Атомы неисчислимы. Все люди Земли не могли бы переписать их, даже если бы исписали все материки планеты.

Старик шурит глаза. Цянь тоже улыбался так.

— Мы умеем.

— Вот этому научите нас, пожалуйста.

— Вам придется начинать с основ...

Очень странный это разговор, когда читают и диктуют мысли. Тишина, и что-то отдается в мозгу. Некоторые слова слышны четко, там, где точное соответствие понятий. Иногда возникает несколько невинных слов одновременно. А иногда провал, пустое место: такого понятия нет в мозгу...

— Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду...

...через два месяца — пятьдесят тысяч километров в секунду, через четыре месяца — сто тысяч, треть скорости света...

И тут возникло препятствие. Нельзя сказать — непредвиденное. Оцененное неправильно.

Просторная межзвездная пустота не абсолютно пуста. Там встречаются отдельные редкие пылинки и отдельные молекулы. Для термоядерных ракет они практически безвредны. Только крупный камешек способен пробить борт. Однако камешки попадают раз в сто лет.

Но энергия пропорциональна скорости в квадрате. Фотонлет налетает на каждую частичку со скоростью света. Для него блуждающий атом превращается в космический луч, каждая пылинка — в ливень космических лучей. Невидимый газ разъедает металл, как вода сахар. За треть года трижды меняли острый нос ракеты — кристаллическая сталь превращалась в пористую губку.

А потом на пути встретились неведомые газовые облака.

Увидеть их заранее было невозможно. Газа там было меньше, чем в земной ионосфере, меньше, чем в кометном хвосте, меньше, чем в лабораторном вакууме, и все же в миллион раз больше, чем обычно в межзвездном пространстве.

Фотонолет вошел в газ со скрежетом и барабанным боем, наполнился лязгом и гулом, как старинный котел при клепке. Носовые части пришлось сменять ежедневно, запас их был исчерпан вскоре. Над разъеденными бортами показались дымки. Вода испарялась, пропадало топливо.

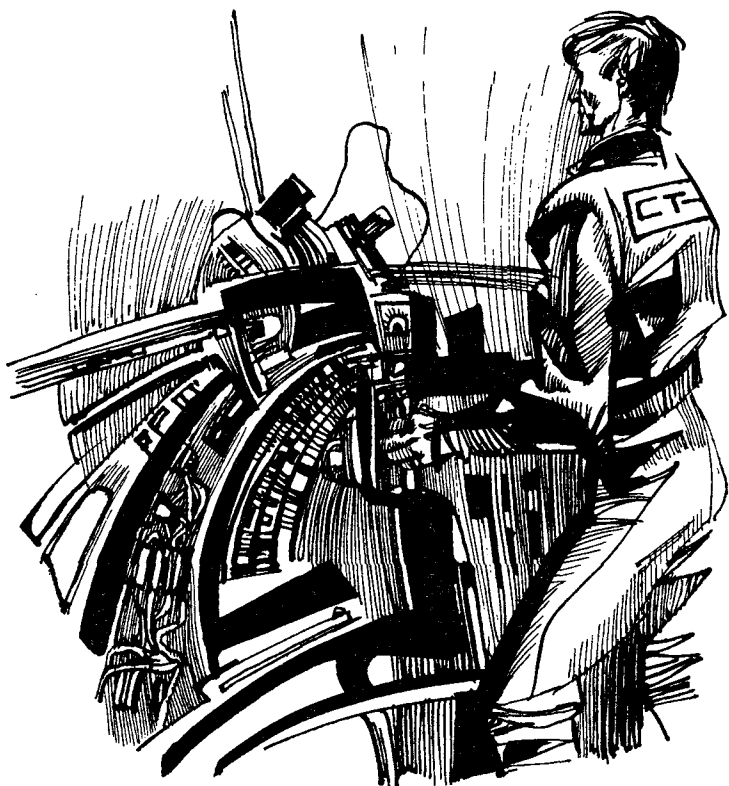
Пропадало, правда, не так уж много. За полгода вдаль от Солнца борта промерзли насквозь, под ними образовалась толща льда. Беда была в том, что, разбиваясь вдребезги, пылинки порождали потоки радиоактивных ядер. Вода неприметно становилась радиоактивной.

Угрожающе загорелись красные глазки индикаторов. Приборы показывали радиоактивность, вредную для здоровья. Но самое страшное — нельзя было ничего предпринять. Нельзя было обойти облака с их космической протяженностью и нельзя было избавиться от обстрела. Затормозить требовалось, чтобы смягчить удары, но корабль разгонялся треть года, значит, должен был тормозить треть года. Инерция влекла его вперед, оставалось только надеяться, что облака кончатся когда-нибудь.

И действительно, фотонолет пробил облака через три дня. Но удары сделали свое дело. Вода стала радиоактивной. Очистить ее было нельзя и вылить нельзя: вода служила топливом, от нее зависело движение, прибытие, возвращение. Приходилось жить рядом с заразой, под обстрелом невидимых лучей, разивших из-за каждой стенки.

Сначала заболели нежные приборы — слаботочные, полупроводниковые. Появились пробой и замыкания, начали путаться вычислительные машины. Кончился период однообразия. Теперь работы хватало всем: приходилось проверять показание каждой стрелки и глаз не спускать с двигателя. Ежесекундно он мог подвести: дать толчок на сто — и все. Стократная тяжесть, и люди раздавлены, как под прессом.

В корабль пришла лучевая болезнь во всем ее разнообразии: тошнота, рвота, потеря аппетита, лейкоцитоз, малокровие, гнилокровие. Шорин заболел одним из первых, ему сменили костный мозг. Потом заболел Аре-



нас, потом геологи — муж и жена. Хирург объявил, что операции придется делать всем по очереди. Потом он заболел сам. Сам себе пилил кость под местным наркозом. Больные ждали, пока он выздоровеет, встанет на ноги...

И он первым поставил вопрос о возвращении. Он сказал:

— Операции придется повторять не раз, потому что облучение продолжается. Силы организма не бесконечны, никто не вынесет десять операций. Костный мозг в моих запасах облучается тоже. Со временем нечем будет лечить.

И в больничной палате, куда переселилась добрая треть экипажа, Аренас созвал совещание.

Лететь вперед или вернуться?

— Вперед! — сказал Шорин. — Мы долетим до первой планеты и сменим воду.

Но лететь вперед предстояло почти три года, а вернуться можно было за год, и никакой уверенности не было, что у Альфы есть планеты, что там можно достать воду. И дома ждали надежные врачи, а впереди были мрак, и неизвестность, и самостоятельность.

— Три солнца, десятки планет, на какой-нибудь есть разум, на какой-нибудь умеют лечить лучевую болезнь, — убеждал Шорин.

Но решено было возвращаться. Тридцатью двумя голосами против одного.

Аренас приказал возвращаться. Хочется написать: «Приказал поворачивать», но фотонолет не умеет поворачивать назад. Прежде он должен снять скорость.

Три года на торможение, потом поворот, треть года набирает скорость для возвращения, еще четыре месяца — торможение перед Солнечной системой. В общей сложности год провели звездолетчики возле бака со смертоносной водой.

Год люди жили под угрозой смерти. Семеро вернулись калеками, четверых похоронили... сына Аренаса в том числе, молодого парня, красивого, способного, обещающего математика. Остальные...

Нет, не сошли с ума. Остальные привезли проект.

Все были авторами. Но пожалуй, идею подсказал Шорин — его воспоминания о дрейфе на комете. Тогда, оседлав комету, люди совершили путешествие вокруг Солнца, сквозь солнечную корону. А не стоит ли и к чужим солнцам лететь на небесном теле, на каком-нибудь астероиде? Такая возникла мысль.

Воды на астероидах нет, там камни, железо, никель. Но железо и никель состоят из тех же частиц — протонов, нейтронов, электронов. Их тоже можно резать, превращать в фотоны, отражать зеркалом. Правда, жидкую воду удобнее распределять, регулировать подачу в двигатель. Но в конце концов, и железо можно превратить в жидкость, расплавить, затратив некоторую толику энергии.

Зато какая защита от радиации: выбирай астероид в километр диаметром — это километровая броня из железа.

Конечно, корабль-астероид громоздок. Вес фотонолета — тысячи тонн, вес астероида — миллиарды. Но зато весь он — сплошное топливо. Вода нуждается в баках — стенки баков мертвый груз. А если топливо — железо, оно

само себе бак. Весь астероид — полезный груз. Он может весить в миллион раз больше, чем экипаж со всем багажом. Его можно разогнать почти до скорости света. Нет сомнения, дальние звездные полеты можно совершать только на астероидах.

Целый год всем экипажем составляли проект. Четверо заплатили за него жизнью, семеро — здоровьем. Но когда установилась связь с Землей и на экране впервые появились лица земляков, сгорбленный и облысевший Аренас доложил:

— Мы возвращаемся разбитые, но с планом победы.

Не думайте, что план этот был принят единогласно. Года два ушло на обсуждение. Шорину пришлось изучить еще одну специальность — ораторскую, умение убедительно спорить. Ведь не все люди на Земле бредили космосом. Были противники дальних странствий, неудача фотонолета прибавила им уверенность. Они говорили:

— Человек рожден для жизни под Солнцем. Нам хватит Солнечной системы на миллионы лет. Бессмысленно швырять трудоводы в пустоту. Столько дел еще под боком. На Луне нет атмосферы, селениты живут в городах, как в осажденных крепостях: не имеют возможности высунуть нос за ворота шлюза. У нас на Земле не хватает знаний, чтобы управлять климатом, управлять жизнью и планетами, а вы тратите силы и труд неизвестно на что...

— Но мы летим за знаниями,— уверяли фотонолетчики.

Даже там им говорили:

— Вы ищете легкий путь. Человечество добывает знания тяжкими усилиями, каждый шаг оплачивает потом и кровью. Вы отвлекаете людей от последовательной работы, маните их азартной надеждой на чужие готовенькие открытия.

Аренас отвечал:

— Читайте историю. Народы никогда не гнушались учиться друг у друга. Картофель и табак были заимствованы в Америке, чай, шелк и фарфор — в Китае. Нет нужды сто раз открывать интегралы, если они уже были найдены где-то. Мы не отвлекаем человечество от труда, мы отвлекаем только тридцать человек. Может человечество послать тридцать человек в разведку?

И собственная жена его, мать погибшего юноши, говорила, утирая слезы перед экраном:

— Нельзя рисковать тридцатью жизнями. Нет ничего дороже человека. Прежде чем летать, надо обеспечить

безопасность. Кто ответит за тридцать жизней? Нельзя превращать полет в убийство.

Шорин возражал:

— Зося, мы уважаем твою горе, но ты не права. Приключений не бывает там, где все известно заранее, но туда, где все известно, незачем летать. Где неизвестность, там и риск. Но кое-что мы уже извели, следующий полет будет менее рискованным. В конце концов, мы взрослые люди, согласны рискнуть, если надо — отдать жизнь.

В глубине души он был уверен, что жизнь отдать не потребуется. Ведь функция еще не выполнена, а не выполнив, он не позволит себе умереть.

Два года тянулись споры: лететь или отказаться? Сторонники полета победили. Не потому, что они были красноречивее, не потому, что их доводы были убедительнее, а потому, что человечество не любит стоять на месте. Было выделено время — двадцать четыре миллиарда рабочих часов. Подобран астероид — безымянная продолговатая глыба с утолщением на конце, похожая на болт. Начались работы — плавильные, главным образом. Строился фотонлет навыворот: в прежнем надо было делать стенки, в этом — выплавлять камеры.

Камеры для жилья. Для еды. Для работы. Камеры для складов. Камеры-лаборатории. Камеры-обсерватории. Камеры для двигателя. Камеры для аппаратов. Камеры, камеры, камеры и сквозные ходы между ними. Весь астероид был источен. Как будто жуки-короеды потрудились над ним.

Попутно собиралось снаряжение. Все для еды. Все для отдыха. Все для дыхания. Все для наблюдений. Все для управления. Все для ремонта. Все для развлечений. Все для учения. И так далее, так далее.

И собралась команда — тридцать три человека: физики, химики, геологи, биологи, историки, инженеры, математики, механики... Только четырнадцать летели вторично, среди них — старший пилот-космонавт Шорин. Четверо потеряли жизнь в предыдущем полете, семеро потеряли здоровье, остальные потеряли охоту к рискованным дальним полетам. Аренасу пришлось остаться — космос наградила его сединой и горбом, и капитаном был назначен другой — Горянов, космонавт-испытатель, плечистый красавец, богатырь. Для него каждая кабина была тесноватой, и Солнечная система показалась ему тесна.

В разгар приготовлений, когда и день отлета был уже

назначен, произошло важное событие, чуть не отменившее экспедицию.

Вернулась безлюдная автоматическая ракета, посланная двадцать лет назад, еще на заре фотонной техники, в систему Альфы Центавра.

С жадным любопытством ученые рассматривали кинопленки, снятые в мире трех солнц. Вот солнце *A*, вот солнце *B*, вот красное солнышко Проксима — их общий спутник. У каждого из трех — несколько планет; кроме того, еще куча астероидов, выписывающих неопределенные восьмерки между большими солнцами. Увы, большинство планет без жизни. Вокруг Проксимы все планеты ледяные, дряхлая и бессильная красная звезда не способна согреть их. *A* и *B* достаточно горячи, не хуже нашего Солнца, но подходящих условий для жизни все-таки нет. Там слишком жарко, там слишком холодно, там атмосфера густа, непроницаема для лучей, там вся поверхность изрыта метеоритами. Только на двух планетах встретились океаны с подобием рыб, и еще на одной оказались ползучие гады, похожие на гигантских тритонов...

Изучать их можно было и автоматами. Послов там не требовалось.

Шорин первый предложил изменить цель, назвал известные издавна, похожие на Солнце одинокие звезды — Тау Кита, Эпсилон Индейца, Эпсилон Эридана. До каждой — около одиннадцати световых лет, для фотонолета — лет двадцать пять пути. С учетом относительности времени двадцать пять лет для путешественников превращаются в десять.

И физики и конструкторы тоже настаивали на смене цели. Как ни удивительно, для астероида-фотонолета даже дорога до Альфы была чересчур коротка. На расстоянии в четыре световых года нельзя было вплотную приблизиться к скорости света, испытать в полной мере относительность массы и времени. Только разогнал — начинай тормозить. И масса не возросла намного, и время не успело сократиться.

Еще один кандидат в звездном мире привлекал внимание. Нашлась в созвездии Тельца слабая звездочка, обозначенная в каталоге только номером, откуда поступали правильные радиосигналы. Расшифровать их пока не удалось, хотя не одна машина пережигала блоки, ломая электронные мозги над разгадыванием кода этой звезды-шарады. Так ее и называли — Шарадой. Но до той звезды было сто четырнадцать световых лет. Так далеко для первого

раза лететь не решились. Да в сущности и интереса не было. Ведь для путников время сокращается, а для Земли — нет. Астероид вернулся бы через двести с лишним лет. Есть ли смысл посылать экспедицию, которая вернется через два века, задав вопрос, ждать ответа более двухсот лет?

Тау Кита выбрали в качестве цели.

Надо ли повторять всю историю заново? Снова зеленое солнце вспыхнуло на ночном небе. Похожий на болт астероид покинул свою орбиту. Родная Земля затерялась в крошече звезд, и Солнце со временем стало звездой, немножко поярче других. Железоникелевая гора с гулкими коридорами повисла в звездной пустоте — казалось, замерла. Движения стали неприметными, только впереди красные звезды становились чуть голубее, а сзади голубоватые краснели, да мелькали цифры на светящихся табло: сегодня — двадцать тысяч километров в секунду, завтра — двадцать одна тысяча, через месяц — двадцать пять тысяч, через два — пятьдесят тысяч. Ускорение нормальное, и тяжесть земная, привычная. В железных норах и железных коридорах идет размеренная жизнь: делают зарядку, завтракают, изучают фотографии, пишут научные труды, смотрят на мигающие глазки машин, чинят аппараты, спорят... мечтают...

Мечта 5

Стремительно сменяются цифры на табло. Сегодня скорость — двадцать тысяч километров в секунду, завтра — девятнадцать тысяч, послезавтра — восемнадцать тысяч... Желтоватая звезда впереди превращается в маленькое ласковое солнышко, на него уже больно смотреть. Экспедиция возвращается с победой. Удалось дойти до Тау, удалось найти там товарищей по разуму. Их опыт, записанный в толстенных книгах, лежит в самой дальней камере — драгоценнейший клад из всех добытых кладов.

Там сто книг, посвященных разным наукам. Два тома математики. Только половина первого тома пересказывает то, что известно на Земле. Тома физики: механика, теплотехника, электричество, волны, атомная физика, ядерная физика... Потом идут разделы, на Земле неведомые. Далее — химия, геология. Тома науки о жизни: биохимия, биология клетки, биология растений, биология животных, биология разума. Пси-

хология. Гуманитарные науки: история, теория искусства, экономика. Производство энергии. Производство материалов, производство пищи... И вдруг совершенно неведомые, сказочные науки: оживление и омоложение. Наука о сооружении гор и островов. Реконструкция климата. Реконструкция планетных систем. Изменение внешности и характера. Искусство превращений. Теория любви, теория счастья. Еще одна волшебная наука, на Земле названия не имеющая, — расстановка атомов. В общем, в комнате шкаф, набираешь номер, нажимаешь кнопку — и в шкафу обед, новое платье, картина, складной самолет — все, что понадобится.

Обычный режим полета — зарядка, завтрак. После завтрака все расходится по кабинетам, каждый кладет на стол один из томов. Решено подготовить к прибытию перевод. По восемь часов в день все работают как переводчики. Это не только нужно, но и увлекательно. Восемь часов в день ты читаешь разгадки тайн, еще не решенных земной наукой.

У Шорина том первый — «Введение в науку о природе». Бережно и благоговейно он переворачивает звенящие перламутровые, как листва седых лесов Тау, страницы. Изящные иероглифы порождают мысли в мозгу. Шорин записывает:

«Вселенная бесконечна...

Вселенная бесконечна структурно. Большие тела состоят из малых, малые — из меньших...

Мы, тау-китяне, знаем четырнадцать структурных этажей вверх и семнадцать вниз, начиная от нашего тела.

Тело состоит из тканей, ткани — из клеток, клетки — из молекул, молекулы — из атомов, атомы — из частиц, частицы — из волоконца вакуума, волоконца — из спиралек, спиральки — из вихрей Рэли, вихри — из точек...» (Тут приходится придумывать названия, потому что земные ученые знают только шесть этажей.)

И дальше пишет Шорин:

«На нижних этажах прочность выше, поэтому запасы энергии там выше. Тела верхних этажей надо обрабатывать, изучать и описывать с помощью малых и могучих телец с нижних этажей...»

Ага, вот она, разгадка странных слов звездного

старика! Строение атомов, строение мозга, расстановку атомов в теле человека можно записать на этих... как их... волокнах?

Так хочется заглянуть в конец тома — есть ли там о волокнах.

Или дожидаться обеда, спросить: «Товарищи, у кого речь о волокнах?»

Скопление газовых облаков миновали благополучно. Километровая толща железа надежно оградила от радиоактивности. Вскоре превзошли рекорд дальности, превзошли рекорд скорости. Половина скорости света, пятьдесят пять процентов, шестьдесят процентов... Скорость росла, масса росла, время сокращалось...

Тут и подстерегала неожиданность, довольно неприятная.

Даже не стоит называть это неожиданностью. Проявилась относительность массы и времени, их зависимость от скорости. Об этой относительности знали давным-давно, вывели ее формулы... чисто математически. В математике получалось изящно и гладко: корень, под корнем — дробь, масса стремится к бесконечности, время — к нулю. Летишь быстрее, живешь медленнее, годы превращаются в минуты...

Что получилось на практике?

Не время замедлялось — изменялись процессы: физические, биологические, и каждый по своему закону. Чем сложнее был процесс, тем сложнее получались изменения.

Верно, масса росла, вещи становились массивнее, перемещались медленнее. Медленнее двигались руки и ноги, ложки и приборы, мышцы глаза и ионы в нервах, медленнее собирались зрительные впечатления, медленнее поступали отчеты в мозг и приказы из мозга, медленнее перемещалась кровь в жилах и молекулы в клетках. Время как бы замедлялось. И все шло бы хорошо, если бы не проявились какие-то добавочные, не учтенные ранее процессы, по-разному влиявшие на приборы и на людей. Амперметры противоречили вольтметрам. Одни реле срабатывали раньше, другие позже. Указатели начали привирать, показывать не то что следует. Автоматы разладились, стали делать не то что нужно.

К счастью, в их ошибках была своя закономерность. Приборы-то переключили, но как быть с людьми? Люди оказались самыми чувствительными реле. Немели пальцы,

стыли руки и ноги; вялые и бледные, озябшие астронавты стучали зубами, кутались в одеяла, топтались у отопления, никак не могли согреться.

Химик Вагранян был лучшим гимнастом в экипаже. «Солнце» он крутил на турнике так, что с ним на Земле сравнились бы немногие. Но тут он обжег руку, две недели не подходил к снарядам. Наконец выздоровел, прибежал в спортивный зал, прыгнул с разбегу на турник — и сорвался с криком. У него порвались на руках мускулы, не выдержали тяжести тела.

Мускулы лопались у немногих, у всех рвались стенки сосудов под напором отяжелевшей крови. Рвались сосуды, синяки появлялись под кожей от самых легких ударов и без всяких ударов. Кровоизлияния в мускулы, в легкие, в сердце, в мозг. Три тяжелых инфаркта, два паралича. И гипертония у всех до единого, вплоть до самых здоровых.

Потом стали ломаться молекулы — в первую очередь белковые, самые длинные, тонкие и непрочные. Список болезней рос.

Диагностическая машина работала с полной нагрузкой. Отмечалось нарушение обмена веществ в почках, желудке, печени...

Усталые, подавленные люди, пересиливая себя, продолжали работу. Ходили унылые, угнетенные, с трудом передвигали ноги. Пересиливая головную боль, считали, проверяя данные машин. Ведь машинам тоже нельзя было доверять.

Однажды, ложась спать, Шорин увидел в каюте Цяня. Покойный Цянь грузно сидел в кресле, щуря хитроватые глаза. Он сказал:

«В космосе нужны здоровяки, без хронического насморка».

Он сказал:

«В Солнечной системе хватает дел, незачем мчаться невесть куда».

Сказал:

«Ты идешь по легкому пути, знания надо добывать трудом, а не списыванием у звездных соседей».

И далее:

«Нет ничего дороже жизни, людей надо беречь, сначала обезопасить, потом рисковать».

Все, что говорили противники, повторил Цянь.

— Я своей жизнью рискую тоже, — возразил Шорин.

Цянь улыбнулся невесело:

«Я знаю, ты надеешься на функцию. Но разве все люди



на свете успевают выполнить функцию? Вспомни друзей-испытателей, вспомни юношу, сына Аренааса. Он выполнил функцию?»

— Уйди! — сказал Шорин. — Ты галлюцинация. Я в тебя не верю.

Скорость нарастала медленно, на ничтожные доли процента в сутки, и беда подкралась неприметно. Слабели, слабели, болели, лечились, как-то привыкли уже ко всеобщей немощи, как старики привыкают к старости. Отлеживались, набирали сил, продолжали работу. И вдруг умер Горянов. Самый крупный и здоровый, он меньше всех привык болеть, его сердце не выдержало. Заменить сердце не удалось, не всегда получалась такая операция.

И новый начальник экспедиции, профессор Дин, математик, поставил грустный вопрос: лететь дальше или возвращаться?

— Лететь, — сказал Шорин.

Дин сказал:

— Не будем легкомысленны. Половина экипажа лежит в лазарете, мы проводим собрание в лазарете. Всем ясно, что наращивать скорость нельзя, дальше будет все хуже и хуже.

— Не будем наращивать скорость, — предложил Шорин. — Снизим, если надо.

Это означало: провести в пути не десять, а двадцать лет или больше того.

— У нас нет запасов на двадцать или тридцать лет.

— Мы пополним их на Тау.

— Нет никакой уверенности, что у Тау есть планеты.

— Нас послали, чтобы рискнуть.

— Нет, нас послали за знаниями, — сказал Дин твердо. — Мы добыли знания, неприятные, но правдивые. Оказалось, что относительность времени не помогает преодолеть пространство. Это важный вывод, и мы не имеем права откладывать его сообщение на два десятка лет. Если Земля найдет нужным, нас пошлют на Тау снова. Вернувшись, мы потеряем только три года, если же полетим вперед, Земля потеряет тридцать лет. Надо избавить товарищей от снаряжения новых бесполезных экспедиций.

Провели голосование. Двадцать шесть упавшими головами произнесли грустное слово «назад». Трое сказали «вперед», конечно, и Шорин. Трое смолчали — они были без сознания.

Дин приказал тормозить.

Полгода на торможение, год на возвращение. И все для

того, чтобы привезти на Землю грустное «нет». Нельзя человеку лететь с субсветовой скоростью. Безрадостный итог экспедиции, безрадостный итог жизни Шорина. Круг человечества очерчен. Вот сотня звезд, до которых оно дотянется, десятков — похожих на Солнце. Есть ли там разумная жизнь? Может быть, и нет. А такие, как звезда Шарада, — за пределами возможностей.

— Ничего не поделаешь, — говорил Дин. — Вселенная бесконечна, а силы человечества не бесконечны. Где-нибудь придется остановиться.

А Шорин не соглашался остановиться. Не хотел думать об остановке, заниматься арифметикой предела. Он размышлял о дальнейшем увеличении скорости. До какой величины? До любой. До субсветовой, до скорости света и даже... даже, пожалуй, еще выше...

Полтора года на размышления — срок достаточный. Вот исходное положение Шорина: предел скоростей — скорость света в вакууме. В вакууме! А какова скорость там, где вакуума нет? Что, если уничтожить его? Получится как бы подводная лодка, испаряющая перед собой воду, как бы самолет, летящий в безвоздушном коридоре. Какова скорость самолета в такой трубе без воздуха? Выше обычной! Чем она лимитируется? Скоростью создания коридора, очевидно.

Но это были только исходные мысли. За ними следовали теоретические расчеты, предложения, планы опытов, проекты испытательных установок.

Полтора года — срок достаточный. Хватило времени, чтобы поспорить. Дин не соглашался категорически, потому что мысли Шорина противоречили старинной классической теории относительности. Дин выписывал формулы, где c делилось на c и под корнем получался ноль. Ноль пространства — абсурд! Шорин выводил свои формулы. (Тогда и появилась та самая функция Шорина в виде многолепесткового тела, изогнутого в четвертом измерении.) Он даже пытался провести опыты, используя режущий аппарат двигателя. Но аппарат был недостаточно мощен. Какой-то эффект получился — сотые доли процента выигрыша в скорости. Впрочем, Дин объяснял этот эффект иначе.

С нетерпением ждал Шорин возвращения. Впрочем, каждый космонавт ждет возвращения даже с большим нетерпением, чем старта. Так хочется наконец выйти из надоевших железных нор, увидеть родную Луну, круглые кратеры — печати, поставленные космосом, — худосочную

зелень, непахучие цветы в лунных палисадничках и голубое лицо Земли-прародительницы над зубчатыми горами.

Стремительно мелькают цифры на табло. Сегодня скорость — двадцать тысяч километров в секунду, завтра — девятнадцать тысяч, послезавтра — восемнадцать тысяч... Желтоватая звезда впереди уже превратилась в маленькое ласковое солнышко, на него нельзя смотреть. Больные забыли о болезнях, все строят планы: месяц — у моря, месяц — в горах, три месяца — в столице. Театры, академии со спорами, людные улицы! И вот настает час, когда до Земли достают радиоволны. Земля отвечает. В рубке на серебристом экране появляется лицо Аренаса. Такой он уже старый, истомленный и такой бесконечно милый, первый соотечественник!

Дин рапортует стоя:

— Экспедиция возвратилась досрочно, встретив непреодолимое препятствие: человеческий организм не в состоянии... человек никогда не сможет...

О предложении Шорина Дин не упоминает, не считает нужным упоминать, он не верит в это предложение. Шорин не обижается. Каждый поступает, как считает лучше. Впереди еще много споров, Шорин не раз выскажется...

Милый и усталый Аренас не отвечает на рапорт. Не отвечает по очень простой причине: он еще не услышал Дина. До Земли трое световых суток, только через трое суток радиоволны донесут слова космонавтов, их лица. А пока Аренас говорит свое, точнее, три дня назад сказал:

— Хорошо, что вы возвращаетесь. У нас тут любопытнейшие новости. Удалось расшифровать радиосигналы с Шарады. Их значение: «Присылайте представителя в жидком гелии». Мы уже разработали методику, используем ваш астероид. В первую очередь пригласим ветеранов — вас, конечно...

Он называет несколько фамилий, Шорина — третьим.

Мечта осуществится, и скоро, и без больших усилий. Через полтора месяца они приблизятся к Луне, еще месяца три будут готовить отлет. Методика уже разработана, жидкий гелий залить нетрудно. Замороженные спят без сновидений. Шорин ляжет в ванну, прощаясь, глянет на белые халаты врачей, закроет глаза, медленно считая про себя... откроет глаза и увидит белые или перламутровые халаты

врачей Шарады. Какие они? На русалку похожие, на земного человека или неизвестно на что?

Шорин счастлив. Счастлив полно, счастлив глубоко, чисто и безмятежно, как альпинист, покоривший труднейшую вершину, как усталый путник, добравшийся до чистой постели, как ученый, завершивший создание стройной теории, как настойчивый влюбленный, добившийся наконец взаимности. Будь Шорин человеком экспансивным, быть может, он прыгал бы на месте, пел во все горло, или хохотал, или танцевал один в своей комнате. Быть может, он сам себя поздравлял бы, глядя в зеркало, или катался на диване, дрыгая ногами, и кричал бы: «Ай да Шорин, ай да молодец! Добился-таки своего!» Но Шорин сдержанный, выдержанный человек. Он ликует молча, чуть-чуть улыбаясь про себя. В груди густое маслянистое тепло до самого горла. Тишина, покой, довольство. Ничего не хочется, ничего не нужно добавить. Мгновение, остановись, ты прекрасно!

Мечта осуществится. Шарада приглашает Шорина в гости, гостю и другу расскажут все тайны Вселенной. И обратный путь будет нетрудным. Замороженные спят без снов. Он ляжет в ванну на Шараде, прощаясь, глянет на перламутровые халаты тамошних врачей, закроет глаза, считая про себя до десяти... и через мгновение откроет глаза уже в Солнечной системе. Увидит новый мир — Землю будущего.

Для него мгновение, а на Земле-то пройдет двести лет с лишним. Не будет сгорбленного Аренаса, грустной Вандовской, не будет ни одного знакомого. Шорин как бы откроет еще одну планету — Землю XXV века. Увидит далекое Будущее, про которое говорят так часто: «Одним глазком посмотреть бы!» Но для него и эта мечта осуществится. Ученым в прозрачных тогах (людей будущего мы почему-то всегда представляем в римских тогах) вручит он сто томов звездной премудрости.

Мечта 6

— Вот сто томов звездной премудрости,— говорит Шорин.

Мудрецы в прозрачных тогах внимательно смотрят на экран. Проплывают иероглифы чужого языка. Шорин вслух читает, переводит текст:

— «...Мы, жители Шарады, знаем четырнадцать

структурных этажей вверх и семнадцать вниз, начиная от нашего тела.

Тело состоит из тканей, ткани — из клеток... волоконца — из спиралек, спиральки — из вихрей Рэли...»

Мудрецы кивают согласно... а потом (так Шорин видит в своем воображении) брови у них ползут вверх, морщины недоумения появляются на лбу.

— Но мы уже знаем восемнадцать этажей,— говорит один из ученых.— Двести лет назад не знали, а сейчас знаем. Как жаль, что эта книга не прибыла двести лет назад! Столько лишнего, столько мучительного труда, столько жертв!..

— А вот насчет чтения мыслей,— замечает другой.— С чтением мыслей у нас не получается. Может быть, это зависит от структуры мозга? Надо бы сравнить их мозг и наш.

— Как сравнить? Послать запрос?

— Но ведь ответ придет через двести лет! Нет уж, своими силами придется искать...

— Жалко, что вы не знали земных достижений, товарищ Шорин.

Как он мог знать? Он проспал два века...

Да, он проспит два века. За два века Земля уйдет вперед, продвинется больше, чем за две тысячи лет предыдущих. Шорин будет похож на древнего грека, улетевшего на звезды и прибывшего домой в 2000 году. Вот он с восторгом рассказывает, что на других планетах есть паровые лошади и железные слоны, что люди летают там по воздуху, что молния движет повозки, есть стальные рабы, способные ковать, ткать, считать и делать любую тяжелую работу.

А на Земле все это есть. Сами додумались.

Да, конечно, тот грек прожил интересную жизнь. Античность видел, видел космос, увидел Землю 2000 года... Но какой толк от его путешествий? Чтобы принести пользу людям, надо было лететь быстрее... быстрее света! Но что поделаешь? Скорость света — предел скоростей. Предел или барьер?

Со звоном включается комнатный экран. На нем довольное лицо Дина.

— Ты не спишь, Герман? Почему спрятался? Ликуешь

наедине? Слушай, я составляю радиограмму Аренасу: «Благодарим за доверие. Готовы лететь». Ты полетишь, конечно? — И добавляет, дружелюбно улыбаясь: — Вот и решены наши споры. Предел или барьер — значения не имеет. Мы заснем и проснемся на Шараде.

Шорин медленно сжимает кулаки. Маслянистое тепло отступает от горла. Мир становится трезвым и суровым, как прохладное утро. Трезво и сурово глядит Шорин на действительность.

— Я не полечу,— говорит он.— Прежде надо перешагнуть световой барьер. Нет смысла задавать вопросы, если ответ приходит через двести лет.

* * *

...Функцию Шорина — формулу победы над пространством — знает каждый студент-звездолетчик. Изящное многолепестковое тело и еще искривленное в четвертом измерении — на нем всегда испытывают пространственное воображение. Мы говорили о другой функции — о функции жизни Шорина, простой, как уравнение первой степени, линейной, прямолинейной. Прямая линия, идущая вперед, невзирая на барьеры, пересекает барьеры! Первый барьер — арифметический: миллиард желающих на одно место. За ним — барьер энергетический: двигатели слабы. Барьер лучевой, потом барьер физиологический: тело слабо для субсветовых скоростей. Наконец, барьер эгоистический: мечта осуществима, но для себя. И этот барьер пересекает прямая, устремляется к следующему — световому барьеру. Сколько лет уйдет на его преодоление — пять или пятьсот? Этого Шорин не знает.

Прямая идет вперед — до бесконечности. Сворачивать она не умеет.